

Д. Д. А. Р.

В ДОБРЫЙ ЧАС

Ст

Д. ДАР



В ДОБРЫЙ ЧАС

Повестъ
Константи^оне
Циолковском



С О В Е Т С К И Й П И С А Т Е Л Ъ

1948

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Год назад в Москве была пущена первая конка. По узеньким рельсам мрачные клячи везли маленькие вагончики. Конная железная дорога, как ее именovali в городской думе, шла от Трубной площади, по Рождественскому бульвару, мимо Кисельного переулка, пересекала Сретенку, Мясницкую и оканчивалась на Чистых прудах. Со всей Москвы сюда собирались зеваки — из Охотного ряда, Замоскворечья, Хамовников, Зарядья. Стояли на деревянных панелях, сидели на чугунных тумбах и поджидали конку, восхищаясь прогрессом XIX века.

На Трубной площади, Вшивой горке, у Дорогомиловского моста стояли лошади. Был у них особый жалко-казенный вид. Прежде чем подняться в гору, в конку запрягали еще одну лошадь. Мальчишки-фрейторы взбирались верхом, и под крики и гиканье конка продолжала свой путь.

У стоянок толпились лотошники с гороховым киселем, гречневиками, пирогами; газетчики наперебой выкрикивали новости; собаки шмыгали среди людей. Приближалась веселая масленица.

В конце февраля «Московские ведомости» сообщили, что накануне ночью в Марьиной роще неизвестными злоумышленниками похищены чугунные ворота в шестьдесят пудов весом.

Два дня говорила об этом Москва. В трактирах, в клубах, на рынках, в присутственных местах и в жарко натопленных комнатухах удивлялись ловкости и изобретательности похитителей, ругали городскую думу и городских, строили догадки: появятся ли шестидесятипудовые ворота на Сухаревке, где обычно сбывалось все краденое, или преступники отвезут московские ворота куда-нибудь в провинцию и сбудут их в Твери или Калуге, Козлове или Туле...

А на третий день ворота были забыты. Лондонский корреспондент «Московских ведомостей» описывал гибель смелого голландца де Груфа, который, построив воздушную машину с хвостом и крыльями, захотел летать, подобно птице, над домами и деревьями.

В связи с гибелью де Груфа в петербургских газетах появилась статья молодого профессора Менделеева. Менделеев писал, что де Груф не первая и не последняя жертва в борьбе человека за овладение воздушной стихией. Но раньше или позже воздушный океан станет так же доступен человеку, как и водные океаны. И России в этом великом деле завоевания воздуха принадлежит большое будущее, потому что у России мало морских берегов, а пространства ее обширны...

Целую неделю все толковали о воздухоплавании, будто тесно вдруг стало на земле. Рассказывали о том, что светлейший граф Апраксин строит на берегу Невы чудесную воздушную машину, обошедшуюся ему во много тысяч рублей. Сам он, мол, на этой машине не летает, не желая рисковать своей драгоценной жизнью, а летать посылает своих слуг.

На прилавках книжных магазинов появились брошюры и книги, на обложках которых крупными буквами было напечатано: «Чистый доход от продажи этого издания предназначается на развитие воздухоплавания».

О воздухоплавании спорили горячо. Спорили купцы в Тестовском трактире, поедая двенадцатярусные растегаи. Спорили выбритые аристократы в «Славян-

ском базаре», где, отдавая дань цивилизации, официанты были одеты не в белые рубахи, а в черные фраки, и именовались не «шестерками», а «человеками». Спорили длинноволосые очкастые студенты в Ляпуновском благотворительном общежитии. Спорили дьячки из приходов Красный Звон, Зачатия св. Анны, Ермолая на Козьем Болоте. Спорили ученые в длинных коридорах старинного университетского здания. Спорили о воздухоплавании фонарики, встречаясь в безлунные ночи. Спорили извозчики на Лубянке и Ильинке, часами пританцовывая в ожидании седоков. Спорили все, кому только было время и охота спорить.

«Многие пытались летать по воздуху, да только ничего из этого не вышло», — говорили одни. Другие вспоминали Дедала и Икара. Третьи патетически восклицали: «Кто знает! Может быть, и правда наступит такое удивительное время, когда человек будет летать по небу в воздушной коляске, как он едет сейчас на санках по улице или на чугунке по железной дороге!». . . «Нет, — заканчивал кто-нибудь праздничный разговор, — пока нет на то воли господней, не летать человеку, как птице!». . .

На масленой объявился в Москве свой воздухоплаватель. В воскресенье на Ямском поле обещано было показать подъем на воздушном шаре.

Публики в тот день стеклось на Ямское поле видимо-невидимо. С самого утра спешили сюда лихачи, пошевни, кареты с гербами. Со всех сторон шел простой народ, весело месил сапогами и валенками уже начинающий подтаивать снег.

Кого только не было здесь! И купчиха в лисьем сапоге, и офицер в каске, и студент в широкополой шляпе, и чиновник в фуражке с кокардой, и барин в медвежьей шубе, и мастеровой в куцой поддевке. Пришли сюда торговцы и разносчики: кто с блинами, кто с квасом, кто с разноцветными воздушными шарами, кто с писклявыми «тещиными языками», кто с бумажными китайскими фонариками. Шарманщики пришли с попугаями и чахоточными обезьянами. Чернобородые цыгане привели ученых медведей. Припле-

лись странники в монашеских скуфеечках, продававшие щепочку от гроба господня или спицу от колесницы Ильи-пророка. А нищих, юродивых, калек!.. Не протолкаться.

На синее небо взошло солнце и за весь день ни на минуту не скрылось. Сверкали купола церквей. Снег на крышах был розовый, праздничный. Пестрые ж ты вились в гривах коней, звенели бубенцы, подвязанные к дугам. Кружились карусели, сверкающие мишурой, пищали шарманки и гармоники, и пьяные песни неслись из улицы в улицу, из переулка в переулок.

Над поляной, обросшей стройными березами, колыбался воздушный шар. Его тонкая шелковая оболочка была размалевана, как ярмарочный балаган. Крепкими веревками шар был привязан к четырем дубовым кольям. Плетеная корзина стояла на деревянном помосте. Бородатые городовые охраняли порядок. На помосте, рядом с корзиной, стоял невысокий человек в распахнутой шубе. На его маленьком смуглом лице были черные, лихо завитые усы и остроконечная бородка. Плутоватый, быстрый взгляд весело метался по полю.

Воздухоплаватель раскланялся на все четыре стороны и, сняв котелок и обнажив черные курчавые волосы, громко сказал:

— Милостивые государи и милостивые государины! Благодарю вас, что почтили своим присутствием мой свободный полет под облаками. Сейчас я покажу вам чудо XIX века. Но прежде дозвоьте просить многоуважаемую публику пожертвовать, кто сколько может, на покрытие моих затрат, сделанных из собственных скудных средств...

Он торжественно сошел с помоста и долго ходил по поляне, собирая в шляпу медяки и серебро. Потом вернулся на помост, надел меховой шлем, застегнул шубу и влез в корзину. Отвязали веревки. Публика затаила дыхание. Воздухоплаватель опять поклонился на все четыре стороны, перекрестился...

Кверху полетели шапки. Воздушный шар поднимался все выше... Уже был он над головами,

над деревьями — громадный ярко украшенный балаган, сверкающий позументами, бумажными цветами, пестрыми наклейками. А народ, весь, сколько было его на поле, задрал кверху головы, так что шапки падали на снег, и кричал от радости и восторга.

Шумным пестрым потоком валил народ с Ямского поля.

Как течение воды влечет щепку, так юного Циолковского влекло течение толпы. С мальчишеского костлявого лица глядели глаза, зажженные голодом и фанатической мечтой. Они глядели на мир уверенно и гордо.

Циолковский шел широким быстрым шагом, заложив за спину руки, и напевал неведомо откуда родившуюся мелодию: «Трам-там-там-там-там...» Его длинные волосы лежали на плечах старого пальто. Пальто было на все сезоны: такое широкое, что можно было в него завернуться, как в плащ. Из-под пальто виднелись брюки, проеденные кислотами. Желтые пятна были похожи на заплаты.

Он был странен. Барышни хихикали, оглядываясь на него: какой смешной! Мальчишки бежали сзади и дразнили. Он ничего не слышал. Мысли были такими дерзкими, что кружилась голова. Надо было сейчас же все это обдумать. И не просто обдумать, а с карандашом в руке. Рассчитать, проверить, начертить. До дома было ужасно далеко: Циолковский жил на Остоженке. Так он будет идти целую вечность. И он побежал.

Расталкивая прохожих, он все ускорял свой бег, будто за ним кто-то гнался.

Идея космического корабля открылась перед ним внезапно. Он понял: ни Монгольфьер, ни аэростат Дюпюи де Лома, ни крылатая машина де Груфа не могут вырваться за пределы атмосферы. А машина, которую он построит, сможет. Он первым из людей проникнет в межпланетное пространство, разгадает непостижимую загадку космоса!..

Он не решался поверить себе. Открытие было слишком неожиданным, грандиозным, превосходило все самые дерзкие мечты и надежды. Оно было слишком простым и слишком величественным, чтобы так, сразу, вдруг поверить в него. Но на столе лежал чертеж: несколько черных линий на желтоватой бумаге, освещенной неверным, колеблющимся пламенем восковой свечи.

Невозможно было усидеть на месте. Он вскочил и отбросил табурет. Открыл форточку. Пламя свечи метнулось в сторону, и черная тень на столе испуганно вздрогнула. В комнату ворвался холодный, влажный ветер.

За окном была черная звездная ночь. Звезды были рассыпаны повсюду: высоко и низко, справа и слева. Огоньки, огоньки, огоньки... На секунду Циолковский забыл, что это Москва. Показалось, будто мчится он во мраке, горящий, неудержимый, как метеор, и кругом ничего нет — ни земли, ни домов, ни деревьев, ни воздуха...

Циолковский закрыл форточку и вернулся к столу. Неужели, действительно, он совершил открытие, подобного которому еще не совершил никто? Почему ни один человек на земле не додумался до этого, ежели это так просто?

Он опять взял перо и стал проверять свои вычисления... Да, сомнений больше не оставалось. Все верно, расчет правилен. Трам-там-там-там-там... Совершилось то самое, ради чего он родился и жил. Он, должно быть, всегда носил в себе это открытие. Он берег его, согревал и лелеял. И теперь полуглухой, никому не известный, голодный, нищий восемнадцатилетний самоучка предъявляет людям: вот оно! Берите! Это уже не мое — это ваше!

Теперь он чувствовал себя рядом с Исааком Ньютоном. Он разговаривал с ним запросто, как старым друг-приятель. Исаак Ньютон сидел с ним за этим столом, спорил, горячился, потом протягивал руку: вы убедили меня, коллега!...

И все-таки он не беспочвенный фантазер, не наивный мечтатель, доверяющий первому вдохновению.

Он будет строг к себе, строже, чем другие. Он все проверит снова и снова, шаг за шагом, и только тогда...

Лицо его пылало. Только тогда...

Он прошел в кухню. Двенадцатилетняя Шурка читала при свете огарка. Она не обратила на него внимания.

Циолковский подошел к кадке, зачерпнул ковшом воду и вылил над лоханью себе на голову. Холодные струйки потекли по лицу, шее, спине.

— Трам-там-там-там-там, — напевал он, как обычно, без слов. Все было верно: машина оторвется от земли и станет подниматься вверх, все быстрее и быстрее, над домами, деревьями, облаками, выше, выше, выше... И вот уже земля останется далеко внизу белесоватым волнующимся океаном. А машина будет мчаться и мчаться, туда, где нет ни верха, ни низа, а есть только черный космос, наполненный неведомой, даже неугадываемой жизнью...

Циолковский вернулся в свою комнату. Желтое пламя свечи озаряло стол, забросанный бумагами. И уже от двери, среди многих листков бумаги, он увидел тот единственный листок, на котором несколько простых, давно всем известных линий открывали перед человечеством неведомые, непостижимые сознанием просторы.

Опять с самого начала был проверен весь ход доказательств и рассуждений. Циолковский стискивал голову руками, как бы силясь выдавить из нее еще хоть одно возражение, способное пошатнуть его доводы. И он находил возражения. Вытаскивал их на свет и сразу же бил наповал. Все было правильно! Его машина с помощью вибрирующих эластических маятников, по закону центробежной силы, преодолеет земное притяжение и вырвется в иные миры.

Циолковский опять вскочил на ноги и стал большими шагами ходить по узкому пространству между кроватью и шкафом. Было тесно. Низкий закопченный потолок и жаркие стены давили и сковывали. Он поднимал кверху руки и обеими ладонями проводил по длинным волосам, но не мог отогнать

галлюцинации... Пространство, пространство, пространство... Миллионы, миллиарды, триллионы верст. Ни конца им, ни края, ни предела, ни остановки. И все затопляющее, преобразующее, животворящее Солнце...

Ему вспомнился сон. Он снился еще в раннем детстве и потом несколько раз повторялся с удивительной, неправдоподобной точностью. Ему снилось, что он стоит у подножья каменной башни. Башня старая, ветхая. Ее окружает небольшая городская площадь с низкими деревянными домиками. Городок занесен нетоптанным снегом, сверкающим от лунного света и таким неподвижным, будто он лежит здесь сотни миллионов лет. А наверху — небо, черное невероятной, бесконечно глубокой, волнующей чернотой. Отчетливый серп месяца и одинокие звезды, которые ярко светятся, ничего не освещая.

Циолковского охватывает беспокойство. Небо властно манит его к себе. Он втискивается в расщелину между старыми камнями башни и нащупывает первые ступени узкой винтовой лестницы. Здесь темно, холодно. Пахнет сыростью. Ступени скрипят. Циолковский поднимается все выше. Ему кажется, что кружится голова. Он останавливается. Нет. Это раскачивается башня. Она раскачивается от каждого его шага, все сильнее и сильнее. Она очень стара. На нее уже десятки лет никто не взбирался. Но он преодолевает страх и поднимается все выше. Ступень за ступенью. Туда, откуда можно протянуть руку к небу. И вот уже видно небо. Оно совсем близко над головой. Еще только несколько ступенек... А башня раскачивается...

Циолковский выходит на маленький балкончик. И сразу открывается все: синеватая белизна снега внизу, огоньки далекого городка, далекие низкие леса, бесконечность неба и бесчисленность звезд, которые, кажется, можно набрать в горсть. Циолковский чувствует такую легкость и радость, что хочет продлить это мгновение, остановить его, но... башня раскачивается. Она клонится из стороны в сторону, скрипит, скрежещет, и он знает, сейчас полетит вниз

и все кончится: и небо, и звезды, и счастье. Он цепляется руками за холодные перила, но не находит в них опоры. Он протягивает руки к небу, к звездам, чтобы уцепиться за них: может быть, в них опора?.. и просыпается.

Так было каждый раз. И каждый раз, просыпаясь, он еще долго переживал волнение, испытанное на башне, между землей и небом... Может быть, и сейчас он проснется?..

Он запел громче: трам-там-там-там-там... Завтра газеты разнесут всему миру о замечательном открытии Циолковского. Завтра утром!.. Завтра утром он начнет делать модель. Как ужасно далеко утро! Еще не наступила даже ночь. Где взять терпение, чтобы дожить до утра?

Больше всего ему нужен был сейчас собеседник. Прежде он никогда не испытывал особенной нужды в нем. Но сейчас необходимо кому-нибудь рассказать о сделанном открытии. Кому? В громадной, шумной, пестрой Москве у него никого не было. Ни одного человека. Только разве Шурка. И он пошел к Шурке.

Она стояла коленями на табурете и тоненьким пальцем водила по растрепанной книге. Острые ключи торчали под легким ситцевым платьем.

— Вы знаете, Шура, что я придумал? — начал Циолковский робко.

— Ну? Чего вы такое еще придумали? — спросила она, не отрываясь от книги, нарочно ворчливым и недовольным тоном, чтобы он не догадался, как ей ужасно интересно знать, что такое он придумал. Ведь он придумывал такие удивительные вещи и рассказывал о них только ей одной, двенадцатилетней Шурке, будто она была каким-нибудь профессором или генералом.

— Я придумал, Шура, как можно улететь на Марс, Венеру или на Луну. Раньше всего, конечно, на Луну. Ведь до Луны не так уж далеко. На моем аэроне — я назову свою машину аэроном — можно лететь значительно дальше, куда угодно, хоть за пределы нашей солнечной системы...

Шурка слушала его, не перебивая. Ее большие, серые, как у кошки, глаза смотрели на него сурово.

— Вообразите себе, — говорил Циолковский, расхаживая по кухне, — что мы с вами сели в аэрон и полетели.

— А мама? — спросила Шурка. — Без мамы не полечу.

— Что? Что вы говорите?.. Ах, мама! Хорошо. Мы возьмем и маму... Так вот, мы находимся в аэро-не. Что мы увидим, если поглядим в окно? Сперва нам покажется, что Земля занимает почти половину неба, будто лод нами опрокинута громадная сероватая чаша. Потом чаша станет меньше, она превратится сначала в блюдо, затем в блюдце... Чтобы солнце не опалило нас, станем удаляться от него. Хорошо?

Слышно было, как за печкой шуршали и копошились тараканы. С улицы доносились приглушенные звуки ночной колотушки. Шурке стало страшно. Чего он молчит? Куда он смотрит? Что он там видит?

Циолковский смотрел в окно. Окно было черным. Чернота билась в стекло с тревогой и ветром. Вдруг Циолковский заспешил, засуетился.

— Извините меня, пожалуйста, я забыл кое-что... — Он почти бегом вернулся в свою комнату, вспомнив, что не проверил расчета силы притяжения Землей массы аэрона.

Шурке казалось, что за окном громадная сероватая чаша. И больше ничего... Хотя бы мама скорее вернулась!

Циолковский опять сидел за столом.

Хотелось сразу выяснить все: из какого металла сделать маятники, шары на маятниках, кабину. Он не мог совладать со своими руками. Они были сильнее его. Они трепетали от страсти, от желания скорее приняться за дело. Но до утра об этом нечего было и думать. Рано утром он отправится на Сухаревку за жестью, проволокой, металлическими спицами. Это будет только утром... Только утром — как ужасно долго!

Вдруг он вспомнил, что весь день ничего не ел. На окне нетронутой лежала сегодняшняя порция хлеба. Он взял хлеб и отломил кусочек. Хлеб был удивительно вкусным, казалось, от него пахло чесноком, мясом, печенкой... Как давно он не ел мяса и лука! Он вспомнил, что сегодня масленица и все едят блины. Блины — мягкие, теплые, с растопленным маслом, со сметаной, с икрой. Захотелось блинов. И стало смешно и весело: блинов захотелось! Вы только подумайте! Блинов! Ему мало величайшего открытия, небывалого могущества, бессмертной славы, — ему требуются блины!.. Он хохотал!.. Если размочить хлеб в воде, то будет еще вкуснее. Циолковский хотел сходить на кухню за водой, но опять zakралось сомнение: вес аэрона не давал ему покоя.

Он отложил в сторону надкусанный кусок хлеба, взял чистый лист бумаги и снова принялся за расчеты.

Так он сидел, наверно, до полуночи. Свеча почти догорела. Она оплыла и прижалась к медному подсвечнику бесформенной лепешкой. Циолковский разогнул спину. Болели шейные позвонки. Как после крепкого сна, он не сразу вошел в реальный мир окружающих вещей. Еще некоторое время все расплывалось вокруг него, и лишь постепенно предметы приобретали четкие очертания. Из открытых дверей доносился рокошущий храп. Значит, Авдотьюшка уже вернулась домой.

Было очень жарко.

И опять он подумал, что впереди еще целая ночь.

Чтобы ночь прошла быстрее, лучше всего заснуть. Он снял одежду и задул свечу.

Луна щедро лила свой свет. Окно было освещено голубоватым сиянием. На светлом небе виднелись два легких облака. Отчетливо вырисовывался переплет окна. Один угол стола был голубовато-белым. Голубовато-белая полоса косо лежала на полу. Лунный свет был странным, нездешним, насыщенным холодом межпланетных пространств, загадками неведомых миров.

Циолковскому не спалось. Он думал о себе, о своей странной судьбе. Он всегда считал свою глухоту великим несчастьем. Глухота бывала то сильнее, то слабее. Иногда он чувствовал себя как в гробу. Ничто извне не доносилось до него. Глухота была толстой стеной, отгораживающей его от мира, от людей. Не имея возможности слушать того, что совершается кругом, он прислушивался к тому, что происходило в нем самом.

Циолковский ворочался с боку на бок, то вставал и смотрел в окно, то садился на постели, то опять ложился. Слишком значительно было событие и слишком велика радость, чтобы уснуть. Спать совсем не хотелось. Хотелось двигаться, работать, спешить, спорить.

«К Столетову! — вдруг решил он. — Конечно, к Столетову!» Как не сообразил он этого раньше?

Столетов был самым молодым профессором Московского университета, он организовал первую в России физическую лабораторию, читал публичные лекции, знакомя широкую московскую публику с новинками науки и прогресса. Кто лучше Столетова мог оценить выдающееся открытие, сделанное восемнадцатилетним самоучкой?

Сейчас ночь, и профессор спит. Но Циолковский разбудит его. Не каждый день совершаются такие открытия! Профессор поймет. Он обнимет Циолковского, не отпустит от себя, предоставит ему университетскую лабораторию, в которой будет создан первый в мире аэрон.

Циолковский быстро оделся и, стараясь не разбудить Авдотьюшку и Шурку, вышел на улицу.

На улице было морозно. Черные тени лежали на снегу. Улица казалась незнакомой, почти сказочной. Впервые увиделись, незамечаемые днем, резные завитушки и украшения наличников, коньки на крышах. В домах, казалось, никто не живет. Плотнo заперты ставни, двери, ворота. Ни дыма из трубы, ни огонька в окне. У булочной Никитина ярко светился позолоченный крендель, и окна пылали белым пламенем, отражая лунный свет. Вдали отчаянно кричал

пьяный. Выла собака. Сторож стучал в колотушку. На углу, около своей будки, сидя спал старый вислосый будочник.

Все вызывало у Циолковского любовь и радость: и луна, и будочник, даже крик пьяного. Он любил сейчас всех, и все радовало его. Радовал морозный воздух, которым так легко дышится; радовал поскрипывающий снежок, по которому так легко идти; радовала сказочная Москва, как бы затаившаяся в ожидании утра. И он шел вперед весело, широким юношеским шагом, высоко подняв голову, как поднимает ее ликующий победитель.

На Мясницкой было больше огней. Встречались прохожие. Проехал длинный обоз. Крестьяне шли рядом с саними, заиндевевшие, окутанные паром.

Циолковский думал о том, что он сделал для людей. Пройдет немного времени, и человек сумеет отправиться куда захочет: на Луну, на Марс, на астероиды... Человеку нужно пространство и солнце! Когда люди научатся использовать не жалкие крохи от солнечной щедрости, а все колоссальное богатство, которое может дать солнце, — они станут сильны, могущественны и счастливы...

— Не слышишь, что ли, глухой чорт!.. — И кнут свистнул над самым его ухом. Горячее, влажное дыхание коснулось его лица. Циолковский отлетел в сторону и откатился к краю мостовой. Щегольские сани, запряженные парой взмыленных лошадей, промчались мимо. Он увидел только широкую спину седока и его бровный воротник.

— Бедняк! — усмехнулся Циолковский, вставая. — Бедняк! На кого ты кричишь? Если бы ты мог понять, что я сделал для тебя сегодня!..

Он поглядел вслед — высокомерно и гордо. И опять стал думать о своем аэроме. И снова перестал видеть Москву, улицу, ночь. Он был один в маленькой кабине с двумя вибрирующими маятниками... Но вдруг шевельнулось сомнение: а поднимется ли машина? Действительно ли она потеряет вес?

Сомнение пришло совсем неожиданно, откуда-то со стороны. Было оно так велико и так шло вразрез со всем испытанным в течение этого вечера, что Циолковский пошатнулся и остановился.

Он представил себе всю созданную им схему аэро-на и весь ход своих рассуждений. И все он увидел теперь иначе. Он понял: машина будет только трястись, но не потеряет ни одной унции веса и не поднимется ни на вершок. Как он не понял этого сразу? Как он не видел этого все время?

Рядом оказалось крыльцо. Он опустился на ступеньки и удивился: почему ступеньки такие белые и холодные? Может быть, они сделаны из мрамора? И мостовая мраморная?.. Снег! Ах, да. И луна!.. Он взглянул на луну и на небо. Луна безраздельно властвовала на небе и на земле. Небо было злое-щим. Его голубоватая бездна засасывала, как омут, как смерть. Луна была злой, враждебной, непостижимой. Абсурдность идеи вибрирующих маятников была так ясна, что не требовала никаких доказательств... Циолковский почувствовал легкую тошноту. Наверно, от голода. Сразу замерзли ноги. Белая пустота, подобная густому туману, заволочла все кругом.

Циолковский поднялся, когда совсем заковенел. Он был один. Черный, раздавленный, глухой, среди бесконечной голубовато-белой пустыни. Ах, почему он не проснулся, как просыпался обычно, когда забирался на шатающуюся башню? Почему он не проснулся во-время?.. Жалкий, самонадеянный мальчишка! Недоучка! Невежда!

Как хорошо, что он понял свою ошибку раньше, чем пришел к профессору, поднял его с постели, взбудоражил весь дом! Как высмеял бы его профессор. И поделом! Поделом!

Циолковский брел, не разбирая дороги, погруженный в такое отчаяние, которое можно сравнить только с его недавней радостью. Все было потеряно: вера в себя, надежда на будущее, достоинство. Остались одиночество, глухота, унижение.

Циолковскому недавно исполнилось восемнадцать лет. Второй год он жил в Москве, у добрейшей Авдотьюшки.

Авдотьюшка приходила домой поздно вечером. Хозяйничала Шурка. Она помогала Циолковскому проводить опыты, покрикивала на него и волновалась: будет ли летательная машина носиться в воздухе вечно или когда-нибудь она опустится на землю?

Шурка была худенькая. Две тощие косицы торчком стояли на ее голове, большие серые глаза всегда были широко открыты. Циолковский делился с нею своими мечтами и знаниями, и она помнила расстояние от Земли до Солнца, названия всех планет и была готова в любую минуту отправиться на Луну, Юпитер и даже за пределы нашей солнечной системы.

Жила Шурка в кухне, между печкой и столом. Здесь она готовила обед, читала, играла с котенком, варила для матери кофе, поджидая ее возвращения. Спала она вместе с матерью на печке. Была у них и комната, но комната служила только для приема гостей, хотя гости за полтора года, что жил здесь Циолковский, не приходили ни разу. В комнате стояла высокая деревянная кровать, покрытая белым покрывалом, из-под которого виднелись кружева простынь. Горка подушек возвышалась почти до самого потолка. Кроме кровати, был здесь маленький столик, покрытый вышитой скатертью. Рядом с ним старое, во многих местах протертое, плюшевое кресло, на которое Авдотьюшка сама не садилась и Шурке садиться не позволяла. В углу, под иконами, всегда теплился огонек лампадки и висели фарфоровые яйца, перевязанные розовыми ленточками. Были еще в комнате две цветные олеографии. Одна изображала Наполеона, глядящего с Кремлевской стены на пожар Москвы. На другой олеографии был изображен царь Александр Павлович со своей супругой на берегу Невы.

За стеной, на которой висели олеографии, была комната Циолковского. Там царил беспорядок, такой же постоянный и ничем не нарушимый, как порядок в комнате хозяйки. Мебели здесь почти не было — только узкая кровать с таким художочным и пролежанным тюфяком, что казалось, будто его нет совсем. Ветхое одеяльце, сшитое из пестрых лоскутьев, покрывало кровать. У окна стоял стол, заваленный книгами и бумагами. Около него — табурет. Книги лежали на подоконнике, на полу, под кроватью. Тут же находились самодельные машины, куски проволоки и железа, паяльники, молотки...

Этот беспорядок мирно уживался с порядком в соседней комнате: Авдотьюшка мучительно страдала, увидев, что какая-нибудь вещь в ее комнате хоть на вершок сдвинута с обычного места; но в то же время она не позволяла себе даже смахнуть пыль с книг и рукописей Циолковского, угадывая, что это, может быть, вовсе и не беспорядок, а тот наивысший и непонятный ей порядок, какой может быть только у такого чудака, каким представлялся ей Циолковский.

У Авдотьюшки росли черные усы. Она была высокая, широкоплечая, мужественная, говорила густым басом, а сморкалась так громко, что мыши переставали скрестись за печкой.

Но это была добрейшая душа. Она рыдала навзрыд, когда за окном скрипела шарманка:

Ты спросишь: где ж моя родная?

Тебе в ответ — ее уж нет!

Она, вся в горе утопая,

Давно оставила сей свет...

Этих трогательных слов чувствительное сердце Авдотьюшки не могло выдержать, и, прослушав романс, она долго еще вытирала слезы большими кулаками.

К Циолковскому Авдотьюшка относилась с материнской нежностью. Она гордилась им, жалела его, считала великим ученым. Иногда она долго стояла в дверях его комнаты, прислонясь к косяку и подпе-

рев рукой щеку. Глядя на Циолковского, она причитала басом:

— Ой, и на кого же ты похож стал, родименький! Не ешь, не пьешь, худой, прости господи, кости из-под рубашки торчат... Разве ж это возможно для такого ученого человека — одним хлебом питаться? Хоть бы попил ты когда со мною кофейку... Видела бы тебя родная маменька, так у ей сердце перевернулось бы...

Авдотьюшка настойчиво звала его пить кофе, без которого она и дня не могла прожить. Но Циолковский стеснялся, от кофе отказывался, уверял, что сыт по горло, что кофе терпеть не может.

По вечерам Авдотьюшка сидела за кофейником вдвоем с Шуркой. Шурка рассказывала ей о Циолковском: что делал сегодня, что говорил, что нового задумал.

Служила Авдотьюшка прачкой в доме богачей Цыкиных. Богачей Цыкиных было двое: два брата. Старшему, Ивану Кузьмичу, шел уже семидесятый год. У него не было ни жены, ни детей. Он давно удалился от дел, жил в мезонине у младшего брата и весь день проводил высунувшись в окно, подложив под седую бороду подушку и с интересом наблюдая за всем, что делалось на улице.

Окно выходило в маленький переулок, где не было ничего примечательного. На углу Варварки стоял городской; он стоял здесь уже восемь лет и, завидев Ивана Кузьмича в окне, отдавал ему честь.

Прохожих в переулке было мало. Старик знал почти всех прохожих в лицо: кто они, куда и зачем идут. Если появлялся незнакомый, старик волновался, звал дворника, давал ему двугривенный и велел выяснить: кто такой? Откуда и куда шел? И по какому делу?

С городовым у него была дружба. Иногда он зывал городского к себе, угощал чаем с черносмородиновым вареньем и на прощание давал рубль для извозчиков. Городовой платил извозчикам по гривеннику, чтобы они для развлечения барина провозили своих седоков по этому переулку.

Младший брат, Аристарх Кузьмич, считал себя передовым представителем русских промышленников. Каждое утро к нему являлся цырюльник, брил бороду и подравнивал русые неседующие бакенбарды. Аристарх Кузьмич был большого роста, видный, красивый, полный. Он носил пенсне, и на его животе висела дорогая золотая цепь с брелоками.

Аристарх Кузьмич не признавал ни Тестовского трактира, ни Лопашевского, ни Стрельны, ни Эльдорадо. Ездил ужинать только в «Славянский базар», где все было «как в Европе»: на официантах — крахмальные манишки, а на эстраде — салонный оркестр.

Несколько лет Аристарх Кузьмич провел за границей: в Париже и в Лондоне. Все свои капиталы он вложил в строительство железных дорог и металлургическую промышленность.

В его доме была богатая картинная галерея и великолепная библиотека, в которой Вольтер и Гёте, Руссо и Пушкин, Шекспир и Гоголь, Мольер и Аксаков были покрыты одинаковыми кожаными переплетами с золотым тиснением.

Аристарх Кузьмич был человек расчетливый и хотя не отказывал себе ни в чем, но каждый двугрибенный берег так же, как и десятки тысяч.

Однако иногда случалось, что вдруг, на один-два дня, он внезапно совершенно преображался, и рысак мчал его в купеческий клуб на Большую Дмитровку. Там, в обществе богатейших московских купцов — Корзинкина и Хлебникова, Оловяшникова и Вахрушина, — он закатывал истинно купеческий обед, после которого никто не мог сам добрести до дверей, и лакеи на руках выносили гостей и укладывали их в коляски или сани.

Однажды после такого обеда Аристарх Кузьмич привез в свой дом некрасивую и немолодую цыганку, Марью Захаровну. Он запер ее в спальне, не показывая ни дочери, ни сыну, и два дня ездил по Кузнецкому и по всей Москве, покупая подарки: кольца, серьги, ожерелья, меха и шелка. К утру третьего дня он истратил двадцать пять тысяч и вдруг посмотрел

на Марью Захаровну какими-то другими глазами и увидел, что не стала она лучше ни в мехах, ни в бриллиантах. Тогда он дал ей тридцать копеек на извозчика, велел погрузить в коляску все ее богатства, усадить ее сверху и передать, чтобы больше не приезжала и на глаза ему не показывалась.

Потом опять берег каждую копейку и, давая чаевые, внимательно высчитывал, чтобы не дать лишнего.

Другой раз, прочитав «Антон Горемыку» Григоровича, он выписал чек на пятнадцать тысяч и передал его какому-то земству на улучшение быта крестьян. Это было накануне светлого Христова воскресенья, и на следующий день все его служащие: письмоводители, приказчики, дворники, горничные, кучера — явились с поздравлениями. Он вышел к ним, поглаживая бакенбарды, милостиво раскланялся, сообщил, что в бога не верит и церковных праздников соблюдать не желает, а потому чтобы чаевых от него не ожидали.

Был с ним еще такой случай. Однажды явился к нему какой-то француз с проектом создать в Сибири, посреди тайги, громадный завод, на котором будут строить двухэтажные деревянные дома. Затем дома эти в готовом виде, покрытые крышей, с застекленными окнами, предполагалось на специальных баржах сплавлять по рекам. Весь день сидел Аристарх Кузьмич, запершись в своем кабинете вдвоем с французом. Подсчитывали миллионные барыши. Предполагалось заключить торговые соглашения с правительствами России, Китая, Германии, Персии и поставлять им готовые деревни, села и города. Через несколько дней предприимчивый француз уехал из Москвы, увозя с собою десять тысяч рублей. Больше не видел Цыкин ни французa, ни отданных ему денег.

Аристарх Кузьмич был вдовцом. Жили с ним сын и дочь. Сын его, Миша Цыкин, был известным всей Москве красавцем, кутилой и ветрогоном. Всю жизнь он проводил в кутежах, других занятий не знал и не любил. Одно время он держал в своих комнатах ручного тигра, и об этом говорили все.

Как-то на обложке еженедельного журнала «Развлечение» появился его большой портрет. Миша Цыкин был изображен в цилиндре, без фрака, в белом жилете, разбивающий бутылкой зеркало. Он заплатил издателю журнала 500 рублей, чтобы тот же портрет печатался на обложке каждого очередного номера журнала в течение всего 1874 года. Журнал принес ему большую популярность. Мишу Цыкина узнавали в ресторанах, на улицах, повсюду. Рся Москва называла его — Мишка Цыкин.

Дочь Аристарха Кузьмича, девятнадцатилетняя Наташа, была тоже особой экстравагантной, но характер имела совсем иной, нежели ее брат. Была она маленькой, сухонькой, с каким-то куриным личиком. В доме отца ей было тесно и душно. Она интересовалась науками, много читала, производила химические опыты.

Иногда она переодевалась в мужское платье и бродила одна по Москве, сидела в извозничьих трактирах, вдыхая махорочный дым и запах прелых портянок.

— Замуж пора, — говорил ей Аристарх Кузьмич, — как ни вертись, а замуж пора.

Но о замужестве она и слышать не хотела. Сватался к ней полгода назад какой-то петербургский аристократ — красавец, умник. Она его возненавидела за красоту. Потом в нее влюбился студент-народник. Она бегала к нему на свидания, ждала под дождем, приходила домой мокрая и счастливая. Студент был длинноволос, носил запатанную на локтях гужурку и глядел на Наташу сквозь стеклышки пенсне беспомощным подслеповатым взглядом. Он рассказывал о Марате, бредил Чернышевским и Писаревым. Он приносил с собой на свидание французскую булку с колбасой, и они съедали ее пополам.

Однажды они решили пойти в народ. Наташа надела вязаный платок, нянькин бурнус, и в воскресенье они поехали в Малоярославец. Возница был пьян. Дорога была неровная, глинистая. Трясло на буграх и выбоинах. Вечером пошел дождь. Он хлестал холодными косыми струями. Путники промокли до нитки. И все показалось Наташе скучным: и

дождь, и студент, и возница, и народ... Она вернулась в Москву и опять затворилась в своей комнате.

По ночам она думала о том, кого ей суждено полюбить. Она знала, что тот, кого она полюбит, будет ни на кого непохожим, сильным, дерзким, уверенным. Только такого она хочет полюбить, другого ей не надо. И ей показалось, что она нашла того, кого может полюбить. Это был Циолковский.

Циолковского она ни разу не видела, но ежедневно видела Авдотьюшку. Авдотьюшка, склонившись над корытом, рассказывала, как Циолковский звал Шурку с собой на другие планеты, как он кормится одним хлебом с водой, как сутками не поднимается из-за стола, как глух он и как учен.

Наташа написала ему:

«Милостивый государь!

Не подумайте бог знает чего, хотя и пишет вам девица. Я хочу посмотреть ваши опыты. То, что я слышала, меня очень заинтересовало. Не воображайте, пожалуйста, что я просто скучающая барышня, которая ищет знакомства от нечего делать. Я пренебрегла приличиями, потому что сама чрезвычайно интересуюсь точными науками и даже полетами по воздуху. Ответ передайте через известную вам Авдотьюшку.

Наташа Ц.»

Авдотьюшка принесла это письмо, как букет цветов. Она торжественно раскрыла дверь в комнату Циолковского и протянула конверт с такой осторожностью, будто был он стеклянный и мог разбиться. Усатое лицо Авдотьюшки счастливо улыбалось.

Циолковский рассеянно прочитал письмо.

Он сидел за столом, подперев руками голову, и глядел на письмо с таким отчаянием, будто в нем сообщалось о страшной опасности. «Что отвечать?» — думал он мучительно.

К женщинам, и девицам в особенности, Циолковский относился настороженно. Он не знал их, не понимал, был уверен, что разговаривать с ними можно только о нарядах и развлечениях. Кроме того, он был

убежден, что его глухота является непреодолимой стеной на пути к любви, к женщине, к семейной жизни. Он даже не мог представить себе, как стал бы ухаживать за девицей. Ведь не будет же девица кричать ему в ухо.

Прежде всего он пошел к Авдотьюшке ругаться:

— Что это вы, сударыня, изволили про меня рассказывать? За что вы мне такую свинью подложили? Как же я теперь буду? Прикажете галстуки теперь на Кузнецком заказывать или, может, вот в таких брюках к девице, к дочери миллионера, на тайное свидание приходить?

На письмо он ответил сразу:

«Милостивая государыня!

Ни одна девица не имела желания со мной познакомиться, да и вы сразу потеряете это желание, коль скоро увидите меня лично. Не знаю, что Вам рассказывала добрейшая Авдотьюшка, только вы представляете меня, очевидно, неверно. Познакомиться с Вами я никак не могу, хотя бы уже по одному тому, что у меня и времени для этого нет, а если бы и было время, то нет приличной одежды. И никогда, могу Вам сообщить, я не намерен тратить средства на галстуки и манжеты, а время — на романы с девицами. Да будет Вам также известно, что я тугоух, к тому же и обхождению с девицами вовсе не обучен.

С совершенным почтением,

Константин Циолковский.

Письмо было послано. Он думал, что этим дело и кончится. Эта нелепая история должна быть забыта. Сейчас ему не до глупостей. Он набрел, наконец, на настоящий путь. Это — единственный путь, который ведет к необъятным воздушным пространствам.

Изобретал он всегда. С тех пор, как помнил себя. Изобретал все, что взбредет в голову. И почти все он умел построить. Он строил без конца. Делал токарные станки, ветряные мельницы, парусные коляски,

шары-монгольфьеры, музыкальные инструменты, похожие на орган, фортепиано и скрипку одновременно.

Он сделал экипаж с парусом и паровым котлом. Он полюбил этот экипаж, как любят человека. Ему было больно расставаться с ним хотя бы на один час. Он уходил ночевать в свой экипаж и ночью просыпался, чтобы иначе привязать парус, подвинтить гайку, переделать какую-нибудь деталь. Экипаж ходил по ветру, против ветра, в любом направлении, с любой скоростью.

Придумывание и изготовление всяких механизмов утешало и развлекало его. Из-за глухоты он не мог учиться в гимназии, так как не слышал того, что происходит кругом. Мальчишки гнали глухого прочь от себя, когда он просился к ним в игры. И он уходил к себе, к своим игрушкам и к своим мечтам. Его изделия двигались, жили, раскрывали ему мир и природу. Чем сложнее и умнее был механизм, тем больше Циолковский восхищался миром. Следя за тем, как неподвижный бесформенный материал приобретал сначала форму, потом движение, он забывал о пище, сне, глухоте... Он чувствовал трепет жизни в дереве, в металле, в ткани.

Книг в глухой провинции было мало. Но приходили журналы. Девятнадцатый век казался Циолковскому распахнутыми воротами в будущее. Открытия и изобретения в области электричества поразили его воображение. Учебник физики стал любимой книгой его детства. Потом он узнал учение Дарвина о происхождении видов. Журнальную статью о Дарвине он почти выучил наизусть. Не сама эволюционная теория привела его в изумление, а колоссальные возможности человеческого разума в познании природы. Приблизительно в это же время ему попались сообщения об открытии молодого петербургского химика Менделеева.

Циолковский сказал себе: «Вот цель, достойная человека! Проникнуть в самые скрытые тайны природы. Объяснить все, что еще не объяснено».

Самые скрытые тайны были за пределами земли. Во вселенной.

Небо влекло его с непонятной властью. В лунные ночи он бродил по комнатам не просыпаясь, тянулся к окнам, к дверям. Днем он мог часами смотреть на небо, пытаясь представить себе, что может быть за его влекущей синевой. В семнадцать лет он сказал себе: «Я найду туда пути, чорт побери, или не для чего мне жить!» Но первые попавшие в его руки статьи Чернышевского и Писарева вдруг смешали все его представления. Они произвели на него такое глубокое впечатление, что целую неделю он не мог думать ни о чем ином. Ему казалось, что он должен стать рядом с Писаревым, вооружиться тем же оружием и осуществить величайшее дело освобождения народа от гнета царского самодержавия.

Циолковский забросил свои изобретения, читал о Французской революции, достал запрещенный герценовский «Колокол» и решил пойти в народ — поднимать крестьян. Он уже собрался было в дальний поход и ушел из дому, но в первой же деревне почувствовал, что его тянет обратно домой. С крестьянами сговориться он не умел. Они не понимали его. Он не слышал их. Он скучал без своих напильников, молотков, сверл. Ночью он отправился в обратный путь. Ночь была звездная. Он шел по грязной осенней дороге, над ним раскинулось такое необъятное небо, такое черное, такое звездное, что ему хотелось закричать или заплакать от восторга.

Нет.

Его путь к земле лежит через небо.

Он совершит великие открытия, которые дадут народу горы хлеба и океаны счастья. Он хочет только этого...

...Около двух лет назад высокий старик отправлял сына из Рязани в Москву. Сын был тоненький, с ломающимся голосом и чуть-чуть проступающими усами. Ему шел семнадцатый год.

Отец напутствовал:

— Помни, самое главное — любовь к труду, настойчивость, честность... Я верю в твою удачу, ты

упрямый, как чорт. Ты познакомься в Москве с нужными людьми: учеными, изобретателями. На тебя обратят внимание... Я тебе каждый месяц буду посылать пятнадцать, ну, может, двадцать рублей. На большее не рассчитывай. Трудно тебе придется, сынок. Жил бы здесь и жил. Да ты сам просишься... Смотри!.. — И острый кадык старика вдруг как-то беспомощно забился. Старик закурил, встал и сурово крикнул матери:

— Ну, мать, прощайся, я уже...

Во дворе стояли сани. Плетеная корзина с домашней снедью лежала в сене.

Циолковский уехал в Москву.

Ехать надо было лошадьми. Мохнатые снежные ветви сверкали в лучах весеннего солнца. Деревни, за зиму засыпанные снегом, оттаивали и яркими пятнами лежали на белых полях. Звенел бубенец.

Циолковский выскакивал из саней и бежал рядом. Так, казалось ему, скорее добежит до Москвы. И в Москву он не приехал, а прибежал.

...Тысячи планов. Прежде всего он накупит книг и все необходимое для опытов и изобретений. Прежде всего он пойдет в университет слушать лекции. Прежде всего он познакомится с учеными и изобретателями... Тысячи планов. Все — прежде всего...

Он нашел комнатку на Остоженке у Авдотьюшки. Комнатка была крохотная, с окном во двор. Из окна виден только угол сарая и луковка колокольни. На крыше сарая всегда толклись воробьи. И это Москва?

Крах надежд начался уже с первых дней.

Пустив в ход письма, привезенные из дому, Циолковский добился разрешения посещать лекции по математике и физике. Первой лекции математика Бугаева он ждал с большим нетерпением. Еще накануне почистился, сходил в баню. В аудиторию пришел раньше других.

Студенты косились на Циолковского, перешептывались: кто такой явился к концу учебного года? Циолковский болезненно чувствовал свое одиночество. Хотел скрыть это, приготовился записывать лекцию.

Профессор был суетливый, веселый. Он взошел на кафедру и сел в удобной домашней позе, поджав под себя одну ногу. Синий вицмундирный фрак с золотыми пуговицами выглядел на нем уютно и интимно, как домашний халат.

Аудитория стихла. Профессор начал. Он говорил тихо, будто не с кафедры, а за чайным столом. Жестикулировал, иногда вскакивал со стула, бежал к доске и быстро бросал на нее пригоршнями цифры. Часто у него приподнималась и ломалась левая бровь, и было похоже, будто он подмигивает студентам...

Циолковский напрягал слух и внимание, стискивал левой рукой лоб. В правой руке он зажал карандаш. Карандаш неподвижно висел над пустой страницей. Потом медленно рука опустилась и стала вычерчивать человечков. Записывать было нечего — он ничего не слышал.

Во время перерыва Циолковский спустился ближе к кафедре. Студенты окружили профессора, увели к черной доске. Профессор стирал одни цифры и писал другие. Циолковский слышал только монотонный гул, будто жужжали пчелы.

Он занял место на первой скамье. Лекция возобновилась. Опять лежала перед Циолковским открытая тетрадь и в воздухе неподвижно висел карандаш, и опять карандаш медленно опустился на бумагу и стал рисовать человечков.

Студент, сидевший слева, нарядно одетый блондин с бородкой, наклонился к Циолковскому и прошептал в самое ухо:

— Коллега! Я послушал, простите, о какой формуле он говорит?

— Что? — спросил Циолковский так громко, что многие головы повернулись к нему.

Студент повторил вопрос. Циолковский помедлил, потом ответил:

— Подите к чорту, коллега! Я ничего не слышу.

Как только лекция кончилась, он быстро ушел. Злоба и дерзость душили его. «Я сам, — думал он. — Сам! Сам! Сам! Без университета, без лекций!»

Больше в университет он не ходил. Оставались только книги. Их можно было покупать на Сухаревке.

Сухаревка располагалась по левую сторону Сре-тенки, около церкви Троицы-листы. Сотни палаток и развалов сгрудились у подножья грязносерой башни с большими часами, всегда показывающими неверное время. Здесь можно было все купить и все продать. Неумолкаемый, разноголосый крик продавцов и покупателей висел над площадью. Он слышался изда-лека, и москвичи, прислушиваясь к нему, говорили: «Сухаревка!»

Равнодушно проходил Циолковский мимо торгов-цев всяческой снедью, одеждой, мебелью, тканями. Напрасно зазывалы и приказчики хватали его за по-лы пальто, снимали перед ним картузы с лаковыми козырьками; напрасно скупщики краденого обволаки-вали его ласковыми взорами, принимая за своего клиента; напрасно лотошники потрясали пышными горячими калачами и пирожками со всякой начинкой; напрасно соблазняли его полузабытые запахи жаре-ного и пареного, напоминавшие о детстве и доме... Он шел чужой, равнодушный, крепко сжимая рукой в кармане несколько рублей. Он шел в сторону раз-валов и букинистов.

Развалы устраивались на кусках рогожи, постеле-ленной прямо на пыльный булыжник. Чего только не было здесь! И старая непарная обувь, и сломанный зонтик без ручки, и сломанная ручка без зонтика, и крюк для грузчика, и порошок от клопов, и сами клопы в бабушкиной кацавейке, и раковина, принес-шая с морского дна загадочную музыку... В какой лавке купишь одну спицу от зонтика, катушку без ниток, колесико от часов, клистирную трубку без кли-стира?...

Тут Циолковский находил вещи, которые нужны были ему одному.

Нагруженный покупками, он пересчитывал остав-шиеся деньги. Денег всегда оставалось мало. Теперь он шел к букинистам. Букинисты располагались бли-же к Спасским казармам. Тысячи книг манили Циол-

ковского. Но он покупал лишь те, без которых не мог обойтись.

Иногда, взяв в руки книгу, он начинал перелистывать ее и... купленные вещи падали на землю, шляпа сползала на затылок, прохожие толкали его в спину и бока. Он ничего не видел, ничего не слышал, стоял и читал.

Потом пришла та ночь, в течение которой он испытал самое большое счастье и самое большое отчаяние. Это была ночь изобретения аэрона. Она многому научила его. Он понял, что ошибки подстерегают его на каждом шагу. Человек бредет среди возможных ошибок и заблуждений, как среди деревьев в лесной чаще. Только настоящие знания могут вывести из этой чащи.

Он составил программу. Программа была обширной: математика, физика (в размере университетского курса), особо — механика. Затем астрономия, химия, физиология.

Чертковская общедоступная библиотека помещалась на Мясницкой.

Циолковский пришел сюда рано утром. На улицах еще лежала рассветная мгла. Циолковский сел на каменные ступеньки и долго ждал. Наконец появился человек и открыл дверь библиотеки. Он был высок и худ. Дырявая офицерская шинель висела на нем, как на огородном чучеле. Под громадной широкополой шляпой буйно росли черные волосы. Пышная борода скрывала почти все лицо. Выделялся только чрезмерно крупный крылатый нос. Странно противоречили разбойничьей бороде и энергичному носу младенчески ясные голубые глаза. Это был помощник библиотекаря Николай Федорович Федоров.

Циолковский остановился на пороге. Боже! Он никогда не видел такого количества книг.

— Что вас интересует? — спрашивал Федоров. — Физика? Я могу вам предложить Вейсбаха и Брашмана, Ньютоновы «Принципы», лекции Кирхгофа, теорию детерминантов Эннепера...

— Вы тоже занимаетесь физикой? — спросил Циолковский.

— Нет. Я занимаюсь книгами.

До этого времени Циолковский прочитал только несколько учебников и, прочитав их, думал, что знает все. Теперь он понял: надо начинать с начала. Надо узнать все, что знают другие. Вот задача ему по плечу: изучить в совершенстве все точные науки. Они откроют путь к звездам, станут той опорой, которой ему нехватает, когда он забирается на шатающуюся башню своего сна.

Принеся книги, Федоров опять ушел за книжные полки. Циолковский остался один. Громадный пустой зал был еще погружен в утренний полумрак. Поблескивали корешки книг за стеклами шкафов. Ненужно висели над столами незажженные керосиновые лампы.

Циолковский был счастлив.

Мир цифр и формул был для него реальным и осязаемым. Иногда, встречая интересную теорему, он отодвигал от себя книгу, не заглядывая в решение теоремы. И ликовал, когда самостоятельное решение было правильным.

Он не слышал, как зал постепенно заполнялся читателями, шелестом переворачиваемых страниц, приглушенными шагами. Он не видел ни зала, ни книг, ни людей.

Изредка он чувствовал голод или затекала нога. Но он спешил отвлечься от этого, скорее вернуться к книгам и пить из них, пить и пить, утоляя неутолимую жажду...

Он потерял счет времени и очень испугался, когда почувствовал прикосновение к своему плечу.

— Ай! — вскрикнул он, вскочив. — Что такое?

За его спиной стоял Федоров. В зале опять было пусто, темно, тихо. Керосиновая лампа висела над тем местом, где сидел Циолковский, бросая на стол четко очерченный кружок света, да где-то далеко, за книжными стеллажами, светилося еще одно тусклое желтое пятнышко.

— Уже полночь, — сказал Федоров.

Так началось великолепное лето, сменившееся великолепной осенью и великолепной зимой.

С утра уходил Циолковский в библиотеку и про-
сиживал там весь день до вечера, а вечером, дома,
строил физические и электрические приборы, прово-
дил опыты, проверял экспериментами теоретические
выводы и законы.

Он не поднимался из-за стола по девятнадцать —
двадцать часов в сутки. Ни минуты перерыва. А когда
вставал — бледный и счастливый — все перед ним
шаталось. Мир терял свою прочность и устойчивость.
Казалось, пошатни его, толкни посильней, и все
можно сделать иначе — лучше, полнее, сочнее... На
стене его комнаты появились два плаката. Они ви-
сели один против другого, написанные его торопли-
вым почерком, в котором каждая буква стремительно
несется за другой, как бы пытаясь догнать ее, и не
может догнать; и вся строка в движении, в стремле-
нии, в неудержимом полете...

«Счастье захватывается и вырабатывается, — на-
писано было на одном плакате, — а не получается
в готовом виде из рук благодетеля. Писарев».

На другом плакате были слова Смайльса: «Все
должны трудиться так или иначе, если хотят насла-
ждаться жизнью, как следует».

И он не ждал счастья из рук благодетеля. Он
трудился, захватывая и вырабатывая счастье себе и
счастье всему человечеству.

Почти на все получаемые из дому деньги Циол-
ковский покупал книги, трубки, реторты, ртуть, сер-
ную кислоту и другие материалы для своих опытов и
самодельных аппаратов. Он питался только черным
хлебом и водой. Каждые три дня ходил в булочную
и покупал там на девять копеек хлеба. В месяц он
проживал девяносто копеек. Ни копейки лишней.
И был счастлив.

Он верил в свою звезду. Она приведет его на вер-
шину.

Вершиной знаний, вершиной общечеловеческой
пользы, вершиной величия казались ему Исаак
Ньютон, Писарев и Галилей — двигатели челове-
ческого прогресса. Вершиной его жизни представлялось
ему — открыть людям выход во вселенную, завоевать

вселенную, сделать каждого человека властелином вселенной. На меньшее он не был согласен.

Был он все это время веселым и легким, как птица. Все прекрасно было кругом: и небо, и Москва, и перезвон колоколов, и сухаревские попрошайки, и недоступный сбитень на улицах, и пузатые калачи, которыми он мог только любоваться, и попугай на шарманке, и Авдотьюшка, и Шурка, и сам он, несущий по улицам ликование, надежды, мечты, какое-то радостное беспокойство, несовершенные открытия...

Не терпелось сразу же применить полученные знания к решению практических вопросов. Однажды его глубоко взволновала мысль использовать энергию движения земли. Какая колоссальная энергия зря пропадает! Он думал об этом долго, упрямо и, когда изгрыз уже все ногти, решил, что никак этого сделать нельзя.

В другой раз его заинтересовал вопрос: какую форму примет поверхность жидкости в сосуде, если вращать сосуд вокруг отвесной оси? Он купил подходящую реторту, устроил сложное приспособление и пришел к выводу, что теоретические вычисления верны: поверхность жидкости, действительно, принимала форму параболлоида вращения. Такую же форму имели телескопические зеркала. Его воображение создало грандиозный проект: с помощью подвижных зеркал, сделанных из ртути, устроить гигантский телескоп, который позволит увидеть самые отдаленные звезды.

«Может быть, этот ртутный телескоп и станет началом познания, а затем и проникновения в космос», — думал он, горячо принимаясь за вычисления. Он прочитал уйму книг по оптике, астрономии, исписал стопы бумаги, потом запутался в теоретических расчетах и к тому же увлекся новой идеей.

«Почему бы не проложить железную дорогу вдоль экватора, — думал он. — Под влиянием центробежной силы поезд лишится тяжести и будет мчаться с невероятной скоростью». Он высчитал скорость поезда, его вес. Продумал его конструкцию, определил всякие мелочи и решил предложить свой проект пра-

вительствам всех стран, лежащих вдоль экватора; потом понял, что все это вздор.

И снова мысль возвращалась к самому главному и самому желанному — к бесконечному космосу, к загадочным планетам и астероидам, к чудесному, бездонному, вечно живущему и вечно манящему небу.

Но раньше чем завоевать космос, нужно было решить два вопроса: как преодолеть силу земного притяжения и как будет чувствовать себя человек, когда он покинет землю. На иной планете, на астероиде, в космическом снаряде, в межпланетном пространстве человек попадет совсем в другие условия, нежели на земле. Прежде всего, увеличится или уменьшится его вес? Сможет ли человек существовать в таких условиях? Не грозит ли ему смерть от потери тяжести, от чрезмерно ускоренного движения, от изменения плотности окружающей среды?

Чтобы ответить на эти вопросы, Циолковский занялся изучением физиологии. Потом он построил центробежную машину. Поймал несколько мух, посадил их в коробочки и с помощью центробежной машины увеличивал вес мухи в пять раз. С мухами ничего не случилось.

Тогда он велел Авдотьюшке купить живого цыпленка. Авдотьюшка удивилась: что за праздник такой?.. Принесла цыпленка, жирного, желтого, — обед получится на славу! Но Циолковский запретил ей и Шурке даже подходить к цыпленку. Он сам распорядится птицей. Он сделал клетку, подвесил ее к центробежной машине и стал увеличивать тяжесть цыпленка в пять раз. Маленький цыпленок теперь имел вес индюшки, но чувствовал себя прекрасно и, когда опыты кончились, склевал чуть не весь хлеб, который изобретатель оставил себе на ужин. Циолковский ликовал. Он сразу же сел писать научную статью о результатах опытов. Писал трое суток подряд. На четвертые сутки вспомнил о цыпленке. Пусть Авдотьюшка его зажарит. Пусть будет пир горой во имя новых научных открытий!..

Но цыпленок лежал в углу клетки, маленький,ссохшийся, как чижик. Он умер от голода и жажды.

Научные журналы печатали письма профессора Менделеева из-за границы. Менделеев специально был командирован в Европу для изучения состояния воздухоплавания. Отважные ученые всех стран стремились достичь наибольших высот. Строились летательные машины различных конструкций. Создавались аэростаты все большего объема. И все же ни одна летательная машина еще не поднялась в воздух, и ни один аэростат не мог служить быстроходным и безопасным воздушным экипажем.

Однажды Циолковскому попалась напечатанная в Вене статья некоего барона фон Эбнера. В статье говорилось: «Бесчисленные предложения различных конструкций, имеющие целью достигнуть управляемости аэростатов, безнадежно разбиты, подобно квадрату ре круга или «перпетуум-мобиле», так как все они уперлись в математически доказанную неразрешимость этой проблемы».

Эти математические доказательства заинтересовали Циолковского. Он стал искать их. Не нашел. Наоборот, в статьях русских ученых и инженеров: Менделеева и Рыкачева, Верховского и Можайского — он нашел пути к математическим доказательствам того, что аэростат может быть управляем. Почему же до сих пор ни одна конструкция аэростата не подтвердила этого на деле?

И вдруг — три строки, вычитанные в какой-то книге.

«Еще в 1670 году Франциск Лано, — говорили эти строки, — мечтал о построении металлического аэростата с безвоздушным пространством внутри».

Это было абсурдно и гениально. Абсурдно потому, что давление атмосферы раздавило бы такой аэростат раньше, чем он поднимется в воздух. Гениально потому, что металлическая оболочка аэростата газонепроницаема, газ не будет вытекать наружу и аэростат сможет вечно носиться в воздухе. Металлический аэростат прочен, ему не страшны ни буря, ни пламя, ни взрыв.

Создание металлического аэростата — это и есть тот великий дар, который Циолковский принесет че-

ловечеству. Он видел свой металлический аэростат быстроходным, грузоподъемным, безопасным и прочным, как морской корабль. Он сидел много дней и ночей подряд, чертил, высчитывал и все больше укреплялся в мысли, что совершил великое открытие: нашел единственно осуществимый тип воздушного корабля. И опять, как прежде, появились вопросы: но ведь это так просто, почему никто раньше меня не додумался до этого? Почему?.. А почему до Монгольфьеров никто не склеил хотя бы мешка, в два аршина высоты, из первой попавшейся бумаги, не прицепил внизу, у отверстия, хлопок, смоченный спиртом, и не изобрел таким образом аэростата? Почему?.. И он отвечал на этот вопрос без колебания: потому что Монгольфьеры были гениями; потому что великое не придумывается, а открывается. И чем проще открытие, тем гениальнее открывший.

Вот уже несколько месяцев он жил весь наэлектризованный своей новой идеей. Все другие идеи и замыслы отступили на задний план. Он написал о своем изобретении большую статью, в которой изложил все свои расчеты, доказательства, подробно описал выгоды, которые принесет человечеству осуществление его проекта.

Когда он закончил статью, было утро. Циолковский долго прыгал по комнате, размахивая рукописью. Он не умел сдерживать ни радости, ни отчаяния. Проснулись Авдотьюшка и Шурка. Они стояли в дверях и глядели на него с удивлением. Он не замечал их, продолжая плясать, и в такт своей пляске приговаривал одну фразу: «Ай да Циолковский! Ай да глухой!» Они поняли, что он опять совершил великое открытие, и скромно удалились. Собственно, удалась только Авдотьюшка. Она поспешила к Цыкиным, чтобы поскорее сообщить Наталье Аристарховне о том, что Циолковский снова что-то изобрел. Шурка осталась в дверях. Она должна была первой узнать об открытии.

Когда входная дверь за Авдотьюшкой захлопнулась, Шурка смело вошла к Циолковскому и взяла его за руку.

— Хватит! — сказала она. — Пляшет тоже, как маленький.

Он остановился. Увидел ее. Схватил, закружил вместе с собой. Она сердилась:

— Ишь, неугомонный какой! Резвится, как дитё...

— Что бы вы сейчас хотели иметь, Шура? — спросил он, остановившись.

Она подумала.

— Кошку.

— А вы не хотели бы иметь льва? Или, может быть, кокосовый орех величиной с голову ребенка? Или живого крокодила?

— Ну, хочу, — согласилась Шурка, имевшая обыкновение не отказываться ни от чего, что ей предлагают.

— Отлично. Мой металлический аэростат будет лететь со скоростью курьерского поезда. Через четыре-пять дней после вылета из Москвы мы с вами снизимся в долине Нила. Там стоят пирамиды, Шура, и молчаливые сфинксы. Если вам будет слишком жарко, мы полетим на Северный полюс. Воздушному кораблю не нужно дорог, ему не страшны ни моря, ни горы, ни пустыни. Я построю такой корабль, Шура, и весь мир увидит, что небо подвластно человеку!..

3

Статью Циолковский хотел послать профессору Менделееву. Но Менделеев все еще был за границей. Циолковский набрался смелости и отправился к Столетову. Столетова тоже не было в Москве. Тогда статья была послана в редакцию журнала «Наука и жизнь». На последней странице журнала, в отделе «Почтовый ящик», редакция ответила: «Г-ну Циолковскому. Ваша статья о металлическом аэростате для нашего журнала интереса не представляет ввиду ее малой научности».

Почему? Он был удивлен и обижен.

К кому обратиться еще?

Как раз в это время приехал из Петербурга видный инженер, изобретатель различных конструкций

летательных аппаратов, автор многочисленных статей о воздухоплавании. Его фамилия, так же как и фамилия библиотекаря Чертковской библиотеки, была Федоров.

Федоров был лично знаком с Менделеевым, близок к высшим военным кругам. Именно он мог дать ход проекту Циолковского.

Идя на Сретенку в дом госпожи Кульбиной, где остановился приезжий, Циолковский с волнением думал: «От этого посещения зависит все. Сегодняшний день решит мою судьбу. О проекте металлического воздушного корабля может быть уже на будущей неделе узнают академики, министры, профессора. Академия наук ассигнует деньги. Добровольные пожертвования посыплются со всех сторон. Военное министерство доложит государю, и государь скажет: «Это принадлежит России! Российская империя берет на себя все расходы и заботы по сооружению первого в мире управляемого металлического воздушного корабля Циолковского...»

Циолковский открыл дверь и очутился в передней, украшенной лепкой, бронзой, мрамором. Он почти физически ощутил свою незначительность, свой нищеский вид, свою голодную худобу.

Горничная пошла доложить. В прихожую вышел еще не старый полковник с красиво закрученными вверх усами.

Циолковский, заикаясь, переминаясь с ноги на ногу, не зная, куда деть руки и шляпу, сбивчиво попытался разъяснить цель своего визита.

Полковник не попросил его пройти в комнаты. Десятки людей приходили к нему с проектами воздушных машин. Один проект был фантастичнее другого. Большинство самоучек пыталось усовершенствовать аэростат. Конечно — это казалось самым легким. Где им было знать, что он половину своей жизни посвятил этому вопросу и пришел к выводу: поиски должны пойти совсем по другой линии. Надо строить воздушную лодку с паровиком, надо строить воздушную лодку с педалями, нужны тысячи расчетов и годы опытов...

— Студент? — спросил он у Циолковского.

— Нет, не студент.

— Гимназист?

— Нет. Я не мог учиться в гимназии.

— Вот что, мой друг, — сказал полковник. — Я охотно рассмотрел бы ваш проект, но сегодня я возвращаюсь в Петербург. Я вам по-дружески скажу: бросьте вы это дело. Изобретательство требует научных знаний. Сначала надо учиться, молодой человек, а потом уже изобретать. А вы хотите наоборот. Нет-с, наоборот не бывает. И к тому же я вам скажу, что вообще вы напрасно тратите время на изобретение аэростата. Наукой установлено, что аэростат всегда останется игрушкой ветра. Если бы вы получили образование, вы это знали бы и без меня. А посему прощайте, молодой человек, послушайте моего совета: займитесь чем-нибудь другим!..

Он не протянул руки, повернулся и пошел в комнаты.

Бешеная злоба овладела Циолковским. Он сделал два шага вдогонку за полковником и закричал:

— Не извольте беспокоиться, господин полковник! Я все равно глух! Я не слышал ни одного вашего слова. Ни одного. Напрасно старались. Да. Напрасно, милостивый государь, расточали свое красноречие!..

Когда двери захлопнулись и Циолковский очутился на лестнице, он прислонился к стене. Первым желанием было выхватить из кармана свою рукопись, порвать ее в клочья, бросить под ноги, топтать, топтать, топтать... Потом появилось другое желание: наперекор полковнику, наперекор судьбе, наперекор всему на свете самому построить модель. Модель полетит над Москвой. Модель увидят все. Она будет серебриться в синем небе, и толпы людей побегут по улицам, показывая на нее пальцами! И тогда все увидят, что аэростат Циолковского не игрушка ветра!

Все дело было в модели. Только в модели. Модель надо было построить во что бы то ни стало.

Дома Циолковский взял чистый лист бумаги и записал на нем все, что следовало приобрести для изготовления модели.

У него было девять рублей. На следующее утро он оставил на Сухаревке восемь рублей семьдесят копеек. На тридцать копеек предстояло дожить до получения денег от отца. Он рассчитал. Вышло по фунту хлеба на день. Решил, что проживет: фунт хлеба — не так уж мало. Он здоровый, выдержит. Ничего.

Теперь его комната превратилась в мастерскую. Он забросил посещение библиотеки. С утра и до ночи пилил, паял, гнул жесть. Шурка была его добровольным подручным. Она безропотно исполняла все его приказания, была и слесарем, и токарем, и кузнецом, и молотобойцем.

Скоро оказалось, что сделать жестяной баллон, не пропускающий газа, не столь уже легкая задача. Газ просачивался через всякую щель. Материалов не хватало. Денег больше не было. Циолковский еще урезал свою хлебную норму. Теперь весь день его мучил голод. С мыслями о хлебе Циолковский просыпался, с мыслями о хлебе ложился в постель. Выходя на Сухаревку и видя баб, восседающих над горшками со щами и кашей, видя белые калачи и вдыхая запах лука, он иногда ловил себя на желании все бросить к черту, пойти в чайную и наесться досыта ситного с изюмом, или горячих щей, или каши. Ему становилось стыдно. Он, вступивший в борьбу с природой, намеревавшийся побороть стихию, овладеть воздушным океаном и тайнами вселенной, — не мог побороть голод, не мог овладеть собственным организмом...

Его гордость воспротивилась этому. Он сказал себе: «Если я не смогу побороть стихию в своем собственном организме, где же мне побороть стихию в масштабе вселенной?..» И стал бороться.

Получив от отца деньги, Циолковский сразу же купил новых инструментов и материалов для модели. Себе он оставил три двугривенных на весь месяц. Борьбу со своей стихией он начал с того, что в течение двух суток вообще не съел ни крошки хлеба. Только пил воду. Кружилась голова, тошнило, работать он не мог. Когда уже вторые сутки были на ис-

ходе, пришло торжество победы: на следующий день три четверти фунта хлеба казались ему великолепным пиришеством. Потом, исключительно ради тренировки организма, он решил продолжать испытание своей выносливости, отказавшись от воды. За первые сутки не выпил ни глотка. За вторые — тоже. На третьи сутки ослеп. Это его страшно испугало. Глухому стать еще и слепым!

Циолковский лежал на кровати, ничего не видя, кроме серого тумана, обессиленный, напуганный. Лицо его заострилось, как у покойника, и приобрело землисто-зеленый цвет. Шурка хлопотала неутомимо — отпаивала черным кофеом, раздобыла баранок, кормила, как маленького, с ложечки. Пришла Авдотьюшка и, увидев Циолковского, стала голосить на весь дом. На следующее утро явился доктор. Осмотрев Циолковского, он сердито сказал Авдотьюшке:

— Пороть таких надобно, милейшая, не лечить, а пороть нещадно! Чтобы матушку и батюшку не огорчали! Чтобы вместо всей этой дряни, — он обвел руками комнату, — кушать изволили!.. — И он ушел сердитый.

Авдотьюшка вынула прикопленные деньги, хранившиеся в чулке под периной, откармливала Циолковского щами и пшенной кашей с салом, покупала ему молоко. А он ел, хотя никогда, ни до того, ни позже, угощений ни от кого не принимал. Но теперь он ел, потому что боялся умереть, не успев окончить модели металлического аэростата.

Когда зрение и силы вернулись, Циолковский опять с удвоенной энергией принялся за свою модель.

Через несколько дней пришло второе письмо от Наташи Цыкиной. Девушка писала, что Циолковский напрасно что-нибудь такое думает и отказывается от дружеского участия. Она писала, что его письмо, хотя и очень грубое, вызвало в ней еще больший интерес к Циолковскому. Неужели Циолковский так счастлив, что даже не нуждается в друзьях? Почему же она так нуждается в друзьях, ведь ей живется много легче, чем ему? — спрашивала Наташа Цы-

кина и в заключение поучала: «Зря Вы так легко прогоняете от себя людей, которые могли бы стать вашими друзьями. Как бы Вы потом об этом не пожалели!»

Это письмо изрядно удивило Циолковского. Он и не предполагал, что девица могла писать так просто, как будто это была вовсе не девица, а какой-нибудь студент. Удивило его и то, что Наташа как бы угадывала его настроение...

Модель не получалась. Она требовала все новых и новых расходов. Но денег не было. Циолковский был голоден и слаб. Он был одинок. Никого, кроме Шурки!

Циолковский перечитал письмо. Он представил себе, как выглядит Наташа Цыкина. Она была высокая и полная. Две русые косы лежали на пышной груди. Яркие влажные губы были полураскрыты, и голубые глаза всегда немножко смеялись. У нее были сильные и бесстрашные руки.

Ему захотелось увидеть эту девушку и сказать ей: «Вы правы. Я одинок, и мне тяжело живется. Мои мысли и надежды обгоняют мои возможности. Моему проекту не верят. Мне не удастся построить модель металлического аэростата, хотя я вижу ее, будто держу в руках. Я всегда голоден. У меня мерзнут ноги, потому что дырявы башмаки и носки...» Нет, про голод и про ноги он ничего бы не стал говорить. Он стал бы ей рассказывать про завоевание воздуха и космоса. Он нарисовал бы перед нею жизнь во вселенной, и она почувствовала бы себя как он: такой же легкой, такой же крылатой, такой же готовой встать на цыпочки, взмахнуть руками и полететь...

— Дурак! — обрывал он себя. — Мечтатель! Фантазер! Мальчишка!.. Отучишься ли ты мечтать о несбыточном и невозможном?.. Тоже — Дон-Жуан! Вот встретишься с нею, и она скажет тебе что-то, а ты не расслышишь и будешь кричать: «А? А? А?..» Так что же, прикажешь ей тоже кричать на всю улицу?.. А может быть, она вовсе и не про любовь тебе скажет, а так просто, ну, например, что погода хорошая! А ты подумаешь, что она про любовь говорит!..

Да и как придешь ты в этом пальто, в этих брюках с бахромой, в этих башмаках, из которых торчат пальцы? Да и что скажешь ей? Ты задохнешься от стыда и смущения. Язык во рту завьется клубком, и ты не выговоришь ни слова! Как же ей поверить, что ты великий изобретатель и ученый; что ты счастливейший из смертных и богатейший из богачей?

И он написал ей в ответ:

«Сударыня!

Вы не должны на меня обижаться за то, что я отказываюсь от лестного знакомства с Вами. Все мое время и все мои мысли принадлежат не мне, а тому делу, которому я себя посвятил: воздушному кораблю. Покорение воздуха, а потом и безвоздушного пространства нужно не только мне, оно нужно миллионам людей. Это великое дело требует от меня многих лишений. И как бы мне ни было лестно и приятно заслужить ваше благорасположение и дружбу, но долг перед человечеством призывает меня пренебречь всем личным и полностью отдаться грандиозной задаче, которую я взялся решить. Я думаю, сударыня, что после такой откровенности вы не захотите больше нарушать одиночество труженика, который, тем более, не может представлять для вас никакого интереса...»

И он опять думал, что этим письмом покончил с Наташей Цыкиной, что она больше не напишет ему, а он забудет о ней навсегда и будет жить, как жил прежде, целомудренно и честно, ревниво сберегая все свои душевные и физические силы только для одной любви — для любви к будущему человечеству, для завоевания воздушных и космических пространств.

Он отправил свое письмо с Авдотьюшкой и снова погрузился в работу. Модель должна была получиться! Неужели он не сможет осуществить своего проекта? Неужели из-за такой ничтожной причины, как недостаток денег, материалов и инструментов, он отступит от главного дела своей жизни? Работа, как и прежде, поглощала его целиком. Только ино-

гда он чувствовал как бы легкий и быстрый порыв ветра. Будто нечто прикасалось к нему на мгновение и улетало. Так возникало у него неясное чувство, что он что-то держал в руках и выпустил, имел и потерял. И снова появлялся перед ним образ Наташи. Иногда он видел ее маленькой и хрупкой, черноволосой и жаркоглазой. Она приходила в его комнату под черной вуалью и не откидывала вуали. Она была такой маленькой и тоненькой, что, казалось, разобьется от одного прикосновения к ней. Она верила всему, что он говорил. Верила так страстно, что готова была делить с ним голод и холод, тяжкий труд и всяческие лишения, чтобы когда-нибудь вместе с ним ступить на борт межпланетного корабля.

Он чертыхался от этих мыслей и с таким неистовством набрасывался на жечь, напильники, паяльник, что металл отчаянно скрежетал и скрипел, оглашая весь дом звоном, грохотом, шумом.

Наташа снова ответила на его письмо:

«Чудесный мечтатель! Я не хочу оставить Вас в покое, я не уверена, что так будет для Вас лучше. А вдруг Вы ошибаетесь и дело всей Вашей жизни ничего не стоит? Вдруг все Ваши надежды — это только мираж? Мой отец достаточно богат, образован и смел, чтобы оценить Ваши проекты, ежели они этого заслуживают, и помочь их осуществлению. Уже одним этим я могу быть Вам полезна, зачем же отказываться от протянутой руки?»

Наташа просила Циолковского об одном: пусть он назначит день и час. Она придет на Тверской бульвар и будет ждать его на скамейке. Больше ей ничего не нужно.

Циолковский, прочитав это письмо, встревоженный и нахохленный ходил по комнате. Неужели это объяснение в любви? Неужели девушка объясняется в любви к нему? Фу, какая ерунда!..

...И вдруг ему представился Тверской бульвар. Вечер. Гимназисты с гимназистками. Огоньки папирос. Бравые офицеры. Скамейка. На скамейке де-

вушка. Она под вуалью. Она сидит спиной к нему, и он угадывает под накидкой очертания ее спины, тонкой и гибкой, как стебель цветка. Он подходит. Она вздрагивает. Он чувствует запах духов. Она откидывает вуаль, и он видит жгучие и ждущие глаза и сжатые губы. И он видит себя: долговязого, в оборванной одежде, с голодными глазами и нестриженной гривой. Он хочет поцеловать ее руку, но девушка отступает назад. Ее губы шевелятся, она что-то говорит. Он ее не слышит. Он наклоняется к ее лицу, чтобы расслышать, он хочет приложить к ее губам свое ухо. Она отшатывается... Нет. Этого не будет.

Он думает, как ответить на ее письмо. Он не хочет ее обидеть. Он думает об этом весь день и весь вечер, а когда наступает ночь и зажигаются свечи, ему становится стыдно: он вспоминает, что весь день не подходил к своей модели, не взял в руки молотка и клещей. Весь день думал о Наташе.

Циолковский подошел к верстаку, к бесформенным листам железа. Они лежат брошенные. Он провел ладонью по их гладким поверхностям. Он считал себя изменником и предателем! Кончено! Он больше не будет думать о девушке, которую никогда не видел и не увидит. Он вернется к своей работе. Он сделает модель и убедит мир в преимуществах своего аэростата.

Он взялся за клещи и стал опять, в который уж раз, гнуть листы жести, пытаясь придать им нужную форму. И продолжал думать о девушке. К чорту! Надо занять мысли чем-нибудь другим. Он рассчитывал расширяемость газа. И продолжал думать о девушке. За что бы ни брался, чем бы ни занимался, что бы ни делал — думал о девушке. Девушка была всюду. От нее никуда не деться. Она была за верстаком, за столом, на постели, то высокая и полная, с полураскрытым ртом и смеющимися глазами, то тоненькая, с горящим черным взором...

«Это любовь? — спрашивал себя Циолковский. — Да, наверно, это и есть любовь! Это страсть? — задавал он себе вопрос. — Да, наверно, это и есть страсть!» И он стал рабом этой страсти? Он, побо-

ровший голод и жажду, подчинивший воле и рассудку свой организм? Неужели не сможет он побороть эту страсть, освободиться от рабства? Он призвал на помощь волю и разум — своих верных помощников.

Надо было, прежде всего, разобраться в своем состоянии.

За окном светила луна. Она освещала луковку церковной колокольни. Хрипло, взхлеб, лаяла собака.

Циолковский привык думать с пером в руках. Он писал:

«Мое состояние, по всей вероятности, является результатом неудовлетворенного полового влечения. Сосредоточенность на одном чувстве, — писал он дальше, — будь то половое влечение, голод или жажда, происходит от того, что один участок мозга получает более сильное питание кровью. Происходит взаимообратный процесс. Возросшая активность увеличивает питание (кровообращение), а увеличившееся питание...

Страсть пагубна для творчества и разума, так как разумная творческая деятельность требует разносторонней активности мозга. Только избавившись от страстей, можно сознательно развивать свой разум и всегда поддерживать необходимые для творчества ясность рассудка, спокойствие и равновесие...»

Так он писал и хвастливо думал: вот что значит сила разума и сила воли! Проанализировал трезво, научно, материалистически — и все стало ясно: что такое страсть и отчего она происходит. А теперь не составит особого труда и преодолеть ее.

Время было уже позднее. Может быть, четыре или пять часов ночи. «Вот и хорошо, — рассуждал Циолковский сам с собою. — Больше о Наташе я не думаю, спокойно ложусь спать, засыпаю и встаю утром трезвый, ясный и здоровый, чтобы сразу же заниматься моделью».

Но когда он лег в постель, убедительность только что написанного трактата о страсти сразу потускнела. Образ девушки все время стоял перед ним. Циолковский то откидывал одеяло, изнемогая от жары, то

чувствовал озноб и натягивал одеяло на голову. Уже трижды прокричали петухи, но он все еще не спал.

Когда начало светать и на бледносером фоне неба очертились силуэты крыши со скворечником, сарая, колокольни, — он встал и, не зажигая свечи, в полумраке написал:

«Милая Наталья Аристарховна!

Мы должны встретиться, хотя, может быть, после этого Вы не захотите меня увидеть вторично и даже написать мне. Я хочу сказать Вам очень многое и с нетерпением жду этой возможности. Сообщите через Авдотьюшку, в какое время и где мы сможем увидеться.

К. Ц.»

Записка лежала на столе. Циолковский не мог дожидаться утра. Ему хотелось, чтобы записка сейчас уже была в руках Наташи. Светало очень медленно! Наконец рассвело. Бабы с ведрами шли к колодцу. Где-то мычали коровы. Прогрохотала пролетка на окованных колесах. Авдотьюшка все еще не просыпалась. Как она поздно сегодня!.. Он хотел разбудить ее — начал громко топтать ногами, открывать и закрывать дверь.

Как только услышал громкий утренний зевок Авдотьюшки и скрип половиц под ее ногами, сразу же вошел в кухню. Авдотьюшка была еще в нижней юбке.

— Вот, Авдотьюшка, милая, Наталье Аристарховне! Сразу же, как только придете. Утром. Сразу же и передайте.

С лица Авдотьюшки мигом сошли следы сна. Переписка между ее чудачком и барышней живо интересовала ее. Значит, все-таки влюбился! Хоть и ученый, и голодный, а не устоял!

— А как же, батюшка? Почему же не передать? Конечно, передам!

— Нет, главное — утром, сразу же, — настаивал Циолковский.

— Сразу же и передам. Они меня теперь всегда еще в коридоре встречают.

Днем Авдотьюшка забежала домой специально для того, чтобы передать Циолковскому ответ. Наташа просила Циолковского прийти на Тверской бульвар через час. Она будет сидеть на третьей скамейке, если считать от Страстного монастыря. На ней будет серая накидка и серая вуаль.

В течение часа Циолковский трижды принимал решение идти на Тверской бульвар и трижды решал не идти. Через час он все-таки вышел из дома. Была сырая осенняя погода. Моросил мелкий дождь. Женщины высоко поднимали подол, прыгая через лужи. Дул холодный и острый ветер.

Чтобы пальто выглядело более приличным, Циолковский не надел его в рукава, а накинул, как плащ. Руки Циолковского озябли и стали красными. Все время он думал об одном: какая она и как отнесется к нему, увидев его таким, каков он есть?

Он понимал, что опаздывает, но долго ходил по Тверской, не решаясь свернуть на бульвар. Несколько раз страх перед свиданием оказывался так силен, что Циолковский поворачивал обратно и уходил подальше от бульвара. Потом он устыдился своей нерешительности. Поправил шляпу, принял молодцеватый вид и смело направился вдоль бульвара. На первой скамейке — никого не было. На второй — тоже. Третья... Кто-то был на ней. Сквозь деревья и дождь Циолковский увидел согнутую серую фигурку.

Он встал за деревом и стал рассматривать ее. Увидел накидку, узкую спину, зонт — и больше ничего. Девушке, наверно, тоже было холодно, она вся сжалась комочком.

Циолковский вышел из-за дерева и сделал еще два шага по направлению к скамейке. Но когда он сделал эти два шага, то вдруг в луже не столько увидел, сколько угадал свое отражение... Он повернулся и пошел обратно быстро-быстро, чтобы скорее свернуть с бульвара, чтобы она не успела его увидеть.

Он шел все быстрее, а потом побежал. И прохожие думали, что он бежит потому, что дождь. А он бежал не потому, что шел дождь, и не потому, что Наташа могла обернуться и увидеть его. Он бежал

домой, потому что ему не терпелось скорее сделать модель, скорее построить аэростат, скорее осуществить хоть малую часть того, что ему суждено осуществить. Только тогда, когда мир признает его великие заслуги, он захочет притти на свидание к Наташе Цыкиной, и только тогда он придет на это свидание.

4

Каждый день шли дожди. Время было уже зимнее, но зима еще не наступила. Циолковскому было все время холодно. Ему было холодно и на улице, и дома. Однако вскоре пришлось продать зимнюю шапку, одеяло и блузу. У него было две блузы. Теперь осталась одна.

За шапку, блузу и одеяло дали на Сухаревке рубль восемьдесят копеек. Он купил жести и проволоки. Но через два дня все купленные материалы были израсходованы, а постройка модели не приблизилась к концу. Оболочку аэростата нельзя было наполнить газом. Газ вытекал сквозь щели. Получалась не модель, по которой можно было бы судить о величайшем изобретении, а некрасивая и незабавная игрушка.

Требовались новые материалы и новые инструменты. Циолковский понял, что ни на рубль восемьдесят копеек, ни даже на десять рублей он модели построить не сможет. Ему нужно иметь рублей тридцать — тридцать пять. Не меньше... Тридцать пять рублей! Боже мой! Он никогда не располагал такими деньгами.

Он подумал, что это громадная сумма, и ему самому стало смешно. Громадная сумма! Для того, чтобы дать человечеству крылья, открыть ему дорогу к облакам, а затем и в заоблачные космические пространства!

Он написал отцу большое письмо. «Мое изобретение, — писал он, — имеет такое значение для России и всего человечества, что его невозможно оценить деньгами. Как определить денежную стоимость власти над вселенной? Мой металлический аэростат при-

несет людям неисчислимые выгоды. Даже маленькая модель сразу убедит всю Россию, что Константин Циолковский не даром прожил на свете девятнадцать лет. Мне необходимо как можно скорее изготовить модель, чтобы получить поддержку военного министерства, министерства путей сообщения и промышленников. Есеобщее признание моего изобретения — дело завтрашнего дня. Остановка лишь за моделью. Умоляю вас, отец, продайте что-нибудь из вещей и пришлите мне тридцать — тридцать пять рублей».

Отец ответил, что он рад за сына, что хочет верить в его скорый успех и от всей души желает этого успеха. Но продать решительно нечего. Времена трудные. Сам он стареет и зарабатывает теперь очень мало, семья отказывает себе в самом необходимом и не может ни на копейку увеличить сумму, которую и так нелегко выкраивать для жизни Кости в Москве.

Аристарх Кузьмич Цыкин — отец Наташи — вот кто мог ему помочь! Может быть, только он один и мог ему помочь!

Циолковский написал Наташе Цыкиной. Он признался, что приходил тогда на Тверской бульвар и видел ее, но не решился подойти. Он объяснил, почему не подошел к ней. «Вы должны понять, — писал он, — что я хочу увидеться с Вами, но могу сделать это не раньше, чем получу уверенность, что идея, которая сжигает меня, будет осуществлена». В заключение он просил ее поговорить с отцом: пусть отец примет его и выслушает. Тогда, может быть, все будет иначе.

Наташа не ответила. Ответил письмоводитель господина Цыкина. Он прислал письмо, в котором сообщал, что Аристарх Кузьмич просит господина Циолковского пожаловать в контору в ближайшую среду, до обеда.

«Главное — не смущаться, — думал Циолковский. — Когда является бедно одетый человек и мнет в руках шляпу, а на лице его написана неуверенность в своем будущем, — никто не может отнестись к нему с доверием. Преодолеть застенчивость, держаться с достоинством и важностью, будто на тебе фрак».

Так он и решил.

Его провели в приемную господина Цыкина и попросили подождать. В приемной было еще трое посетителей: старик с блудливыми глазами и фиолетовым носом пьяницы, пышная дама с громадной брошью на высоком бюсте и жилистый рыжий немец. Немец был простужен, все время чихал и сморкался, старательно пряча свой насморк за листами газеты.

Аристарх Кузьмич был в этот день в отличном расположении духа. Впрочем, он почти всегда был в отличном расположении духа. Дела его шли в гору. Жизнь была прекрасна. На здоровье он жаловаться не мог. Ему было приятно все: и то, что в его приемной всегда много народу, и то, что в шкафах много книг, и то, что в его бакенбардах не заметно седины, и то, что на левом мизинце такой чудесный брильянт, и то, что паркет в его кабинете сверкает.

Сейчас в кабинете сидел управляющий одним из небольших южных заводов. Это был высокий седой красивый господин. Держался он как вельможа. Говорил мало, сдержанно, тихо. Но Аристарх Кузьмич знал, что этот неумный и невежественный человек думает только о преферансе и выпивке, а все остальное — напускное, внешнее, рассчитанное на других.

Аристарх Кузьмич вытянул под столом ноги, сложил на брюшке пухлые холеные руки и, не слушая собеседника, думал: «Молодежь! Молодежь! Вот кто нужен России. А молодежь занимается революцией. Эх, молодежь, молодежь! Революция, конечно, дело хорошее. Но прежде всего — преодолеть вековую отсталость матушки России... Если бы направить на это весь пыл молодежи, всю ее страсть, весь огонь — каких бы дел наделали, господи боже мой! Каких бы наделали дел...»

— Я вас больше не задерживаю, — сказал он управляющему, заметив, что тот кончил.

Он встал и пожал управляющему руку.

Вошел письмоводитель. Аристарх Кузьмич спросил:

— Кто еще в приемной? — Письмоводитель назвал всех. — Немчик пусть подождет, — с хитровой усмешкой сказал Цыкин, — я тоже ждал его. Пусть

спеси поубавит... Генеральша Саламонова! Господи, как она мне надоела!..

Генеральша Саламонова — это на кого-то жалобы и за кого-то просьбы; это длинные скучные рассказы и необходимость целовать дряблую напудренную руку... все это было не нужно и не интересно. Но кем-то эта генеральша кому-то приходилась, и все ее принимали, издавна считая деловой дамой, а она всю жизнь проводила в чужих приемных и кабинетах.

Он скучал, слушая ее ничемную болтовню, и продолжал думать все о том же: о молодежи, которая растет не такой, какой ему хотелось бы. Он вспомнил своего сына, этого беспутного ветреника, шалопая и бабьего баловня, который только и умеет, что проматывать отцовские деньги. Ему было противно думать о сыне и противно слушать генеральшу, и те несколько минут, которые провела у него в кабинете Саламонова, показались ему бесконечно долгими.

Потом он принял старика. Это был проситель. Когда-то он служил у Цыкина, и Цыкин знал его как ничтожнейшего человека, пьянчужку, нечистого на руку. И вот старик явился снова. Его выгнали со службы, и он просил Цыкина опять дать ему службу или хотя бы ссудить деньгами, потому что «не допустите же вы, благодетель рода человеческого, Аристарх Кузьмич, чтобы дворянская фамилия померла с голоду...»

На службу Аристарх Кузьмич старика не взял, и был ему этот проситель противен, потому что изо рта его пахло водкой и весь вид свидетельствовал о его полнейшем ничтожестве. Цыкин раскрыл бумажник, чтобы дать ему три рубля, но неожиданно для себя вытащил из бумажника пятьдесят рублей и протянул старику, который растерянно моргал красными веками, не веря счастью... А Цыкин был доволен. Ему стало смешно и весело.

Старик ушел, и очередь дошла до немчика. Собственно, немчик этот был не просто немчик, а доктор технических наук, прославленный в Европе инженер Гильгельм фон Штрассман.

Несколько лет назад Цыкин мечтал заполучить для одной железнодорожной стройки Вильгельма фон Штрассмана в качестве главного инженера строительства. Штрассман долго не соглашался приехать. Наконец его уговорили. Он запросил громадное вознаграждение. Чорт с ним! Цыкин согласился платить ему такие деньги, на которые мог бы содержать четырех русских инженеров.

Штрассман прямо из Германии поехал на строительство, пробыл там два месяца и теперь впервые в жизни посетил Москву. Заставляя его ждать в приемной, Цыкин мстил за то, что немец так долго не соглашался приехать в Россию. Это была беззлая, шутливая месть. Цыкин рад был познакомиться с известным европейским специалистом, поговорить о делах, о технических новинках Запада, о всяческих европейских новостях и расспросить, какое впечатление произвели на него Россия и русское строительное дело.

Аристарх Кузьмич встал навстречу Штрассману, раскрыл объятия по-русски и заговорил по-немецки:

— Очень рад. Очень рад с вами познакомиться, господин доктор. Давно об этом мечтал. Ну, усаживайтесь. Вот сюда. Здесь поудобнее будет. Вот так. Рассказывайте. Какое впечатление произвела на вас наша матушка-Русь? Неважное, конечно? Понимаю, понимаю, после Унтер-ден-Линден — вдруг эти деревянные домики и грязь на улице, и земляные валы, и козы, щиплющие траву...

— Да, да, да, — соглашался немец. — Вот именно козы, и именно после Унтер-ден-Линден, и именно грязь, и именно земляные валы...

— Ну, а наши железнодорожные мастерские? Конечно, после вашей новейшей техники эти закопченные стены, эта «Дубинушка»...

— Да, да, да, — соглашался немец.

И он горько сокрушался, что в России нет ни новейшей техники, ни чистеньких поселков; что железнодорожные вагоны такие тесные и неблагоустроенные; что мастера и подрядчики не знают немецкого языка...

«Э-ге-ге, — думал Цыкин, — что-то этот немчик уж больно ноет». И все с меньшим энтузиазмом говорил сам и все с большей подозрительностью слушал гостя. А немец все жаловался. Он жаловался на невежество губернских властей, на темноту обывателей, на недостаток инструментов, на неграмотность рабочих...

«Не тот немчик, — думал Цыкин, — скучный немчик. Неужели он в России так больше ничего и не увидел?..»

Немец стал жаловаться на управляющего строительством Коваленко, который недоплатил ему за два месяца двенадцать рублей восемьдесят шесть копеек.

— Хотя это деньги, может быть, небольшие, но так как у нас в Германии не принято нарушать контракты, — у нас в Германии принято платить все до последней марки, — то я хотел бы получить и в России все, что мне положено по контракту.

«Не тот немчик, — с грустью думал Цыкин. — Молодец Коваленко, что надул его. Договаривались-то о настоящем немце, а этот?..» — И ему показалось, что не Коваленко обманул немца, а немец чем-то обманул его, Цыкина.

Аристарх Кузьмич сказал, что не знает, почему Коваленко недоплатил двенадцать рублей восемьдесят шесть копеек, но он верит Коваленко, значит так и следовало недоплатить господину доктору двенадцать рублей восемьдесят шесть копеек, и он, Цыкин, никак не может уплатить этих двенадцати рублей восьмидесяти шести копеек, если бы даже господин доктор Штрассман и решил из-за этих денег немедленно вернуться на свою Унтер-ден-Линден...

Немец встал и с кислым лицом церемонно раскланялся. Цыкин проводил его до дверей кабинета, а когда дверь закрылась — долго смеялся: «Ай да я! Показал этому дотошному немчику, где у нас в России раки зимуют!»

Потом письмоводитель доложил, что в приемной ожидает еще господин Циолковский. Цыкин никак не мог вспомнить, кто такой Циолковский: не тот ли это, что из промышленного банка, или, может быть, штабс-капитан, который жаловался на прохвоста

Мишку, обольстившего его дочь? Но как только Циолковский вошел в кабинет и Цыкин увидел перед собой долгового длинноволосого юношу в ветхой одежде, со следами истощения на лице, — он сразу сообразил: это тот юный гений, о котором рассказывала Наталья!

Циолковский, выполняя свое решение, держался уверенно и достойно. Он не стал мяться в дверях. Он сразу, может быть даже слишком поспешно, подошел к столу. Сел, не ожидая приглашения. Положил шляпу на край стола и громко сказал:

— Я вас долго не задержу, господин Цыкин. Я имею деловое предложение, которое уже через год даст вам триста тысяч чистого дохода. Через два года вы получите семьсот тысяч, а на третий год чистая прибыль от предприятия составит полтора миллиона — у меня все подсчитано. Вот здесь, — и он указал на рукопись своего проекта. — Извольте меня выслушать.

Цыкину понравилось все: то, что Циолковский так молод и так самоуверен; то, что он, придя, не извиняется, не льстит, не говорит ненужных слов, а начинает разговор, как деловой человек с деловым человеком. Ему нравилось, что глаза Циолковского — это глаза мечтателя и фантаста, а одежда свидетельствует о полном презрении к житейским благам. «Не то, что мой Мишка — сукин сын!»

— Наслышан о вас, господин Циолковский, — сказал Цыкин приветливо. — Наташа мне о вас все уши прожужжала. Гений, говорит, да и только. А я, грешный, гениев люблю. На гениях-то, может быть, весь прогресс и держится, а? Как вы думаете, господин Циолковский?

Циолковский не стал отвечать на вопрос, потому что не расслышал его и потому что спешил скорее изложить свою идею.

Он старался говорить коротко, просто, понятно и вместе с тем строго научно. Он доказывал реальность и осуществимость своих воздушных кораблей, убеждал, что после их постройки воздушный путь станет самым экономичным, удобным и коротким.

— Я не буду сейчас рисовать перед вами те преимущества, которые получит русская торговля и промышленность от установления прямого воздушного пути в Индию, Египет, Турцию. Возьмем хотя бы одну только Сибирь. Представьте себе, какие открываются перспективы для вывоза пушнины, золота, рыбы. Отдаленный золотой прииск в тайге, глухая деревня, заброшенная в непроходимые леса, стойбище самоеда или маленький захолустный городок в Барабинских степях — все они могут превратиться в крупные воздушные порты, связанные быстрым и удобным сообщением с любой точкой земного шара...

Циолковский увлекался своим рассказом все больше и больше. Глаза его загорелись огнем вдохновения. Еще никто никогда не слушал его так внимательно, как этот миллионер, которому стоит только захотеть — и все, что сейчас рассказывает Циолковский, станет явью, действительностью, завтрашним днем.

Цыкин не перебивал его. Он старался не пропустить ни одного слова, следил за каждым жестом Циолковского, внимательно рассматривал чертежи и таблицы. Огонь, страсть, честность и искренняя убежденность, которые исходили из слов, из глаз, из всей фигуры Циолковского, проникали в душу Цыкина. Глаза Цыкина тоже загорелись.

Циолковский чувствовал, что увлек и покориł богача. Это поднимало его и несло все дальше и дальше. Он говорил уже о том, как человечество, завоевав воздушные пространства, станет подлинным владыкой природы. Он рисовал грандиозную картину, и мазки его были широкими и смелыми. Целыми городами люди переселяются из холодных стран в южные страны. Пустыни станут цветущими садами. Всеобщее благополучие раскрепостит разум, и возросшее могущество человека откроет пути для завоевания межпланетного пространства, всех тех, пока еще неизвестных нам богатств, которые существуют на иных планетах, на астероидах и просто в эфире...

«Да, этому юноше нельзя отказать ни в размахе, ни в смелости, ни в энтузиазме! — с восторгом и нежностью думал Аристарх Кузьмич. — Вот она,

наша русская молодежь! Это тебе не немчик, приехавший в Москву за двенадцатью рублями восемьюдесятью шестью копейками! Этому не двенадцать рублей, а все богатства земли подавай, да и тех ему мало. Вишь о чем он мечтает — о богатствах других планет и астероидов! Он об Индии и Египте как о Зарядье или Хамовниках думает. Для него ничего невозможного нет... Вот русская душа! Этот все может! Только такие и могут, что в заплатанных штанах ходят и для которых булка с колбасой менее доступна, чем все тайны космоса. Что ж, дело требует риска. Это тебе не дома по речке сплавлять. Это — весь мир преобразовать! Он-то, дурак, и сам не понимает, что придумал. Это — не полтора миллиона, это десятки миллионов прибыли даст, если осуществится хотя бы одна сотая доля того, что им задумано. Для такого дела и тридцатью тысячами рискнуть не грех. Только, пожалуй, этот молодец и тридцатью тысячами не удовольствуется. На тридцать-то тысяч, скажет, прикажете мир преобразовать? Да он засмеет меня с моими тридцатью тысячами...»

— Здорово! Здорово! — закричал Цыкин с энтузиазмом, перегнувшись через стол и хлопая Циолковского по плечу. — Здорово! Здорово! Чорт вас подери! По душе мне это, по душе. Так сколько же вам нужно? — говорите прямо. На первое время! На самое первое время! Расходы пополам: ваши знания и талант — мои деньги...

Циолковский еще задыхался от увлечения, от успеха. Вот оно, свершение всех его желаний! Пробыл его час! Теперь-то он сделает модель, проведет дополнительные опыты. Может быть, не пройдет и полгода, как поднимется в воздух первый металлический воздушный корабль. И на его борту будет Циолковский... «Наталя! — думал он. — Наташа! Вот теперь мы встретимся с тобой на Тверском бульваре, и я не буду стесняться ни своей глухоты, ни своего пальто, ни своих башмаков...»

— Я сейчас подсчитаю, сколько нужно на первое время, — сказал он. — Я сейчас вам скажу.

Циолковский склонился над листком бумаги. Он считал: три листа алюминия, проволока, материал для пайки, инструменты, новый воздушный насос. Да. Рублей за тридцать восемь он может изготовить отличную модель. Ну, еще на технические справочники — три рубля сорок копеек. Всякие непредвиденные расходы — еще четыре рубля. Будем считать — сорок пять. Сорок пять рублей! Господи! Да это же целое богатство! Не слишком ли он зарвался?

— Это, конечно, ужасно много, Аристарх Кузьмич, я сам знаю, что много, но...

— Сколько? Сколько? — не терпелось Цыкину.

— На самое первое время мне нужно сорок пять...

— Сорок пять? — весело закричал Цыкин, и восхищенно подумал: «Ого! Он знает толк вещам».

— Если бы вы дали мне эти деньги, — горячо убеждал его Циолковский, — поверьте, они окупились бы сторицей. Я бы построил модель, и тогда никто не смог бы оспаривать осуществимость моего проекта... Если бы вы дали мне сорок пять рублей...

— Что? — переспросил Цыкин. — Рублей? Вы говорите: рублей?

— Совершенно верно. Сорок пять рублей. Эти деньги дали бы миру... Они дали бы миру...

«Сорок пять рублей? — думал Цыкин. — Меньше, чем я дал пьянчужке, чтобы его дворянская фамилия не померла с голоду? И на эти сорок пять рублей он собирается преобразовать мир? Завоевать воздушный океан? Осчастливить человечество?..» — И сразу пропал весь его интерес к этому голодному, оборванному юноше, который мечтает о сорока пяти рублях для преобразования мира. Так вот он, его размах! Его масштабы! Ему нужно, видите ли, всего сорок пять рублей. И сразу стало ясно, что превращение пустынь в цветущие страны, в воздушные поезда и миллионные доходы — все это мечты и фантазия. А на деле — моточки проволоки, обрезки жести, Сухаревка, и нет галош, и сухой хлеб с водичкой. Сколько он видел таких прожектеров и скольких еще встретит на своем пути!...

— Вот вам, молодой человек, целковый. Больше нет при себе. Не взыщите...

Циолковский вышел от Цыкина, чувствуя слабость и головокружение. Ему казалось, что сейчас он упадет. Упасть на улице! Подумают, пьяный. Расспросы. Городовой. Участок. Нет! Надо напрячь все силы, всю волю: прислониться к стене, переждать, пока слабость пройдет.

Вокруг него плыли неясные очертания домов, прохожих, извозчиков. Холодный пот выступил на лбу.

Откуда-то издалека раздался голос:

— Что с вами?

Он хотел ответить: «Ничего, сейчас пройдет». Может быть, он ответил это, а может быть — нет. Ответа своего он не расслышал.

Очнувшись Циолковский в аптеке, на жестком деревянном диване. Толстый черный аптекарь давал нюхать нашатырный спирт.

— Ну вот, теперь здоров! — весело воскликнул аптекарь. — Мне и доктора не требуется, я сразу вижу: самый распространенный в медицине случай: простой студенческий обморок.

Циолковский видел устремленные на него любопытные и сочувственные взгляды.

— Господи, пресвятая богородица! До чего же худ! Вы на его шею, господа, поглядите: как у цыпленка! — сказала женщина в шляпке.

— Ясно: студент! — ответила другая, в салопе. — Уж я этих долговолосых знаю. Наверно, дня три не кушамши...

— Вот мы ему сейчас вприснем укрепляющего! — колдовал веселый аптекарь. — Принеси-ка, Степочка, стаканчик портвейну.

После портвейна Циолковский встал — бледный, еще шатающийся. С виноватой улыбкой он стал благодарить и извиняться.

— Куда вы спешите, сударь? — загородил ему дорогу аптекарь. — Посмотрите на себя: на вас еще лица нет. Родители-то живы? Послушайте опытного человека: чахотка вам обеспечена раньше, чем вы окончите курс. Плюньте на университет. Я хоть и

сам служитель науки, а скажу вам по-человечески: здоровье дороже. Ей-богу!

Циолковский вышел из аптеки и побрел, придерживаясь рукой за стены домов. Ему было понятно, что произошло на улице: обморок. Но что произошло у Цыкина? Почему настроение этого богача так резко и без всякого повода переменялось? Что случилось? Этого понять он не мог.

Так или иначе, это был финал: истощение, невозможность изготовить модель, полная безнадежность в будущем. Циолковский почувствовал себя слабым, нищим, беспомощным и никому не нужным. Он увидел лохмотья своей одежды, стало холодно, стыдно, мучительно захотелось есть.

В Москве ему делать было больше нечего. Домой? Конечно, домой. Ему представился дом, вернее — дверь дома. Мать выбежит навстречу, всплеснет руками и заплачет, увидев, как он худ и изможден. Услышав ее голос, выйдет отец — высокий, сгорбленный, постаревший. Он обнимет сына за плечи и сделает вид, что ничего не случилось, что вот, мол, съездил сынок в Москву, поучился и вернулся обратно под родительский кров. Это было самое обидное и непереносимое. Ведь когда прощались, оба знали: молодой Циолковский покажет себя в Москве. Он покажет, на что способен!

Циолковский огляделся. Он стоял на мосту. Деревянные грязные перила висели над водой. Вода была черная, холодная, жирная. На грязном берегу тощая собака жадно лакала воду красным языком. Рваные серые облака низко плыли над серой Москвой.

Циолковский смотрел на воду. С каждой минутой вода становилась все чернее и гуще. Циолковский вынул клочок бумаги и карандаш.

«Сударыня! — писал он, с трудом различая буквы в сгущающемся вечернем сумраке. — Через десять минут меня не будет в живых. Это страшная несправедливость. Если бы мне удалось осуществить хоть часть моих идей о завоевании воздуха, все люди стали бы богаче и счастливее. Моя смерть отодвинет человечество назад. Опять будут люди строить мягкие

аэроостаты неправильной формы, которые останутся только забавой и диковинкой. А я мог бы помочь людям действительно завоевать сначала воздух, а потом и безвоздушное пространство. Только для этого и стоило мне жить. Передайте это своему батюшке».

Смеркалось быстро. Уже в темноте Циолковский сложил бумагу в несколько раз и написал сверху: «Госпоже Цыкиной Наталье Аристарховне. Собственный дом господина Цыкина на Варварке».

Вдруг он ощутил злобу. Страшную, душащую злобу ко всем тем, которые все слышат, живут среди людей, ходят на лекции в университет, ведут споры... Он ненавидел сейчас всех: и тех, кого знал, и тех, кого не знал. Злоба была так велика, что подожди сейчас к нему человек — он бросился бы на этого человека!.. И ему стало бы от этого легче.

Кто-то дотронулся до его плеча. Циолковский резко обернулся. Он сбросил с плеча тяжелую руку.

За его спиной стояла высокая фигура. Это был Николай Федорович Федоров — библиотекарь.

— Уйдемте отсюда, — сказал подошедший негромко, но очень внятно, четко и властно. И Циолковский расслышал каждое слово. — Уйдемте отсюда, пожалуйста.

Почему он вдруг стал так хорошо слышать? Может быть, потому, что такой голос у этого человека и каждое его слово падает, как капля. Капля за каплей.

— Что вам надобно? — спросил Циолковский грубо. — Оставьте меня в покое.

— В покое? — переспросил Федоров. — Разве это покой, если человек один во мраке бродит у реки и стоит здесь так, как вы стояли? Что вас гнетет?

От того, что слышал он каждое слово, а слова эти были такими простыми и прикосновение руки — таким властным, Циолковский пошел за Федоровым. Может быть, более чем когда-либо ему сейчас требовалось участие, дружеская, братская помощь.

— Я понимаю только один покой, — говорил библиотекарь, уводя Циолковского от реки: — это покой, рожденный убеждением, что ты отдаешь людям все, что имеешь; что ничего не утаиваешь, всеми своими

силами и всей жизнью содействуешь всеобщему благу... Вот вы стояли у воды и думали о смерти. Ведь думали о смерти? Я не ошибся?.. Вы думали о смерти как о друге, а о людях вы думали как о врагах. Так будьте же моим другом, как я готов стать вашим другом. Расскажите, что вас сюда привело?

Это был первый человек, протянувший ему руку, и Циолковский принял ее. Как будто прорвалась плоть его многодневного одиночества. Спеша и волнуясь, он стал рассказывать о себе, о своих поисках и ошибках, о своем открытии и невозможности осуществить его.

Библиотекарь взял его под руку, и Циолковский не спрашивал, куда он его ведет.

Они пришли к большому каменному дому. По темной скользкой лестнице спустились в подвал. Комната была голая, холодная. Пятна сырости обозначились на каменных, ничем не украшенных стенах. Отвратительный запах плесени распространялся от них. Длинные черные крысы медленно разгуливали по полу даже тогда, когда загорелась свеча.

В комнате был некрашенный дощатый стол, нары, покрытые двумя мешками, и табурет. Больше ничего. Да еще высоко на стене, почти под самым потолком, была прибита дощечка, на которой лежал кусок хлеба и стояла давно не чищенная кружка.

Это было жилище узника или аскета. Маленькое окошко, выходившее на панель, было забрано толстой железной решеткой.

Библиотекарь взял хлеб и разрезал его на две части: одну — себе, другую — Циолковскому. Они ели черный хлеб и запивали его по очереди из одной кружки холодной невкусной водой. Оба ели жадно, потому что были голодны и, сразу поняв это, не стеснялись друг друга.

— Сорок пять рублей! — воскликнул библиотекарь, выслушав рассказ Циолковского. — Мой бедный мальчик! Конечно, я могу достать вам эти проклятые деньги. Хоть завтра же и достану. Только к чему это, мой бедный брат? Ни к чему. Ни одной великой истины нельзя постигнуть с помощью денег.

Деньги — это разврат! Все зло от денег, поверьте мне. От денег и от гордости! Только смирение — путь к истине. Только смирение и любовь! — Он говорил, все более и более увлекаясь своей речью. Его ясные детские глаза затуманились страстью, и сам он стал похож на библейского пророка, особенно когда громадная тень его длинной фигуры металась по голой стене.

Он был противником всякой собственности, ненавидел деньги, не имел ни шубы, ни матраца, ни одежды, хотя, работая библиотекарем, получал приличный оклад. Все деньги он раздавал другим. На его счет какие-то юноши учились в университете, матери давали дочерям приданое, уличные нищие справляли пасху и рождество. Лев Толстой приходил в этот подвал учиться смирению и аскетизму. Смирению и аскетизму хотел научить этот Диоген и Циолковского.

— Нет, — сказал Циолковский.

— Что нет?

— Не хочу. Смиряться не хочу. Ни перед природой, ни перед людьми. Почему же мне смиряться? И за что любить? За что мне полковника Федорова любить? За то, что он мне руки не подал? Я, может быть, и знаю больше его, и талантливее, и такое придумал и еще придумать могу, что его жалкий мозг даже не вместит всего этого. Так почему же я должен голову перед ним склонять? Или перед Цыкиным? Почему? Чтобы он мне рубль дал из жалости? Да будь он проклят, этот рубль, и их жалость! Я им всем еще покажу, на что способен глухой Константин Циолковский! Пусть они преклонят голову!... — Он сжал кулаки и потряс ими в воздухе. — И гордость свою смирять не буду! Если наше общество само не способно заботиться о своем благе, не может отличить цветка от дерьма, то и перед обществом этим смиряться не хочу! Не нужно мне такого общества! А ну его к чорту! И господа бога к чорту пошлю, если допустит он, чтобы Константин Циолковский умер, не дав людям того, что он может им дать! И бог мне такой не нужен...

Они проспорили всю ночь. Под утро они стали врагами.

— Не возьму я ваших денег, — сказал Циолковский, — мне противны ваши слюнявые деньги. И ваша благотворительность мне противна, и ваша жалость. Подкармливайте своих смиряющихся студентов и бесприданых девиц, — а я сам как-нибудь... И не подумайте, что я пойду сейчас топиться. Ничего подобного. Вот теперь-то уж ни за что не пойду. И жить буду. И аэростат построю. И на такую высоту заберусь, что вам и не разглядеть меня будет, господин брат!..

Он пришел домой уже утром. Все так же по комнате была разбросана жесь, которой никогда не суждено было стать моделью аэростата. Ну и черт с нею, ну, отложится завоевание воздуха на год или на два...

Решение было принято. Он вернется домой. Сдаст экзамен на народного учителя. Уедет в маленький городок и там, в тиши, будет скромно жить. Все свободные средства и все свободное время он отдаст расширению знаний и осуществлению своей идеи. Он не будет спешить. Он будет шаг за шагом идти по своему трудному пути. Он расширит рамки исследований. Он создаст подлинную теорию воздухоплавания. Он разгадает тысячи не разгаданных еще тайн... И тогда... И тогда, ни от кого не завися, ни в ком не нуждаясь, ни к кому не обращаясь за помощью, тогда...

И снова счастливый, веселый, полный силы, надежды и веры в будущее, он сел к столу и записал на листке бумаги:

«Мне нужна не дешевая слава изобретателя. Мне нужно полное владычество над природой. Нас окружает множество тайн, ждут тысячи открытий. Трудиться, трудиться, трудиться, не думая ни о каком ином вознаграждении, кроме блага для всего человечества... Да рассеется тьма и да будет свет! Пусть спадет с меня моя слепота! Вот единственная молитва, которую я буду повторять до последнего часа своей жизни!..»

ГЛАВА ВТОРАЯ

5

Рождество 1879 года Циолковский провел у отца в Рязани. После смерти матери отец сразу постарел, стал жаловаться на болезни и немощь.

Циолковский сдал экзамен на звание учителя народного училища, сшил вицмундир и стал ждать назначения. Ничего не изменилось. Вицмундир висел в шкафу, народный учитель весь день проводил в своей комнате около самодельных приборов, машин, книг. Лишь два раза в неделю он уходил в деревню, где учил грамоте двух недорослей — помещичьих сынков.

После рождества пришло назначение учителем арифметики и геометрии в уездное училище, в городок Боровск.

Прощание с отцом было грустное. Оба предчувствовали, что увидеться больше не придется.

Циолковский оделся потеплее — зима была суровая, а ехать от Москвы надо было на лошадях. Он заколотил в ящик книги, приборы, реторты, рукописи и отправился в путь.

Боровск был маленьким уездным городишком. Кругом холмы, овраги и церкви. Церкви повсюду — справа и слева, спереди и сзади. Они стоят на самых высоких холмах, громоздкие, построенные навеки, вознося свои золотые вершины в безоблачную синеву неба.

Мороз достигал 28 градусов. Лошаденка от изморози казалась сахарной.

Город можно было различить не сразу. Покрытые снегом дома похожи на сугробы. Широчайшие улицы, как поля. Только поднявшись на высокий холм и проехав мимо четырех или пяти церквей, Циолковский смог рассмотреть город — маленькие деревянные лачужки мещан и каменные, старинной постройки, тяжеловесные палаты купцов и дворян.

— Куда везти? — спросил возница. — В номера, што ль?

— В номера, — ответил Циолковский.

Никого в городе он не знал.

«Номера» оказались приземистым двухэтажным домом с въездом на широкий, замощенный булыжным двор. Циолковскому отвели комнату в два окна. Скрипели половицы под ногами. Пахло мышами. Из окна была видна площадь. Снег на ней лежал желтосерый от соломы, конского навоза, всякой нечисти. Посреди площади стояли каменные лабазы. Между ними шел окутанный морозным туманом торг. Длинные обозы тянулись по реке и крутым улицам. Городовой медленно прохаживался недалеко от полосатой будки.

К вечеру весь городок узнал, что в номерах кто-то остановился. Приезжих здесь почти не бывало, и каждый был в диловинку. Исправник прислал мальчишку узнать: кто такой и зачем пожаловал? Смотритель училища зашел сам: «Не едят ли клопы и как добрались?..» Барышни, несмотря на мороз, прогуливались под окнами в валенках и пуховых платках, с надеждой хоть одним глазком взглянуть на нового учителя.

С утра Циолковский пошел искать квартиру. У него было отличное настроение... Двадцать пять лет, спокойная и надежная специальность, ежемесячное жалованье, которое можно употребить на что он хочет. А он точно знал, на что употребить свое жалованье и свободное время. Почему же ему было не радоваться? Он выпишет из Москвы книги, накупит и наделает физических приборов и здесь — в тишине, в покое, не подгоняемый ничем и никем — проведет

широкие, до сих пор не проводившиеся исследования и опыты в области воздухоплавания. Он чувствовал, что эти пустынные улицы станут родиной будущих завоеваний, что Боровск будет первым воздушным портом на земном шаре, что в этом синем небе впервые проплывет воздушный корабль...

Свободных квартир в городе было много. Циолковский долго стучался в запертые ворота и слышал, как за заборами неистовствовали псы, гремя цепями. Ворота не открывались перед Циолковским. Приотворялись лишь узкие щелочки.

— Квартеру? А кто таков? Из каких будешь? Из нашенских? Нет?... Бритоусу, табашнику и щепотнику не сдаем...

Большая часть населения была раскольниками-староверами. «С бритоусом, с табашником, щепотником и со всяким скобленным рылом не молись, не водись, не дружись, не бранись», — гласила раскольничья заповедь.

Циолковский ходил из дома в дом, и хотя квартиры стояли пустые, нетопленные, необжитые, ему всюду отказывали.

Только через три дня ученик уездного училища, большеголовый белобрысый мальчуган, свел его на квартиру, «которую всякому сдадут».

На самой окраине города, на берегу узкой и извилистой реки Протвы, стоял маленький чистенький двухэтажный домик. Реку в это время года можно было отличить от полей и огородов только по ломаной линии раскидистых вязов, росших по ее берегам, и чуть заметно чернеющей снежной дороге, ведущей по льду.

Домик принадлежал Евграфу Егоровичу Соколову. Соколов имел священнический сан, но пастырем был не из лучших — никак не мог убедить своих прихожан в преимуществах никоновских новшеств перед старыми обычаями. Через четыре года службы постепенно все прихожане его прихода перешли в раскольничью веру, и остался у него паствы только три человека. Для трех прихожан службу справлять было как-то неловко, и перестал он справлять службу со-

всем, на церкви повесил замок, а сам нашел несколько частных уроков, получал за них жалкие гроши, да и те пропивал без остатку.

К тому времени, когда в Боровск приехал Циолковский, Евграф Егорович и рясы уже не носил, а ходил в рубаше, подпоясанный шнурком, и впадал в ересь все больше и больше, пользуясь тем, что церковное начальство будто забыло о нем — о себе не напоминало и от него ничего не требовало.

Дочери его было немногим больше двадцати четырех лет. Невысокая тоненькая девушка с гладко расчесанными и разделенными посередине пробором волосами, она оказалась очень скромной, тихой, приветливой хозяйкой.

С двенадцати лет Варенька осталась без матери. Священнику не разрешалось жениться вторично. Варенька стала хозяйкой в доме. Ей нравилось варить обед, убирать квартиру, стирать белье, ходить за курами. Она работала не по-детски много и старательно. Ей было приятно, что все, кто приходил в дом, хвалили ее: «Настоящая хозяйка. Не у всякой бабы в избе так чисто».

После смерти матери отец стал пить еще сильнее. Дома он бывал мало. Трезвый был угрюм, неразговорчив, неласков. Но выпив, размякал, становился болтливым, слезливым, липким. Чем больше был пьян, тем добрее и ласковее обращался с Варенькой.

Варенька стаскивала с него сапоги, разматывала портянки, укладывала отца на лежанку, поила горячим крепким чаем. Он сквозь слезы умиления и пьяную икоту бормотал:

— Варюшка ты моя, доченька моя сиротливая... — и пытался погладить ее по голове. Но длинные желтые пальцы были непослушны и лишь беспомощно помахивали над Варенькиной головой.

Со смертью матери закончилось Варенькино учение. Она успела выучиться чтению, письму, четырем действиям арифметики и священной истории.

Вечером, когда все было сварено, вычищено, выметено, прибрано, а отец еще не возвращался или же, возвратившись, пьяный храпел на лежанке, Ва-

ренька читала. Читать она любила. Читала все, что придется, но больше всего ей нравились стихи Лермонтова. Над ними она плакала. Ей казалось, что Лермонтов все свои стихи писал про нее — одинокую, несчастную, никем не понятую Вареньку. Иногда она пела тоненьким, слабым, но приятным голоском, а изредка, когда бывала одна, подыгрывала своим песням на гусях. Играть на гусях ее научила мать.

Циолковский снял квартиру «со столом из супа и каши». Квартира была большая: зал и две боковых комнаты. Варенька не могла понять: зачем одному молодому человеку так много места? Может быть, он балы будет устраивать? Только не похоже, слишком уж бедно одет да к тому же глухой и в очках.

Когда он распаковал ящики, вынул приборы, книги, самодельные машины — оказалось, что места не так уж и много.

Варенька помогала Циолковскому устраиваться в новом жилище. Он был весел, напевал, шутил с Варенькой запросто, а иногда и сердился, когда она что-нибудь ставила не туда.

— Если хотите, чтобы я вас услышал, — сказал он ей, — так не стесняйтесь, кричите во все горло.

Она ему понравилась. Варенька была хорошенькая, мило смущалась, мало говорила и охотно все делала: и ящики носила, и доски срывала с них, и вытаскивала гвозди клещами. Он смотрел на нее и думал: «Может быть, и Наташа такая же проворная и работящая! Может быть, и она так же улыбается и застенчиво опускает веки! Я так и не узнал этого и никогда уж теперь не узнаю». И ему становилось грустно. О Наташе он все время помнил, хотя и уговаривал себя, что давно забыл ее и что думать о ней больше никогда не будет.

Уже через две недели весь город знал, что новый учитель «немножко не в себе». Во-первых, он никому не нанес визитов. Когда коллеги намекнули насчет новоселья, он сказал прямо:

— В гости к себе не позову. Не ждите. Не имею такой привычки. И сам по гостям не хожу. Мне гости ни к чему — глухой!

Во-вторых, в прошлое воскресенье, когда трезвонили все колокола и по улицам шли в церкви чинные и нарядные обыватели, учитель, солидный человек, в очках, носился по льду на коньках. Мало того: он сделал из простыни парус и мчался под парусом, словно птица. Ай, какой срам! Его сопровождала орда мальчишек. Но одно дело, когда носятся по льду сорванцы-ребятишки, а совсем другое, когда учитель! А он бегал по льду и при этом пел и кричал громче сорванцов. Так он веселился!..

Потом пошла молва, что в квартире учителя ходит по комнатам шар. Как живой ходит. И хотя ни рук, ни ног не имеет, он сам себе двери из комнаты в комнату раскрывает и может сесть за стол и выйти в прихожую.

Говорили еще, что сверкают в его комнатах молнии и гремит гром.

Одни не верили этому: брехня, мол, мало ли чего не набрешут. Другие только молча крестились. Третьи страстно желали увидеть своими глазами: так это или не так?

Между тем Циолковский, не теряя ни одного дня, принялся за работу. Прежде всего он установил все свои физические приборы, построил новые. Он сделал электрическую машину, воздушный насос, соорудил верстак, купил рубанок, пилу, сверло, и как только приходил домой, из его комнаты доносился стук, визг, скрежет и свист.

Варенька с интересом разглядывала приборы, удивлялась, не понимала их действия. Циолковский возмущался тем, как ничтожны ее знания, и однажды предложил заниматься с ней арифметикой, физикой и химией. Вечером, с аппетитом съев кашу, он принимался за уроки с Варенькой. Учителем он был терпеливым, разъяснял просто, ученицу спрашивал мало, а больше говорил сам или заставлял ее решать задачи. Варенька училась старательно.

Потом Циолковский уходил к себе. Варенька напевала за стеной. Иногда он звал ее помочь. Она охотно шла на его зов, делала все, что он говорил, усердно и с интересом. А он тем временем рассказы-

вал ей, как жили люди много тысячелетий назад и как будут жить спустя многие тысячелетия.

Варенька мечтала о том, что Циолковский влюбится в нее. Она считала себя некрасивой, глупенькой, а то, что могла бы стать самой лучшей, самой любящей, верной и преданной женой, — кто это знал? Кому об этом скажешь?

Она мечтала о том, что Циолковский, полюбив, станет писать ей длинные трогательные письма, политые слезами. Он будет так сильно страдать от любви, что станет тощим и бледным, она сжалится над его нечеловеческими страданиями, отдаст ему руку и сердце, сделает его жизнь счастливой и радостной...

Квартира их будет как игрушка. Все будет белое, вышитое. И обои как вышитые, и всюду цветы, цветы, цветы. А в углу клетка с птичкой. Муж будет приходить домой и просить Вареньку: «Спой, моя радость...» И она споет. А может быть, они станут петь вместе? По воскресным дням будут приходить гости: учителя, их жены. На столе клокочет самовар. Пузатые чашечки. Варенье... Хозяйственно наколотый сахар... А когда ей придет время рожать, она возьмет мужа под руку, и они пойдут в церковь. Они станут перед амвоном на колени, держась за руки, как дети, и вместе будут молиться господу богу, чтобы ребеночек был здоровым, счастливым и богатым.

Первое время Варенька была совершенно уверена, что Циолковский непременно влюбится. Так уж полагалось по всем читанным ею романам, что если одинокий молодой человек въезжает в квартиру, где живет молодая девушка, то обязательно он должен влюбиться. Иначе и быть не может... Ей нравилась его наружность, скромность и то, что он не пьет, не курит, занимается наукой, и было жаль, что он глухой.

Варенька была терпелива и терпеливо ждала его любви. Она пыталась разгадать скрытый смысл его взглядов, слов, жестов, но он этого не замечал. Он обращался с нею как с младшим товарищем — добродушно, шутливо. Хвалил суп и кашу, которые она варила. Разъяснял премудрости арифметики и физики. Увлеченно рассказывал о том, как будет житься

на свете, когда люди построят множество управляемых металлических аэростатов. Если Варенька делала что-либо не так или невнимательно слушала его, он сердился и покрикивал.

Однажды он позвал к себе несколько учеников уездного училища. Всем им было по десять — двенадцать лет. Они провели в комнате Циолковского два часа, смотрели опыты, слушали его рассказы, и Циолковский весело хохотал вместе с ними, когда наполненный водородом бумажный мешок стал гулять по комнате, а электрическая машина подымала их волосы дыбом. Иногда он покрикивал на мальчишек, чтобы они ничего не сломали. Вареньке было это очень обидно: Циолковский и рассказывал им так же, как ей, и сердился на них так же, как на нее. Она возненавидела мальчишек со всей злобой еще не осознанной ею самой ревности.

Когда бывал ветер, для Циолковского наступал праздник. Ветер был его самым серьезным противником. Если аэростат сумеет преодолеть ветер любой силы, он станет полным победителем воздуха. Но ветер был хитер и загадочен. Ничего неизвестно: какой поступательной скоростью должен обладать воздушный корабль, чтобы лететь в бурю так же спокойно, как в безветренный день? Какая форма движущегося предмета меньше сопротивляется ветру? Какое значение имеют воздушные потоки и течения?.. Циолковский страстно любил ветер. Это был достойный его противник! В ветреную погоду Циолковский не мог усидеть дома. Он выбегал на улицу без пальто и бежал навстречу ветру, закрыв глаза от наслаждения. Он приручит этого дикого жеребчика! Он запряжет его в телегу, накинёт на него узду!.. Циолковский сделал сани с парусом. Сани мчались по льду с такой быстротой, что со всего города сбегались зеваки смотреть на невиданное зрелище. Лошади, заведённые мчащийся на них парус, пугались, храпели, бросались в сторону — в снежные сугробы.

Как-то пришел исправник.

— Вы господин Циолковский?

— Я.

— Жалоба на вас... — И запретил пользоваться парусом.

Весною Циолковский стал делать воздушных змеев. Вместе с мальчишками, сам как мальчишка, запускал змея и носился вдоль широкой улицы, утопая по колено в грязи. Ребятишки были в восторге, а обыватели, видя резвящегося учителя, неодобрительно качали головами: «Тронутый! Ясно — тронутый!»

Варенька однажды сказала ему:

— Вы бы постыдились, Константин Эдуардович, людей. Послушайте, что про вас говорят. Вы бы хоть с мальчишками не играли.

— Что? — закричал Циолковский. — Что?

Она повторила. Он ужасно рассердился. Она ничего не понимает! Он плюет на нее и на всех, кто его осуждает! Он не хочет и не будет считаться с невежеством. Это не игра и не забавы, а великое дело, за которое ему когда-нибудь поставят памятник!

Варенька не могла понять, почему за игры с мальчишками ему поставят памятник. Она обиделась, заплакала и ушла.

Поздно вечером, готовясь ко сну, Варенька заглядывала в щелку двери и видела, что Циолковский сидит за столом, освещенный двумя свечами. Он писал. Вареньке нравилось, что он не только работает, как плотник и слесарь, не только играет с мальчишками, но по ночам пишет. Что он пишет? Может быть, он стихи пишет? Может быть, он рыдает всю ночь до утра?..

Летом Циолковский сделал лодку и катался на ней по реке с Варенькой. Потом он сделал из простой бумаги громадный шар-монгольфьер. Под шаром была сеточка из тонкой проволоки. Циолковский клал на нее несколько горящих лучинок, и монгольфьер поднимался в воздух, насколько позволяла привязанная к нему нитка. Соседи приходили смотреть, ахали, удивлялись. Однажды, уже под вечер, нитка перегорела. Роняя искры, шар поплыл по вечернему небу. Слабый ветерок нес его к центру города. Циолковский и мальчишки бежали за шаром, пока река не преградила им путь. Они сели на берегу под рас-

кидистым деревом и долго смотрели на маленький удаляющийся огонек.

Утром город был взбудоражен. Смотритель училища рассказывал, что сам видел, как ночью по небу неся громадный шар, разбрасывая во все стороны искры и источая пламя. Не успел смотритель поднять крик и собрать людей, как шар со страшным грохотом и взрывом обрушился на его дом. Так рассказывал смотритель.

Городовой Анциферов тоже видел движущийся по небу огонек, но думал, что это падает звезда.

Купец Иван Михайлович Руков, владелец скобяной лавки, принял шар за птицу со светящимися глазами.

Перед закатом солнца Варенька увидела, что к их дому приближается человек двенадцать. Впереди решительным шагом шел исправник. Рядом с ним семенил маленький кривоногий сапожник Федор Зыков. В руках он держал полуобгоревший бумажный мешок, бывший злополучным монгольфьером.

Циолковский вышел навстречу.

— Ваш? — спросил исправник, протягивая мешок.

— Не извольте отпираться! — закричал сапожник.

— Признайтесь, Константин Эдуардович. Кто еще до такой штуки додумается? — уговаривал смотритель училища.

Сапожник горячился, размахивая руками, требовал, чтобы шар был «заарестован, а самого злодея непременно в кутузку».

Оказалось, что монгольфьер упал на крышу его дома, и хотя крыша и не загорелась, но вполне могла загореться.

— Да разве можно терпеть такое безобразие? — кричал сапожник. — Где же это видано, чтобы православному людям на голову шары падали?..

Циолковский уплатил три рубля штрафа, а сапожнику дал целковый за страх и беспокойство.

Осенью Циолковский любил ночами вылезать на крышу и долго лежать там в одиночестве, глядя на небо. Он ни с кем не делился своими размышлениями, только однажды сказал Вареньке;

— Вылезли бы вы со мной на крышу. Вот где благодать: небо, звезды... Господи боже мой, какая благодать!

Но Варенька на крышу, конечно, не полезла. Только этого еще не хватало, чтобы кто-нибудь увидел ее ночью вдвоем с жильцом на крыше дома...

Возвращаясь с крыши, Циолковский долго не ложился спать. В волнении ходил он по комнате, напевая и обдумывая то, что занимало его мысли больше всего на свете.

Был чудесный осенний вечер. Красные листья кленов усыпали землю. Солнце лежало на вершине леса. Золотились купола церквей. Колокола звонили к вечерне.

— Пройдемтесь, Варенька, — сказал Циолковский, — погуляем. Глядите, какое великолепие!

Она удивилась. Никогда он не звал ее с собою гулять. С чего это вдруг?

Она отказалась: посуда еще не помыта; отец придет — надо покормить. Циолковский настаивал. Взял даже за руку, осторожно, нежно.

Хорошо. Она пройдет! Она надела лучшее платье — белое с воланами. На голову накинула шаль, оставшуюся от матери. Погляделась в зеркало: она была вовсе не так уж дурна.

Робкая и смущенная, Варенька вышла из дому. Предчувствие чего-то значительного сжимало ей сердце. Циолковский шел рядом, но не прикасался к ней. Он поднял с земли прутик и размахивал им. Шли вдоль берега к бору. Варенька комкала в руках платочек. Иногда она ловила косые, быстрые взгляды Циолковского.

— Варенька, — сказал он просто, — я хочу жениться.

Опять обманутое ожидание больно кольнуло ее. Он говорит ей, что хочет жениться! Зачем он говорит это ей?

Она подняла на него влажные, серые, чуть-чуть укоризненные глаза:

— Женитесь, Константин Эдуардович, конечно, женитесь.

— Вы вот что скажите: может молодая женщина отказаться от развлечений, нарядов, сладостей, от всего-всего и жить только ради мужа? Нет, вернее, не ради мужа, а ради его работы, ради его идеи?

Варенька ответила не сразу. Она хотела быть правдивой. Но откуда она могла знать? Она ведь так мало видела жизнь!.. И она так и ответила, что не знает, мало видела жизнь, но все-таки думает, что женщина может от всего отказаться; ведь вот, к примеру, она: и не ради мужа, а так уж получилось, не имеет же она ни нарядов, ни развлечений, ни сладостей, и не жалуется, хорошо ей...

— Нет, это совсем не то, — перебил Циолковский. — Это не то, Варенька, милая. Представьте себе, что мужчина поставил перед собой грандиозную задачу, которая, может быть, потребует всей его жизни. И не только его жизни, но жизни его жены, детей. Так вот, может ли женщина пожертвовать собою и детьми не ради мужчины, а ради той задачи, которую разрешает мужчина? Может или нет?

— Почему же не может? — сказала Варенька. — Если мужчина может, то и женщина может.

— Но мужчина сам эту идею придумал. Ему есть из-за чего жертвовать. А женщина, может, и идею-то не понимает, и не поймет никогда... А вот вы, Варенька, — вдруг остановился он, — вот вы могли бы или нет?..

— Зачем вы спрашиваете меня об этом, Константин Эдуардович? При чем здесь я?

— Нет, скажите, Варенька, ради бога скажите. Мне это очень надо знать.

Он сразу загорелся, сбил на затылок шляпу, сломал пруттик, который был в его руках, и стал совсем плохо слышать.

— Что? Что? Что? — кричал он. — Да скажите же громче, чорт побери!

— Да, — сказала она чуть слышно, но твердо и уверенно.

Он опять не расслышал:

— Что? Что?

Она не повторила больше, но, взглянув на нее, он понял и взял ее за руки.

— Я так и знал, Варенька, — сказал он, сразу успокоившись. — Милая вы девушка, будьте моей женой.

Она выхватила руки и закрыла лицо.

— Вы с ума сошли! — сказала она почти шопотом.

— Будьте моей женой, Варенька. Мы будем счастливы, поверьте. Мы будем жить очень скромно, вместе трудиться, мы принесем людям неисчислимые блага, Варенька. Я завоюю воздух и космос. По небу будут мчаться воздушные поезда. Это очень трудно, Варенька, это, может быть, потребует всей моей жизни и вашей тоже. Помогите мне, Варенька... Мы расширим границы познания природы. Мне трудно одному, мне нужен такой вот помощник, такая вот терпеливая, самоотверженная подруга...

— Вы не любите меня, — сказала она, не открывая лица. — Зачем же без любви?..

— Ну и глупая! — он весело расхохотался. — Откуда вы знаете, что без любви? Оттого, что я не целовал вам ручку, не становился на колени? Да и знаете ли вы, что такое любовь с научной точки зрения? Хотите, разъясню. Все наши кровеносные сосуды снабжены особыми мускулами. Под влиянием вазомоторных центров... Но почему вы плачете, я не понимаю?

А она плакала, потому что он не сказал, что любит, и она знала, что он не любит ее.

Она сказала, что подумает о его предложении и даст ответ послезавтра.

Всю обратную дорогу она молчала. Циолковский говорил один. Он рассказывал, что только теперь понял прошлые свои ошибки и окончательную цель своей жизни. Он не будет больше гнаться за эффектными изобретениями. Все то, что изобретал и делал он раньше, было ненаучно, потому что не опиралось на всесторонние глубокие исследования. Истинно великое изобретение или открытие требует многих лет упорного труда, такой тщательной теоретической и практической разработки, чтобы стало оно неопровержимым, как закон Архимеда. Он говорил, что нет

у человека иной, более благородной цели, чем расширять границы познания, улучшая тем самым условия жизни. Кто создает новое, тот уподобляется богу, — говорил он, — и недаром слово «бог» и слово «творец» имеют одно и то же значение. Каждый человек может быть богом.

Она все время молчала, только у порога дома еще раз попросила:

— Не спрашивайте меня до послезавтра ни о чем, Константин Эдуардович. Я вас очень прошу.

Он ее ни о чем и не спрашивал, но замечал, что она грустная, заплаканная, милая. Он не понимал, почему она не радуется, отчего плачет. Ему и в голову не приходило, что так легко было бы сделать ее вполне счастливой. Встать на колени, прижать к своему сердцу ее руку, сказать, что он страстно любит ее, что не может без нее жить.

Он был уверен в ее согласии, потому что она милая, кроткая, добрая. Нет, он никогда не найдет себе лучшей жены и помощницы, чем Варенька, — она все стерпит, все снесет. Теперь, окруженный женской заботой, он сможет начать работать по-настоящему.

В день, назначенный Варенькой для ответа, Циолковский сразу после училища пошел к купцу Воропьянникову. Купец Воропьянников имел токарный станок. Откуда у него был токарный станок, он и сам не знал, нужды в станке не имел. Хотел станок продать. Циолковский мечтал о токарном станке. Станок этот хотя и был неисправен, но казался Циолковскому заманчивым. Можно было бы его починить, и тогда изготовление деталей для будущей модели аэростата стало бы легче и сами детали — лучше.

Циолковский долго осматривал станок, разобрал его, снова собрал. В сарае, где стоял станок, было темно и холодно. Пахло керосином. Приказчик, проводивший сюда Циолковского, ушел. Циолковский остался один, и ему было приятно одному возиться около станка, гладить его холодное тело, вдыхать запах керосина и машинного масла.

Варенька весь день ходила из комнаты в комнату, заглядывала в окно: не возвращается ли Циол-

ковский?.. «Неужели, — думала она, — он забыл про меня? Или просто не спешит?» Думать так было горько. Но она уже понимала, что такой он человек и другим никогда не будет.

Услышав его шаги, она ушла в свою комнату и стояла там за дверью, прислушиваясь. Он не пошел ее искать. Он снял пальто и крикнул:

— Варенька! Обедать можно?

Тогда она вышла из своей комнаты. Он был еще вымазан керосином и машинным маслом.

Она подошла к нему маленькими, но решительными шагами и остановилась на таком близком от него расстоянии, как никогда прежде. По этой близости и доверчивости он сразу понял, что она пришла сказать «да», и, забыв, что руки его выпачканы, обнял ее, измазав ей платье.

Генчаться решили через три дня, никого не приглашая, чтобы не тратиться на угощение. Варенька эти три дня была тихая и ласковая, ходила за женихом по пятам и глядела на него не отрываясь, будто стараясь лучше разглядеть и понять этого странного, вчера еще совсем чужого человека, с которым решила она провести всю жизнь.

Чтобы не пропускать занятий в училище, венчание назначили на шесть часов утра. Все церкви в Боровске были раскольничьи. Пришлось идти пешком за четыре километра, в большое село. Дорога вела полями и лесом. Было торжественно тихо. Циолковский и Варенька шли одни. Вареньке хотелось разговаривать о том, как они будут жить вместе. Но Циолковский рассказывал ей о том, как будут люди жить в далеком будущем, может быть, через тысячу или две тысячи лет.

И Вареньке опять захотелось плакать.

Венчание прошло быстро. Еще стоя под венцом, Циолковский шепнул невесте:

— Как только кончится, давай сбежим от всех, одни, незаметно.

Так они и сделали. Кончилось венчание, хватились жениха и невесты, а их и след простыл.

Опять возвращались молодожены вдвоем. Чудесно пели птицы. Теперь Циолковский ничего не рассказывал Вареньке, и всю дорогу они целовались. Целовался Циолковский первый раз в жизни.

Циолковский довел молодую жену до ворот дома, но сам домой не зашел, а направился в училище. После уроков он купил на рынке два фунта земляники и жестянку «королевского чернослива». Подходя к дому, он увидел через окно, что за столом сидят Евграф Егорович, венчавший попик, несколько человек гостей. Евграф Егорович и попик были уже изрядно пьяны.

Циолковский положил подарки на подоконник, а сам, повернув обратно, пошел к купцу Воропьянникову. Два часа он торговался с купцом, трижды осматривал станок, наконец сторговался и пошел искать лошадь, чтобы перевезти покупку домой. Грузить станок на телегу пришлось ему самому вместе с мужишкой-возчиком.

Дома еще были гости. Циолковский вошел в столовую — грязный, замасленный, потный, остановился в дверях и сказал:

— Милые гости, прошу не обижаться — сейчас буду станок проносить через столовую, всех измажу. Может, лучше разойтись по домам, тем более, что время уже позднее?

Гости обиделись и ушли. По дороге жалели Вареньку: как с таким безбожником и извергом будет жить? Чтобы с собственной свадьбы удрать, с тестем не выпить, да еще и гостей в шею выгнать?!

6

В комнатах Циолковского сверкали молнии, гремел гром, сами по себе звонили колокольчики, плясали бумажные куколки, загорались электрические огни, вертелись огненные колеса, появлялись светящиеся вензеля. Различных размеров модели металлического аэростата были расставлены повсюду и висели подвешенные к потолку. Часто, по вечерам или рано утром, из комнат разносились звуки работаю-

щего токарного станка, пение рубанка, скрежет пилы, стук молотка.

Однажды Циолковский выпустил в окно ястреба, и ястреб полетел вдоль улицы, потом вернулся обратно в окно, вызвав этим немало разговоров соседей. В тот же день вечером вышел Циолковский на улицу в неподпоясанной блузе, без шляпы. Он держал в руках ястреба, потом запустил его и побежал вдоль улицы. Ястреб летел над его головой, размахивая крыльями. Остановилась проходившая мимо баба. Глядела на ястреба:

— Ишь, что учитель выдумал! Ястреба приучил. Небось, мясом кормишь?

— Он не живой, тетка. Он бумажный. Это же такой воздушный змей.

— С нами крестная сила... Чего ж он летает и крыльями машет?

Собрались обыватели, мальчишки, девчонки. Удивлялись, ахали. Ястреб летал, как живой.

Когда стемнело, Циолковский прикрепил к ястребу фонарь и запустил птицу с крыши дома. Есё город видел высоко в небе огонек. Станный был огонек. Звезда? Метеор? Может, опять учительский воздушный шар?

Ястреб имел громадный успех. На следующий день, когда Циолковский вышел на улицу с ястребом в руках, со всех окрестных улиц стали сбегаться люди смотреть на чудесную птицу. Людей бежало так много, что даже власти обеспокоились. Пришел исправник.

— Опять, господин учитель, народ баламутите?

Но когда ястреб взвился в воздух и стал кружиться над крышами и какие-то живые птицы подлетели к нему, исправник, забыв про службу, воскликнул с удовольствием:

— Ах, чорт! Ну кто бы поверил, что не живой!..

Бумажный ястреб объяснил Циолковскому многое. Он подсказал соотношение между величиной птицы и размерами ее крыльев. Он помог представить скольжение тела в воздухе, которое, повидимому, является основой парения птиц.

Что бы ни делал Циолковский, что бы ни обдумывал, что бы ни видел, что бы ни читал, все это было так или иначе связано с цельнометаллическим аэростатом и с теорией воздухоплавания. Как это ни было странно, но аэростат оказывался в центре всего сущего. Непонятно — почему этого не замечали другие. Об аэростате говорило всё, всё подсказывало какие-то новые детали, новые элементы его, новые принципы движения в воздухе. Об аэростате выл ветер, говорили течение реки, запах хлеба, Еаренькины глаза, лепет детей.

Старшую дочку Циолковские назвали Любашей. Родился сын. Окрещен был Игнатием. Потом родилась Мария. Потом Сашенька. Игнатий был высокий, отчаянный шалун. На нем была светлая шапка курчавых золотистых волос. Сашенька с самого рождения был слабенький, бледный. Шалить не любил. Любил забиться где-нибудь неприметно в уголок в комнате отца и исподтишка глядеть: что отец делает, как он пишет, работает, ходит по комнате.

Теперь, когда появилась большая семья, нужда обступила Циолковского со всех сторон. Почти все свое жалованье он тратил на выпуск книг и журналов, на покупку инструментов и материалов для изготовления новых моделей аэростата. Еареньке выдавал на расходы самые крохи и говорил:

— Потерпи, милая. Знаю, что тяжело. А мне не тяжело? Дай срок, вот построю аэростат, тогда сразу жить нам станет легче. Обратят на меня внимание, дадут деньги на новые опыты, а все жалованье я буду отдавать тебе. Гот-то будет жизнь!

А пока высчитана каждая копейка: на хлеб столько-то, на молоко столько-то, на чай столько-то...

Когда умер Евграф Егорович и Еаренька захотела устроить поминки, Циолковский обиделся:

— Вот уж чего никак понять не могу. Когда у меня нет денег, чтобы купить материал для новой модели, когда я не могу выписать технический справочник — угощать чужих людей?.. Как хочешь, милая, обижайся, не обижайся, а только я ни копейки не дам. Поверь, что отцу эти гости так же нужны,

как мне учитель музыки. А я гостей терпеть не могу, ты мне про них лучше никогда не заикайся...

Когда Циолковского не было дома, Варенька иногда еще пела. Дети любили, когда она поет. Она пела таким тихим и тоненьким голоском. Но все реже и реже они слышали ее песни. А гуслей ее никогда не слышали.

Однажды поздней ночью, когда Варенька уже спала, тихо вошел в спальню Циолковский, присел на край кровати. Варенька проснулась. Удивилась, что он сидит одетый, не ложится. Сразу заметила, что лицо его какое-то странное, не такое, как всегда.

Он сидел сначала молча, потом положил руку на ее волосы и глубоко вздохнул.

— Тяжело мне, Варенька, — сказал он тихо, — очень тяжело. Полжизни прожито, а что сделано? Ничего. Ничего не сделано, милая ты моя Варенька, ничего, а ведь Циолковский мог бы уже за это время чорт знает сколько дать людям... Но эта проклятая дыра. Это идиотское безденежье. Это отсутствие свободного времени... Кончено. — Он помолчал, а потом повторил опять: — Кончено. Все теперь будет по-другому. Я уже давно решил. С завтрашнего дня все будет по-другому. Мы сократим расходы на жизнь, хорошо? Я куплю материалы для большой модели. Буду вставать в пять утра. До училища у меня будет часа четыре. Да после обеда — часов пять. Значит, девять часов в день я буду заниматься аэростатом. Я должен, Варенька, закончить это дело, изложить теорию воздухоплавания, построить модель. Я должен, наконец, решить те проклятые вопросы, которые не решены до сих пор...

Начиная со следующего утра Циолковский стал жить по строгому расписанию. Он учитывал каждую минуту суток. Еставал на заре и работал до начала занятий в училище. После обеда снова затворялся в своей комнате и не выходил оттуда до десяти часов. Точно в десять он ложился спать и требовал, чтобы Варенька в это время ложилась тоже, чтобы в доме гасили все огни. Ночевал в своей комнате на вер-

стаке, подстелив под себя матрац. В воскресные дни, праздники и вакации, когда не надо было посещать училище, он совсем не выходил из комнаты, только разве взберется на крышу, чтобы подвесить какой-нибудь новый шар или измеритель скорости ветра. Он даже брюк не натягивал. Наденет прямо на нижнее белье старое пальто и сидит так весь день.

Он пришел к следующим выводам:

«1. Корпус воздушного корабля должен иметь достаточный запас прочности, приближаясь в этом отношении к корпусам водных судов.

2. Он должен при этом иметь минимальный вес конструкции, не в ущерб, однако, ее прочности и другим положительным качествам.

3. На единицу своего объема аэростат должен поднимать наибольшее количество полезного груза, к которому относится вес плотного груза, пассажиров, команды, горючего, запасов продовольствия.

4. В целях достижения несгораемости корпуса аэростата материалом для его постройки необходимо выбрать металл.

5. Технологический процесс серийного производства аэростата, равно как и его эксплуатация должны быть простыми и максимально дешевыми».

Стремление удовлетворить все эти требования постепенно подсказывало одно решение за другим.

Наиболее громоздкую и уязвимую часть всякого аэростата составляет баллон, заключающий в себе водород. Водород легко воспламеним. Делать баллоны надо не матерчатыми, как делалось до сих пор во всех существовавших аэростатах, а только металлическими. Металлическая оболочка аэростата должна быть изменяемого объема, чтобы можно было свободно подогревать газ, так как подогрев газа увеличивает подъемную силу аэростата. Подогрев газа Циолковский предполагал осуществить за счет использования продуктов сгорания, отводящихся в выхлопные трубы мотора.

Изменяемость объема металлического баллона имела решающее значение и для безопасности полетов. При нагревании аэростата лучами солнца или при подъеме аэростата в более высокие, разреженные слои атмосферы газ в баллоне расширяется. Когда же аэростат опускается ниже, в более плотные слои атмосферы, или же подвергается охлаждению, то объем газа в баллоне сокращается. В аэростатах с матерчатыми баллонами это приводит к нарушению всей системы креплений. Изменяемый объем металлического баллона сохранит прочность, надежность, легкую управляемость аэростата в любых условиях полета.

Труднее всего оказалось придумать, каким образом сделать металлическую оболочку способной изменять свой объем под влиянием внутреннего давления газа. Сотни проектов возникали в воображении Циолковского, но все они, после размышлений, расчетов или опытных проверок, оказывались или неосуществимыми или непригодными.

Месяц проходил за месяцем, лето сменилось зимой, и наступило новое лето. Он ничего не мог придумать. Иногда казалось, что решить эту задачу никогда не удастся. Тогда все становилось противным. Не хотелось смотреть на небо, на людей, на проклятую жесть отвратительных моделей, на толстую стопку листов бумаги, покрытых напрасными расчетами. Он кричал в такие дни на Вареньку, на детей. Он бросал аэростат и садился за другое: он решил изложить в форме статей свои прежние работы и те новые выводы, к которым пришел. Так были написаны статьи «Теория газов», «Механика животного организма», «Свободное пространство». Эти статьи писались на зло аэростату, на зло неразрешимым задачам, поставленным Циолковским перед собой. Он писал эти статьи и думал: «Так ему! Так ему, проклятому! Вот брошу его совсем, буду писать о другом, буду заниматься астрономией и физикой, философией и математикой, а не этими листами жести или железа, которые должны, неизвестно каким образом, становиться то больше, то меньше...»

Но эта злоба рождалась любовью. Он мог проклинать аэростат, временами ненавидеть его и все же неизменно возвращался к нему. Он не мог жить, пока не решит: как сделать, чтобы оболочка аэростата изменяла свой объем.

Однажды Варенька была во дворе. Она развешивала выстиранное белье. Был летний солнечный и теплый день. С реки доносились голоса купающихся ребят и плеск воды. С гоготом шла к реке стайка гусей. Птичий гомон и жужжание мух наполняли воздух. Кругом зеленели поля... И оттого, что было так тепло; и оттого, что дети так весело смеялись, шая и веселясь на берегу; и оттого, что белье уже было выстирано и завтра она всех четверых вымоет в бане и наденет на них чистые рубашонки; и оттого, что она представляла себе их розовые чистенькие плечики в белых рубашонках и их мягкие губы и смеющиеся глаза, — Вареньке было хорошо и весело. Она пела, как пела прежде, тихую, немного печальную песенку. Ее тоненький звонкий голос был ей самой приятен, потому что так редко слышала она его в последнее время и так редко появлялось у нее желание петь.

Вдруг из дома вышел Циолковский. Он был в одном нижнем белье, с всклокоченной бородкой, с затуманенными, ничего не видящими глазами, и на лице его была печать такого глубокого и безысходного отчаяния, что песня застряла в горле Вареньки. Она испугалась, как пойманная за каким-то преступным и нечестным делом, и ей стало ужасно стыдно, что она поет и ей хорошо, когда ему так плохо, когда у него что-то не ладится и он такой несчастный, и она не может ему помочь.

Он поглядел на нее зло и осуждающе. Зло и осуждающе поглядел кругом — на небо, на ветви деревьев, на весь мир.

Он сел на камень и сказал так мрачно, что сразу померкло солнце и потускнело небо, и поблекли краски природы:

— Идем.

Она пошла за ним, не зная куда и зачем он ее зовет. Он прошел в свою комнату.

— Садись.

Она села испуганная, сложив на коленях руки.

Он показал ей тетрадь, сшитую из исписанных листков.

— Слушай! — сказал он глухим и тяжелым, как камень, голосом. И стал читать. Он читал «Теорию газов», потом «Механику животного организма». Читал долго, медленно, тихо. Она ничего не могла понять. Ей было скучно. Ее тянуло во двор, куда уже, наверно, вернулись с реки дети. Они ищут мать и не могут ее найти; они хотят есть. Почему он мучает ее? Зачем он читает это ей, ведь знает, что она ничего не поймет? Что еще хочет он от нее?.. Но он был так несчастен и лицо было такое усталое, что она устыдилась своих мыслей. Кому еще он может читать свои статьи? С кем еще ему делиться своими идеями? У кого еще искать ему помощи!.. «Глупый! — думала она. — Он бы не читал, а подошел приласкаться. Как бы обняла я его, всклопоченного, несчастного; как бы согрела я его, большого и беспомощного! Но он не умеет приласкаться, он не признается в своей беспомощности, он сейчас спросит меня: гениально ли то, что он написал? Откуда мне знать? Что я могу сделать для него?..»

— Ну, как? — спросил он, подняв на нее глаза. — Ведь это чорт знет как здорово, а?.. Я перечитал и сам даже не верю. Ты только представь себе: я открыл, что лучеиспускание солнца и звезд объясняется механической работой тяготения, которая превращается в тепло. Ты понимаешь? Я пошлю эти статьи в Петербург! Пусть узнает о моих открытиях ученый мир! К чорту проклятый аэростат! Больше не буду возиться с жестью и проволокой, выброшу все модели. Я уже немало сделал для человечества этими своими открытиями. Здесь их несколько. Вот в этой статье я доказываю, что человеческий организм может свободно существовать в любых условиях тяготения. Я нашел, что любую вещь, даже любой живой организм, можно сохранить невредимым, если увеличить

или уменьшить его тяжесть в тысячу раз. А вот эта работа дает теорию газов. Никто до меня не занимался этим. Когда получают в Петербурге, с ума сойдут от удивления! Ты увидишь, Варенька, через два-три месяца меня будет знать весь мир! Мы переедем в Петербург, ко мне будут приходить академики! Я построю громадную лабораторию на Васильевском острове, там будут всякие приборы и машины, а я... я все-таки придумаю конструкцию оболочки своего аэростата. Я заставлю ее изменять свой объем, чорт побери, или не для чего мне коптить небо...

Статьи были посланы в Петербург, в Физико-химическое общество.

Через некоторое время из Петербурга пришло письмо. Письмо было подписано группой членов Физико-химического общества, известными русскими учеными профессорами Сеченовым, Менделеевым, Боргманом.

«Многоуважаемый господин Циолковский! — говорилось в письме. — Присланные Вами работы были рассмотрены на заседании Физико-химического общества. Должны Вас огорчить: живя вдали от научных центров и, видимо, не имея возможности знакомиться с новейшей теоретической литературой, Вы открывали уже открытые истины. Так, Ваши выводы относительно продолжительности лучеиспускания солнца и звезд изложены задолго до Вас. Ваше исследование по теории газов также не является оригинальным, так как теория газов глубоко разработана и известна ученым под названием кинетической теории газов. То же, к сожалению, можно сказать и о «Механике животного организма». Однако, отмечая Ваше усердие и добросовестность в разработке теоретических вопросов, Физико-химическое общество единодушно решило избрать Вас, господин Циолковский, своим членом. Примите по сему наши поздравления и пожелания Вам дальнейшей плодотворной работы на пользу науке».

Письмо упало на пол. Циолковский не заметил этого. Проклятая дыра! Проклятая жизнь!.. Потом он вышел во двор. На синее небо внезапно набежали

тучи. Начал накрапывать дождь. Варенька собирала с веревок белье. Дети ей помогали. Циолковский ничего никому не сказал, прошел к берегу реки и сел под широким вязом. Дождь становился все сильнее. Циолковский сидел долго. На душе было серо, скверно...

Налетел порыв ветра. Он был неожиданным. Он бросился на воду и на землю, согнул деревья, изменил цвет реки. Река стала темной, стальной, как бы сделанной из волнистого металла. Она покрылась ровными параллельными рядами невысоких волн, протянувшихся от берега к берегу. Поверхность воды стала как бы гофрированной. Струи косого дождя хлестнули Циолковского по лицу, и это прикосновение влаги вдруг смыло с его лица отчаяние, безнадежность, мрак. Циолковский встал, откинул со лба волосы. Как чудесна жизнь! Как чудесен ветер, дождь! Как сказочна вода! Почему не пришло ему в голову раньше, что металл для оболочки аэростата должен быть волнистым, гофрированным, как эта река?

...Оболочка аэростата будет сделана из двух продольных оснований и двух боковин. Металл оснований должен быть более толстым. Металл боковин — тоньше. Гофрировка боковин будет перпендикулярной к продольной оси аэростата. Гофрировка оснований — параллельна продольной оси. Основания и боковины будут соединяться шарнирами, похожими на дверные петли... Это то, что надо; то, что искал он все время. Такая оболочка может свободно изменять свой объем, и газ, наполняющий ее, станет покорен человеческой воле.

Циолковский бросился к дому. Идея была найдена. Надо было воплотить ее. Это требовало только опытов, опытов и опытов. Это требовало жести, жести и жести...

Началось новое страстное увлечение аэростатом. Опять стремительно несло время. Сменялись дни, недели, месяцы, времена года. Опять все кругом было как в тумане, и только одна вещь была отчетливой и реальной — аэростат; металлический, волнистый аэростат, который может дышать как живой: расширяться и сжиматься, подниматься и опускаться.

Одна за другой вставали новые задачи. Как сделать, чтобы в местах соединения оснований и боковин не происходило утечки газа? Как придать железным листам нужную волнистость? Как найти наилучший размер аэростата, наиболее правильное соотношение его продольной и поперечной осей?

Опыты требовали больших расходов. Нужно было много железа, инструментов, приспособлений. Все это стоило денег, но денег не было.

Варенька по ночам плакала, потому что она была совсем одинока и ей некому было рассказать, что у Сашеньки повышена температура, у Любочки порвались башмачки, у Игнашки нет пальто; что концы с концами свести невозможно, мясник уже больше не хочет давать в долг, а соседи жалеют ее, говорят, что она живет с сумасшедшим, что Циолковский не думает ни о ней, ни о детях.

Если она обращалась иногда к Циолковскому, он смотрел на нее так, будто ничего не понимал; было совершенно ясно, что он не слышал ее слов и не хотел их слышать.

В 1885 году Циолковский закончил рукопись «Теория и опыт аэростата, имеющего горизонтально направленную удлинненную форму». В ней было сто двадцать писчих листов, восемьсот формул и сто пятьдесят чертежей и рисунков. Комната Циолковского была заставлена и завешана различными моделями оболочки аэростата, отдельных деталей оболочки, шарниров, соединений, оснований и боковин... Не было только одной модели — такой, которую можно было бы наполнить газом, чтобы она поднялась в воздух, подтверждая то, что было неопровержимо доказано на ста двадцати листах рукописи.

Циолковский очнулся, как после долгой и тяжелой болезни. Оглянулся назад: что это было? Сон? Безумие? Беспамятство? Как незаметно пролетели два года: две зимы, два лета, две весны и две осени!.. Все позади было удивительным, ни на что не похожим. Эти семьсот тридцать дней представлялись ему какой-то клубящейся, расплавленной золотой массой. Блеск! Всплески! Искры! Не оторваться, не

взглянуть в стороны. Так бывает во время купания, когда захлестнет крутая и сильная волна. Брызги, кипение, пена, борьба, ликование... и вынырнув на поверхность, снова увидев небо и берег, как бы возвращаешься в мир из какого-то другого бытия. Так было и с ним.

Циолковский вспомнил, что все два года почти ни с кем не говорил, если не считать уроков в училище. Значит, может человек жить без речи; без речи и без слуха! Значит, не всегда страшно одиночество.

Циолковский опять стал молод и весел. Он построил лодку с колесом и катался по реке вместе с Варенькой и детьми. И при этом пел во все горло. И дети пели. И Варенька пела тихо-тихо, чуть слышно. Он возился с детьми, качал их на коленях, показывал в микроскоп муху. Спринцуя уши водой, чтобы лучше слышать, рисовал на полу струей воды из спринцовки устройство солнечной системы: Солнце, планеты, Землю, Луну...

Обнимая Вареньку, он говорил ей, что в сущности жизнь великолепна. Несколько лет назад, — рассказывал он, — им написан трактат о горе и радости. В этом трактате утверждается, что закон равновесия применим и к человеческим судьбам. Каждое горе уравнивается радостью, и количество горя и радости к концу жизни человека всегда бывает одинаковым. Чем больше горя, тем больше и радости... И еще говорил Циолковский, что теперь-то уж наверняка кончатся их горести и начнутся радости: его новый труд об аэростатах не может быть незамеченным. Он пошлет свой труд в Петербург, Менделееву. С проектом аэростата познакомят самого императора, и император не пожалеет 80—100 тысяч рублей на постройку первого в мире управляемого металлического воздушного корабля.

Циолковский страдал от того, что ему не с кем, кроме Вареньки, поделиться своей радостью, что некому дать прочесть рукопись. Он даже стал льстить и подмазываться к своему коллеге — учителю физики. И хотя этот учитель был невежественным человеком, физику не любил, а любил только карты и вод-

ку, но Циолковский позвал его в гости и был с ним отменно вежлив и ласков. Он надеялся, что тот попросит у него рукопись. Но учитель не попросил рукописи. Он попросил карты и предложил сыграть. Карт в доме не оказалось.

И вдруг в дом Циолковского является приезжий гость. Да какой гость! Ученый. Изобретатель.

Это был высокий, отлично одетый молодой человек с седыми висками, по фамилии Голубицкий. Он знал физику, электричество, имел свои изобретения, печатал статьи на научно-технические темы в журналах и газетах.

Его привели к Циолковскому мальчишки. Он ходил по городу и спрашивал: где тут живет тот чудак-учитель, который собирается лететь на луну?

— Я живу, — сказал Голубицкий, — невдалеке от вас, господин Циолковский, в своем имении. Сейчас у меня в гостях Софья Васильевна Ковалевская. Наверно, слышали — профессор математики! Так вот она прислала меня за вами. Хочет познакомиться. О вас так много здесь рассказывают... Говорят, вы воздушный корабль строите, говорят — в совершенстве знаете математику, физику, астрономию...

— Что вы! Что вы! — махал руками застеснявшийся Циолковский. — Кто все это говорит? Просто себе — самоучка, кустарь...

Уже через несколько минут хозяин и гость беседовали с таким жаром и с таким взаимным интересом, будто они были старыми друзьями и встретились после долгой разлуки.

Голубицкий осмотрел все приборы Циолковского, читал его рукописи, рассматривал модели, расспрашивал обо всем. Циолковский был чрезвычайно доволен, весел, оживлен. Он ходил по комнате, потирая от удовольствия руки, говорил, говорил и говорил, будто желая наговориться за все время долгого молчания. Он не знал, как угодить гостю; все время потчевал его чаем, Вареньке велел что-нибудь найти для гостя вкусенького, ну там, варенья, может быть, или пусть Игнашка сбегает в лавочку за пряниками...

Голубицкий остановился в номерах. Поздно вечером он собрался в номера ночевать. Циолковский ужасно рассердился. Он сказал, что никогда не простит Голубицкому, если тот уйдет в номера, что они рассорятся, что Циолковский больше знать не захочет Голубицкого, что это бесчеловечно и зло...

Голубицкий возражал:

— Я не намерен расставаться надолго. Завтра же я вас увожу к себе в имение. Софья Васильевна будет в восторге от ваших знаний, от вашей научной смелости. Она чудесная дама. У нее громадные связи. Ваша теория аэростата попадет в верные руки.

— Нет уж, от этого вы меня увольте, — молил Циолковский, — увольте, голубчик. Как же это я вдруг ни с того ни с сего поеду с визитом? Почти десять лет с места не трогался, а тут — садись и поезжай. Да еще к даме! У меня и надеть-то ничего такого нет, я и говорить с нею не сумею. Нет уж, нет уж, пожалуйста увольте. Никуда я не поеду, решительно никуда...

Голубицкий остался ночевать. Варенька постелила ему на диване. Циолковский пожелал Голубицкому спокойной ночи, но они не прерывали разговора о воздухоплавании, о будущем воздушном корабле. Голубицкий снял ботинки и сюртук. Так, без сюртука и ботинок, он и остался сидеть на диване. Циолковский сидел около него. Они говорили до утра.

Они не заметили, как наступило утро, не чувствовали утомления от бессонной ночи, им было очень интересно. Самовар заурчал на столе совсем неожиданно. Оказалось, что солнце уже светит в окно, что дети уже встали и собираются в школу.

Утром опять Голубицкий уговаривал Циолковского познакомиться с Софьей Васильевной Ковалевской. Но Циолковский не решился. Голубицкий уезжал один. Он крепко жал руку Циолковского и говорил:

— День и ночь, которые я провел у вас, запомнятся мне на всю жизнь. Эта маленькая тесная квартира... ваша большая семья... ваша бедность, выглядывающая из каждой щели... И здесь, вот в такой обстановке, вы создаете удивительные вещи, открываете перед человечеством новые горизонты, прокладываете новые пути для движения человечества вперед по пути прогресса... Поверьте, мой друг, я сделаю все возможное, чтобы ваш аэростат получил признание, чтобы вся просвещенная Россия отдала вам должное за ваш научный подвиг...

— Мне нужны деньги на постройку большой модели, — перебил его Циолковский, — только это мне сейчас нужно от просвещенной России. Поверьте, голубчик, я не гонюсь ни за славой, ни за богатством! Но я должен решить те конструктивные задачи, которые до сих пор не мог решить. Их можно решить только в процессе постройки большой модели или самого аэростата. Мне нужны сейчас деньги, деньги и только деньги. Все упирается в это. Мне не на что купить лишний лист железа, лишний кусок картона. Я опасюсь, что из-за отсутствия средств я больше ничего не смогу внести нового в конструкцию своего аэростата, а нужно совершенствовать его все время, нужно изучать его в действии, в полете, в наполнении газом. Нужны опыты и опыты, десятки, сотни новых опытов.

Через месяц Циолковский получил от Голубицкого письмо.

Голубицкий писал:

«Многоуважаемый Константин Эдуардович! На днях я был в Москве и виделся с Александром Григорьевичем. Милейший Столетов чрезвычайно заинтересовался моими рассказами о Ваших работах. Он просил передать, что, если Еы еще не успели отправить в Петербург свой труд об аэростате, то он просит Вас приехать в Москву, вместе с рукописью, прямо к нему. Он поставит доклад о Вашем изобретении на обсуждение Общества любителей естествознания

при Московском политехническом музее. Он убедительно просит нас не отказать в любезности сделать этот доклад на ученом заседании, которое имеет быть в будущую пятницу».

Осуществилось давнишнее желание. Самый передовой русский физик, профессор Столетов, заинтересовался работами Циолковского. Циолковский ликовавал. Он ворвался в комнату, где находились дети.

— Господа! — закричал он. — Еот как танцуют марсиане! — и стал исполнять танец марсиан. Очки упали. Борода растрепалась. Он схватил Любашу. Она была высокая, тоненькая, косички трогательно болтались на узкой спине. Любаша тоже стала марсианкой. К ним присоединились Мария, Игнаша и Сашенька. Еаренька смеялась. Усталый и взмокший от пота, Циолковский свалился на стул.

— Ура! — закричал он. — Поздравляю вас, господа Циолковские! От всей души поздравляю! Ваш отец вернется из Москвы известным всей России! Ваш отец привезет из Москвы новые машины, книги и всяческие материалы, и мы начнем, господа Циолковские, строить настоящую модель аэростата. Она будет летать над Боровском. Сам военный министр приедет смотреть на полеты нашего аэростата. Митрополит пожалует сюда лично на торжественную закладку первой в России воздушной верфи! Поздравляю вас, господа! Игнашенька, — музыку! .. — И, не дожидаясь, пока Игнатий изобразит музыку, Циолковский сам надул щеки и, подражая звукам барабана, запел: — Тум-там-там... тум-там-там...

Всю неделю Циолковский готовился к поездке. Он собрал все рукописи, относящиеся к аэростату, и отобрал модели. Большую складную модель он взять с собой не может: она слишком громоздка. Хотя только она и может дать наиболее близкое к истине представление об устройстве оболочки. Он возьмет вот эту маленькую модель... Моделей было много — можно выбирать. Но и малая модель оказалась неудобной для перевозки. Решил все оставить дома. Взять с собой только рукопись...

Ранней весной 1887 года, после одиннадцатилетнего перерыва, Циолковский снова был в Москве. Москва встретила его грохотом колес по булыжному, криками газетчиков, звоном колоколов, весенним солнцем.

Циолковский быстро шел по уже забытым улицам. В одной руке он нес рукопись, в другой — сверток с провизией. То и дело он вздрагивал, потому что в каждой женщине, которую обгонял или которая шла ему навстречу, узнавал Наташу Цыкину. Он узнавал ее узкую спину, шляпку, накидку, зонт... И было грустно, что она его не узнавала.

Прямо с вокзала Циолковский пошел к профессору Столетову. Дверь открыла горничная в белом передничке и в белой кружевной наkolке. Она пошла доложить Александру Григорьевичу. Потом вернулась, сказала:

— Александр Григорьевич бреется. Он просит раздеться, подождать.

Циолковского провели в столовую. В столовой было очень чисто, тикали часы. На столе, покрытом белой накрахмаленной скатертью, стоял один прибор; горничная поставила второй.

Вошел Столетов. Хорошо сшитый сюртук отлично сидел на нем. Лицо его было русским, простым лицом русского мужика откуда-нибудь с Волги, Оки или Вятки — крупное, открытое, прямое, с большим лбом, большим носом, большими усами. Волосы были разделены прямым пробором. Борода подстрижена.

Ейдя в столовую, он надел овальные очки в железной оправе.

Поздоровался сдержанно, пригласил завтракать.

Циолковский, по своему обыкновению, настойчиво отказывался. Столетов не спорил, но сел за стол и взглянул на Циолковского таким профессорским строгим и недовольным взглядом, что послушаться было нельзя, и Циолковский сел против Столетова.

Принесли кофе, яйца, масло.

Завтрак проходил в полном молчании. Столетов ни о чем не спрашивал. Циолковский не решался заговорить первым. Столетов ел сосредоточенно, аккуратно. Когда завтрак кончился, Столетов вдруг, без

всякой подготовки, начал экзаменовать Циолковского. Экзамен был по всей форме. Столетов сидел нахмуренный, сухой и задавал вопрос за вопросом. Циолковский сразу оживился. Он даже не сообразил, что Столетов экзаменует. Он почувствовал себя в кругу хорошо знакомых, интересных, любимых предметов. Принципы Ньютона... Причинность в понимании Вундта... Сохранение энергии по Оствальду... Учение Гегеля и Лейбница... Кинетическая теория газов...

Экзамен был прерван так же неожиданно, как и начался. Столетов взглянул на часы и встал из-за стола.

— Очень интересно! — сказал он. — Очень интересно, как вы все это изучили, сидя в глуши. С удовольствием прослушаю ваш проект.

Они сговорились встретиться вечером в зале Политехнического музея.

Циолковский вышел. Он был разочарован. Почему Столетов не расспрашивал об аэростате? Почему он был так сдержан и сух?..

Куда деться до вечера? Конечно, к Авдотьюшке. Он пошел на Остоженку.

Днем в университете, во время перерыва между лекциями, Столетов рассказывал своим друзьям о Циолковском. Циолковским он был очарован. Он говорил о блестящем уме, своеобразном, совершенно независимом мышлении, о том, как в лице Циолковского, этого скромного уездного учителя арифметики, русская наука может приобрести выдающегося представителя.

Каждый год Столетов уезжал за границу и все время vacations проводил в обществе своих друзей, выдающихся ученых того времени — Кирхгофа и Гельмгольца, которые относились к своему русскому коллеге с нежной любовью и глубоким уважением. Возвращаясь в Россию, он, не заезжая в Москву, посещал маленький городок Владимир на Клязьме, где жила его старая мать. Во Владимире он вставал на заре и уходил ловить рыбу или в лес расставлять капканы для птиц.

Сухой бухгалтерский педантизм уживался в Столетове с кипучей, не знающей ограничений страстно-

стью. Увлеченный идеей создания первой русской физической лаборатории, пылко любящий экспериментальную физику, он совершал тысячи безрассудств. Из-за лаборатории он перессорился со всем университетским начальством. Бросил великолепную квартиру на Тверской и перебрался в отвратительную квартиру в университете, чтобы быть поближе к лаборатории. Бывая за границей, он иногда на все свои деньги покупал оборудование для Московского университета, зная, что в течение нескольких лет не сможет получить этих денег обратно от скупого и чрезмерно расчетливого министерства просвещения. Истратив все на лабораторные покупки, он возвращался в Россию в вагоне IV класса, страдая от махорочного дыма и запаха портянок.

В личной жизни он был расчетлив. Записывал каждую израсходованную копейку; ни на минуту не нарушал распорядка дня. Готовясь к лекциям, он составлял такие обширные и детализованные конспекты и так размечал на полях время изложения — 1 минута, 1 минута 20 секунд, 45 секунд... — что эти конспекты напоминали бухгалтерские книги. О каждом своем опыте он составлял особый акт и хранил эти акты в папках за номерами. Каждый опыт вписывал в книгу и, кроме того, на карточку. Его ученое хозяйство было похоже на хозяйство коммерсанта.

* Раз в неделю в гостиной Столетова собирались молодые московские ученые: Умов, Жуковский, Миллер, Лебедев, Цингер, Бредихин. Читали рефераты, спорили чуть не до утра. На этих диспутах иногда появлялись странные и никому неизвестные личности. Однажды Столетов познакомил своих ученых друзей с каким-то старичком в лапотках и поддевичке, оказавшимся плотником из староверов-раскольников.

— Познакомьтесь, господа, — сказал Столетов, — выдающийся ум. Самостоятельно дошел до таких выводов, до которых могли дойти только гениальные ученые.

Есть вечер сидел старичок молча, слушал ученые споры. После этого никто о нем ничего больше не слышал и нигде его не встречал.

В другой раз привел Столетов парнишку, по виду босяка, и тоже представил его своим друзьям в качестве гениального математика. Он уверял, что сам подготавливает его в университет и даст России замечательного ученого. Но гениальный математик украл у него золотые часы, Столетов обиделся и больше о нем не говорил...

...Циолковский пришел на Остоженку. Авдотьюшки дома не оказалось. Шурка встретила его сдержанно. Она была уже зрелой барышней, в завитушках, некрасивая, в шерстяном платке, наброшенном на узкие плечи. Она сидела у окна и шила.

Циолковского она застеснялась. Стеснительность ее была ненастоящая, искусственно-кокетливая. От этой стеснительности пахло дешевой пудрой и копеечной помадой. Циолковский узнал, что Авдотьюшка все еще служит у Цыкина, что Наталья Аристарховна живет отдельно, с мужем, Авдотьюшка сильно состарилась, жалуется на хворости, а она, Шурка, теперь уже не Шурка, а Александра Степановна, живет хорошо и о всяких глупостях, какими они с Циолковским тогда увлекались, сейчас и говорить не хочет...

Шурка Циолковскому не понравилась. Но он дождался Авдотьюшки. Она была все такая же усатая, басистая, и старость сказывалась только в том, что Авдотьюшка похудела и кожа на ее лице повисла мешками и складками.

Авдотьюшка обрадовалась Циолковскому. Увела его на кухню, поила кофеом, расспрашивала про жену, детей, жаловалась на Шурку, которая гуляет с приказчиком от Филиппова: «мужчина так себе, непьющий, холостой, видный из себя, да только гулять — гуляет, а насчет намерений молчит...» Потом добрались они оба до самого главного...

— Как ты, батюшка, съехал с этой квартиры, является Наталья Аристарховна — и прямо в твою комнату. Села на стул, сидит, разглядывает стены, а сама платочком глазки вытирает. Потом вышла она ко мне, глазенки-то слезами затуманены, поглядела на меня так, что сердце у меня перевернулось. «Зло-

дей, — говорит, — был твой Циолковский. Разбил, — говорит, — мое сердце. . .»

— Муж ее, — рассказывала Авдотьюшка, — артист, красавец неопиcуемый. Будто с модной картинки сошел. Только пьет и гуляет. Да вот еще беда, говорят, играет он в императорском театре только ужасных злодеев. А так — ничего, вполне приличный господин. . .

Вдруг руки Циолковского задрожали.

— Авдотьюшка! — сказал он и виновато посмотрел на нее. — Авдотьюшка, милая, вы адрес ее знаете? Снесёте записочку?

Записочка была коротенькой. Циолковский писал, что Наталья Аристарховна может сегодня вечером пожаловать в Политехнический музей, на ученое собрание, где она увидит Циолковского и услышит доклад о его аэростате.

В зале Политехнического музея, когда пришел Циолковский, было уже много народа. Среди черных застегнутых на все пуговицы сюртуков и мундиров с эполетами мелькали дамские платья. Дам было не много: восемь или девять. Циолковский боялся их. Прятался от них за колоннами. Каждая казалась ему Наташей. Он ждал, что одна из них сейчас подойдет к нему и заговорит, и это было очень страшно: что и как он будет отвечать ей? Ему казалось, что он обязательно не расслышит того, что Наталья Аристарховна скажет.

Но, выйдя на эстраду, он сразу забыл о Наташе Цыкиной. Теперь он весь был во власти зала. Зал был громадным, строгим, молчаливым. Белые стены, колонны, блеск очков, лысин, устремленные на эстраду неодобрительные взоры. Надо было зажечь все это, чтобы весь зал запылал от изумления, от восторга, от радости, как пылал Циолковский, когда думал о своем воздушном корабле.

Циолковский был очень бледен. Он все время пил воду. Говорил слишком тихо, заикался. Циолковский читал свою рукопись. По мере того, как он читал ее, по мере того, как оглашал все новые и новые числа, и на грифельной доске появлялись новые и новые

формулы, он чувствовал все большее увлечение, и голос его становился громче, и речь была плавнее. Он сам заново вникал в смысл написанного и поражался убедительности своих доводов. Его приводили в восхищение ясность, стройность и простота его ученья о воздушном корабле. Казалось, никто не может остаться равнодушным, не увидеть того великолепного, сказочного будущего, которое принес Циолковский миру и в которое приглашает человечество сейчас, вот с этой эстрады. Ему казалось, что цель уже достигнута, что зал уже должен быть воспламенен, что люстры должны сиять, как солнце, а глаза людей должны загораться, как костры... Он оторвал взгляд от рукописи и поглядел перед собой. Боже! Скучающие лица! Рты, раздернутые в зевоте. Полуопущенные веки дремлющих... Циолковский почувствовал, что колени его сгибаются, он падает, башня под ним качается, качается и не за что уцепиться...

Какие-то люди передавали записки председателю собрания Столетову. Воспользовавшись небольшой паузой в чтении, Столетов подошел к Циолковскому и сказал на ухо:

— Константин Эдуардович! Господа и дамы утомлены. Ваша идея совершенно ясна. Все эти формулы и расчеты излишни для такого большого собрания. Аудитория просит устроить перерыв.

Во время перерыва Столетов отвел Циолковского в сторону.

— Мы все благодарим, — сказал он, — это очень интересно. Но это слишком специальная работа для такого большого собрания. Не обижайтесь, голубчик, но продолжать чтение не следует. Мы лучше передадим ваш труд профессору Жуковскому. Он обещал за ночь прочитать и дать свое заключение.

После перерыва читал доклад доктор Репман. Циолковский сидел в зале и не слушал. Он не мог притти в себя. Неужели все провалилось? Его проект не нашел отклика среди ученых? Неужели столько лет жизни затрачено совершенно напрасно? Неужели правда — все это мираж? Неужели это только ошибка, погубившая его жизнь и жизнь его близких?...

Столетов назначил ему притти на следующий день вечером.

Ночевал Циолковский на Остоженке. Весь день был мрачен, не выходил на улицу, не разговаривал ни с Шуркой, ни с Авдотьюшкой.

В назначенное время пришел к Столетову. Столетов играл на фортепиано, сидя спиной к двери.

Циолковский стоял в дверях, не решаясь окликнуть его. Потом ему стало стыдно своей провинциальной застенчивости. Чего ему стесняться теперь, когда все уже ясно? Он громко откашлялся. Столетов медленно обернулся, приподняв пальцы над клавиатурой, но, увидев Циолковского, вскочил и, широко расставив руки, подошел к нему.

Он обнял Циолковского и по-русски поцеловал его, крепко, дружески.

— Поздравляю, мой дорогой! От всей души поздравляю!.. Когда вчера утром мы с вами познакомились, я думал: просто знающий человек, самоучка, упорство и настойчивость... Но то, что я услышал вечером, превзошло все ожидания. Эта смелость! Эта полная самостоятельность в выводах! Этот размах — истинно русский размах, на который способна только наша наука!..

Куда делась сдержанность и сухость этого педанта? Столетов, казалось, помолодел за одни сутки, стал совсем другим. Он был возбужден, бежал по комнате, расточал неумеренные похвалы.

— Вы не огорчайтесь, что аудитория спала. Аудитория нередко спит, когда совершаются самые замечательные открытия. Вы читали отвратительно, мой дорогой. Вы могли усыпить своим чтением и своими бесчисленными формулами кого угодно. Но это гениально, чорт побери! Жуковский пришел ко мне рано утром. Он говорит, что не нашел в ваших расчетах ни одной ошибки, ни одной неточности. Ваш аэростат должен быть построен. Он должен быть построен в России. Он должен стать гордостью русской науки и русской техники. Будьте уверены, мы сделаем для этого все возможное. Вы получите государственную поддержку. Вы сможете продолжать и рас-

ширить свои опыты. Понимаете, что самое замечательное у вас? Это органическое сочетание теории и эксперимента: расчета и опыта. Это основа подлинной науки. Правда, Жуковский кое в чем сомневается. Он говорит, что постройка вашего аэростата связана с величайшими техническими трудностями и обойдется государству очень дорого. Но это, конечно, не должно остановить Россию на пути к освоению воздушных пространств. Мы решили так: Жуковский отправит вашу рукопись в Петербург профессору Менделееву. Он уже написал письмо. Просит заинтересовать вашим проектом воздухоплавательный отдел Русского императорского технического общества. Вы должны срочно выслать в Петербург, на имя Менделеева, ваши модели и те дополнительные расчеты, которые, как говорите, у вас имеются. Это надо сделать очень быстро. Я уверен, что уже через два-три месяца вы будете располагать необходимыми средствами для продолжения опытов. Я же сделаю все, что в моих силах, чтобы вас перевести в Москву. Вы должны жить в Москве. Моя физическая лаборатория, все приборы и помощники — к вашим услугам... Возвращайтесь домой, мой друг, скорее посылайте в Петербург модели и ждите крутого поворота в своей судьбе. Гёте говорил: «Если это роза, она должна зацвести». Будьте уверены — ваша роза зацветет очень скоро.

7

Когда Циолковский вышел на улицу, ему хотелось всем сделать добро. Он купил калач и отдал его босяковому мальчишке. Погладил по морде лошадь, уныло жующую сено в веревочной торбе. Похвалил младенца, которого несла на руках нарядная кормилица. Купил леденцов и пряников своим детям. Зашел в трактир и, заказав пару чая, написал коротенькое письмо Наташе Цыкиной.

«Сударыня! — писал он. — Сожалею, что Вы не пришли в Политехнический музей. Я до сих пор не принес своих извинений за то, что одиннадцать лет назад заставил вас напрасно ожидать на Тверском

бульваре. Поверьте, сударыня, что я задержал извинение только из-за недосуга, так как все эти годы был очень занят работой. Сейчас, когда главная и основная задача моей жизни: металлический аэро-стат с изменяющимся объемом — близка к осуществлению, первой мыслью было написать вам...»

Он подъезжал к Боровску поздней ночью. Был канун пасхи. Реки и ручьи вздулись и мчались в темноте с грохотом и воем. Вой воды сливался с воем ветра и шумом деревьев. Мчались разорванные клочковатые облака. Они на короткое время раскрывали луну, и тогда все заливалось волшебным серебристым светом. Потом облака снова закрывали луну, и опять смыкался воющий, грохочущий мрак.

Циолковский не мог сдерживать в себе веселье и радость. Ему было не усидеть в санях. Хотелось двигаться, шуметь, петь песни. Не терпелось скорее быть дома, обнять Вареньку, поделиться своим счастьем. Иногда он начинал петь, и его громкая песня казалась частью весеннего шума — такая же она была ликующая, свободная, буйная. Когда он замолкал — сразу обступали заботы: утром надо упаковать большую складную модель, отобрать все дополнительные материалы: чертежи, расчеты, схемы, и все это отправить в Петербург, вдогонку за рукописью. Он не сомневался, что самое большее — через неделю-две в Петербурге рассмотрят проект, вышлют средства на продолжение опытов и исследований, возможно — вызовут его самого, чтобы он лично руководил постройкой воздушного корабля. Сейчас была одна задача — как можно скорее выслать все в Петербург.

Когда выехали из леса, Циолковский заметил высоко в небе странное розоватое светящееся облачко. Потом он увидел, что это не облачко, что часть неба освещена. Пожар!

Чем ближе подъезжали к Боровску, тем ярче становилось зарево. Вскоре уже не осталось сомнения, что пожар в Боровске. Во мраке ночи зарево было страшным, живым. Оно изменяло очертания, дышало, то захватывало полнеба, то сникало к горизонту. Тревогой наполнилось все кругом. Тревога была в вое

ветра и в шуме потоков. Тревога была на небе и на земле. Тревогу чувствовали лошади.

Возница встал во весь рост и погнал лошадей. Он кричал на них, и кнут свистел остро и коротко. Сани плясали на ухабах, из-под полозьев летели кусочки льда и холодные брызги. Лошади храпели и мчались навстречу зареву. А зарево становилось все больше и больше, черный дым собирался в громадную тучу, запах гари щекотал ноздри, и странные тени металась на горизонте.

Когда подъехали к излучине реки, Циолковский уже знал, что горит около его дома. Взмыленные лошади пронеслись по улицам, на которых было светло, как днем. Оглушительно били колокола церквей. Бежали люди с топорами, кольями, ведрами. Метались испуганные клохчущие куры.

С высокого бугра Циолковский увидел, что горит его дом. Вцепился в плечи возницы и сжал губы, чтобы не закричать. Когда на ходу вывалился из саней, сразу же увидел Вареньку с детьми. Она была в нижней рубашке и наброшенной поверх шубке. Неприбранные волосы раскинулись по спине. Варенька не плакала, только огромными неподвижными глазами глядела на огонь. Огонь отражался в ее зрачках. Дети жались к ней, цеплялись за полы шубки, плакали.

Циолковский подбежал к ним, поднял на руки младшенького — Сашеньку. Провел ладонью по холодному личику Маши. Варенька не удивилась, увидев его: казалось, ничто не может ее сейчас удивить. Циолковский наскоро поцеловал детей, потом бросился к горящему дому. Там были все модели, и большая складная модель, и чертежи, и расчеты, которые надо было немедленно отослать в Петербург.

Он пытался проникнуть в дверь, в окно. Пламя опалило его волосы и одежду. На руках вздулись волдыри. Люди кричали. А он все метался около огня, но войти в дом не мог.

С треском падали балки, разбрызгивая вокруг искры и разбрасывая горящие головни.

Циолковский понял, что ничего не спасти. Он пошел к жене и детям. Рушились все надежды. Осуше-

ствление его идеи опять откладывалось. Снова надо было приниматься за то, что уже сделано. Снова нужда и ожидание. Снова непонимание, вера, упреки и надежда в любимых глазах Вареньки, Игнаши, Марии, Любаши, Сашеньки. Он обнял всех сразу: и Вареньку, и детей. Обнял и заплакал.

Ночевали у соседей. Сгорело все: мебель, одежда, посуда, книги.

Через три дня сняли новую квартиру, тоже вблизи реки. Циолковский взял у смотрителя училища тридцать рублей в счет жалованья и сказал Вареньке:

— Ну, давай обзаводиться хозяйством. Только вот что... Пока как-нибудь так... Ну, как-нибудь обойдемся, пожмем с покупками. Я сначала должен сделать новые модели и послать их в Петербург. Это недолго... месяца три-четыре... Глупая, ну что ты так смотришь? Из Петербурга я получу деньги. Теперь уже недолго осталось бедствовать. Главное сейчас — это как можно скорее восстановить все, что сгорело: модели и расчеты.

И деньги он распределил так: двадцать два рубля на изготовление новых моделей и покупку необходимых для этого материалов, а восемь рублей на обустройство хозяйства и одежды.

Варенька не выдержала:

— Господи! Да сколько же еще мучиться? Понимаешь ли ты, что на восемь рублей мне ничего не сделать! Что мне раньше покупать: ботинки Любочке, или одеяло Игнаше, или кровать для нас? Ведь спать-то на полу нельзя? Господи! Да как ты не понимаешь?

— Варенька! — сказал он. — Ведь это неразумно. Ты сама рассуди: если уж столько лет терпели, неужели не потерпим еще три-четыре месяца? Ну, помучаемся, поспим первое время на полу, но зато... Зато, может быть, уже через полгода весь мир узнает о металлическом азростате Циолковского. Может быть, уже через год откроется первый воздушный путь: Петербург—Боровск—Одесса. Ты только подумай: сто пассажиров на борту первого воздушного корабля! Воздушный корабль отправляется на Северный по-

лес! На высоте шести-семи километров воздушная научная станция ведет изучение стратосферы!.. Чего же ты плачешь, глупая? Будут и ботиночки, и одеяла, и кровати, и тебя я наряжу, как королеву...

Опять начались длинные и трудные дни. Было очень жалко детей. Большими удивленными глазами смотрели они на мир. Варенька подурнела, в ее волосах появилась седина. К тому же она была опять беременна. Новый ребенок — новый рот, новые расходы.

Три месяца Циолковский восстанавливал модели, расчеты и рукописи. Все восстановить в этот срок оказалось невозможным. Циолковский успел восстановить лишь то, что надо было послать в Петербург Менделееву.

Менделеев ответил сразу. Он ответил, что работы Циолковского лично его очень заинтересовали. Все материалы он передал полковнику Федорову — начальнику воздухоплавательного отдела Императорского технического общества. Федоров обещал Менделееву в самое ближайшее время доложить обществу о проекте Циолковского.

Циолковский вспомнил свое свидание с полковником. Может быть, полковник тоже вспомнит глухого посетителя, которому он не захотел даже подать руки...

Циолковский был весел, уверен в скором успехе. Только видя детей и жену, приходил в уныние. Дети играли во дворе — большеголовые, босоногие, с золотушными веками. Чувствуя свою вину перед ними, Циолковский часто зазывал их к себе, усаживал всех в ряд, показывал им опыты, рассказывал про иные планеты.

Ему хотелось провести ряд новых опытов по сопротивлению воздуха, которых не проводил еще никто. Новые опыты требовали денег. Деньги не всегда были даже на обед. Время тянулось невероятно медленно. Казалось, не дожидаться того дня, когда из Петербурга придут письмо, деньги, признание.

Однажды он вошел к детям. Они должны были укладываться спать. Он увидел, что Варенька и четыре малыша стоят на коленях перед иконой. Они

стояли спиной к нему, молитвенно сложив руки. Варенька говорила громко и отчетливо, а дети тоненько и тихо повторяли за нею странные слова молитвы:

— Боженька, миленький, сделай так, чтобы в Петербурге признали папенькин аэростат. Сделай, миленький боженька, так, чтобы выслали папеньке деньги. Ты же добренький, боженька, ты видишь, как мы живем. Мы не жалуемся, боженька, мы только просим тебя за нашего папеньку. . . — И будто в ответ на эту простодушную молитву, на следующий день пришла петербургская газета с такой заметкой:

«Вчера на заседании воздухоплавательного отдела Императорского технического общества полковником Е. В. Федоровым был сделан доклад о проекте господина Циолковского. Г. Циолковский предложил построить аэростат из металла. Доклад был прослушан с большим интересом и вызвал горячее обсуждение».

Размахивая газетой, Циолковский побежал к Вареньке. Варенька смеялась и плакала, и думала, что сегодня вечером еще раз вместе с детьми надо помолиться, чтобы все было хорошо.

Через несколько дней из Петербурга пришло долгожданное письмо. Написано оно было самим Федоровым. Федоров сообщал, что, получив от профессора Менделеева проект Циолковского, он отнесся к нему со всей серьезностью и 23 октября сделал доклад на заседании воздухоплавательного отдела. Резолюцию, принятую членами общества по этому докладу, он посылает господину Циолковскому.

В резолюции было сказано:

«Простые теоретические соображения и многолетний опыт доказывают неоспоримо, что какой бы ни были формы аэростаты и из какого бы ни были сделаны они материала, все же они вечно, силою вещей, обречены быть игрушкой ветров. . .

Хотя проекту Циолковского, — говорилось далее, — нельзя придавать большого практического значения, нельзя также не признать за этим проектом того достоинства, что он составлен на основании ясного понимания геометрических формул и весьма толково изложен.

Энергия и труд, затраченные г. Циолковским на составление проекта, доказывают его любовь к избранному им для исследования предмету, в силу чего можно думать, что г. Циолковский со временем может оказать значительные услуги воздухоплаванию и потому вполне заслуживает нравственной поддержки со стороны Императорского технического общества. В просьбе же г. Циолковского о выдаче ему субсидии на продолжение опытов и постройку летающей модели аэростата Императорское техническое общество решило отказать».

Циолковский встал из-за стола и лег на постель. Два дня он не выходил из комнаты, отказывался от пищи, не хотел видеть ни Вареньки, ни детей. В доме было тихо и мрачно, будто лежал здесь покойник. На третьи сутки Циолковский ночью подошел к спящей Вареньке. Разбудил ее, опустился перед ней на колени, сжал ее теплые руки и слабым, дрожащим голосом сказал:

— Прости меня. Бедная моя. Страдалица!.. — Он опустил голову на ее грудь. Она заплакала. Она никогда не видела Циолковского таким жалким и беспомощным. — Я все теперь решил. Будь он проклят — аэростат! И будь проклята наука! Если бедный и неизвестный человек скажет истину, то его не станут слушать, никто ему не поверит и над ним будут смеяться... Я не понимал этого раньше. Я очень виноват перед тобой, моя Варенька. Но теперь уже все. Кончено! Больше никогда не вернусь к этим проклятым опытам. Забуду о существовании неба, никогда не подниму глаза кверху, буду смотреть только вниз, только под ноги. Хочешь? Мы поедем в деревню, станем землепашцами... Не хочешь? Нет? Ну, хорошо. Я останусь учителем, как все учителя. Буду делать только то, что делают другие, только... только, может быть, воздушных змеев буду делать для учеников. Ведь это можно? А? За это не осудят?

Они говорили часа два или три. Перед рассветом Циолковский вышел на улицу, чтобы холодный воздух освежил его. На воздухе он всегда чувствовал себя лучше.

Было еще темно, только на востоке, над самым лесом, чуть-чуть заметна была узкая светлеющая полоска. Тишина. Ни одного огонька не светилось в горode. Звезды на небе уже поблекли, и небо было таким глубоким, что у Циолковского захватило дыхание. Ну, как можно не смотреть на небо?

Он сел на ступеньки и глядел на небо. Небо казалось ему большим, необъятным, бесконечным, а земля — маленькой, ограниченной холмом, колокольней, лесом, крышей соседнего дома.

Пока он глядел на небо, оно меняло свою окраску. Оно становилось все светлее, прозрачнее, глубже и шире, и вот уже разлилась голубизна и начала она розоветь и окрашиваться в багрянец. А из-за леса неудержимо выплескивалось ликующее пламя восходящего солнца.

Постепенно просыпалось все кругом. Деревья как бы раскрывали свои сложенные на ночь ветви. Птицы взвились в воздух и огласили его своими голосами. Все жило, ликовало и утверждало великую, всегда волнующую тайну непреходящей и нескончаемой жизни.

«Почему мир бесконечен, радостен и светел? — думал Циолковский. — И только жизнь человека ограничена, грустна и темна. Почему? Где искать ответа?.. Нет, не в книгах ответ на этот вопрос, не в рассуждениях мудрецов. Он написан на этом светлом ликующем небе, на солнце и облаках. Он — в не открытых еще тайнах мироздания, в обширности человеческого незнания, которое должно смениться безграничным познанием... Да рассеется тьма! И да будет свет! Пусть спадет с меня моя слепота!»

Когда Циолковский поднялся на ноги, было уже утро. Коровы, звеня колокольчиками, выходили из ворот. Пастух играл на длинной дудке. Бабы шли с ведрами к реке. Кричали петухи. Перекликались соседки.

Циолковский пошел домой. Он знал: что бы ни ждало его в будущем, как бы ни было тяжело, он, как и до сих пор, будет жить ради того, сейчас еще никому неизвестного счастья, которое раньше или позже откроет он людям.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

8

Столетов писал, что его очень огорчает заключение Императорского технического общества, но пусть Циолковский не падает духом. Наука требует упорства, терпения и мужества. Писал Столетов и о том, что все его попытки перевести Циолковского на службу в Москву потерпели крах. Ничего сделать оказалось невозможным.

Циолковский ответил:

«Многоуважаемый Александр Григорьевич!

Моя вера в великое будущее металлических управляемых аэростатов все увеличивается и теперь достигла высокой степени. Что мне делать и как убедить людей, что «овчина выделки стоит»? О своих выгодах я не забочусь, лишь бы дело поставить на истинную дорогу.

Я мал и ничтожен в сравнении с силой общества! Что я могу один! Моя цель — приобщить к излюбленному делу внимание и силы людей. Отправить рукопись в какое-нибудь ученое общество и ждать решающего слова, а потом, когда ваш труд сдадут в архив, сложить в унынии руки — это едва ли приведет к успеху.

История показывает, что самые почтеннейшие и ученейшие общества редко угадывают значение пред-

мета в будущем, и это понятно: исследователь отдает своему предмету жизнь, на что немногие могут решиться, отвлеченные своими обязанностями и разными заботами. Но в целом среди народа найдутся лица, посвятившие себя воздухоплаванию и уже отчасти подготовленные к восприятию известных идей.

Поэтому, я думаю, лучше, если разбираемый мною вопрос будет представлен на рассуждение всех добровольцев; мне кажется, тут будет более шансов для достижения успеха, ибо хотя и найдутся при этом противники, но зато найдутся и защитники и продолжатели дела; спор же только способствует выяснению истины, подобно спору Гальвани с Вольтою.

Итак, я решился составить краткую статью (20—30 листов писчих), содержащую решение важнейших вопросов воздухоплавания; надеюсь закончить эту работу в три или четыре месяца...»

Но работа над этой статьей затянулась. Да и сама статья оказалась значительно больше. Опять несколько месяцев лишений, расчет каждой израсходованной копейки, и, наконец, — статья отдана в типографию.

Статья называлась: «Аэростат металлический, управляемый». Она вышла в свет отдельной книгой, когда Циолковский уже переехал в Калугу.

Переезд был неожиданным. До калужского губернского начальства, видимо, дошли сведения о том, что в Москве кто-то хлопочет за Циолковского. Циолковскому предложили службу в губернском городе. Он не хотел ехать — сняться с насиженного места было не легко, к тому же семья все росла, а денег на переезд не было. Но начальство не любит, когда отказываются от его милостей, и переезд в Калугу состоялся.

Калуга показалась большим городом: мощные улицы и площади, городской сад с оркестром, две библиотеки, гимназия, газета...

Семья Циолковских поселилась поближе к Оке. За рекой были поля, луга, леса. По утрам над широкой Окой поднимался туман.

Теперь, кроме старших детей — Любы, Игнатия, Марии и Сашеньки, — был еще ребенок — Аня. Жили тесно. Одна большая комната была перегороджена на две половины. В одной половине работал Циолковский. В другой — играли, спали, учились дети, хозяйничала Варенька.

Все надежды были на книгу. Если книга будет сразу распродана, можно переехать в более просторную квартиру, купить мебель, получше одеть ребят. За первым изданием последует второе, потом третье. Появятся деньги на новые опыты, можно будет, наконец, осуществить старую мечту о постройке летающей модели.

И вот в 1891 году книга вышла. Его первая книга — маленькая книжечка в голубой обложке. Циолковский чуть ли не баюкал ее на руках, как отец баюкает своего первенца. «Вот, — говорил он Вареньке, показывая книжку, — теперь уж я спокоен; теперь что бы ни случилось, пусть даже умру, а книжка останется, и ее будут читать. И если не я сам, то кто-нибудь другой закончит мое дело — построят металлический аэростат...»

Со своей книжкой он не расставался. Когда шел в училище, клал ее в карман пальто. Когда садился обедать — книжка лежала перед ним на столе. Он всем предлагал ее прочитать. Часто приходил в городскую библиотеку на Никитскую улицу и в частную библиотеку Мясникова. В эти библиотеки книжка была отдана для продажи. Циолковский останавливался у прилавка и ждал, чтобы хоть один человек спросил ее. Но никто не спрашивал. Иногда он задавал вопрос посетителям:

— А читали вы книгу господина Циолковского?

— Какую?

— Вот она: «Аэростат металлический, управляемый». Советую купить. Вы узнаете из нее, как можно покорить воздушный океан и продвинуть человечество вперед по пути прогресса.

Однако охотников купить или хотя бы прочитать книгу находилось мало. Книга лежала на полках и не продавалась. Она не продавалась ни в Калуге, ни

в Москве, ни в Петербурге. Циолковский сам послал экземпляры ученым, в Академию наук. Он послал экземпляр военному и морскому министрам и министру просвещения.

Никто не ответил. Ни от кого он не услышал — «спасибо».

Циолковский мечтал услышать это «спасибо».

Однажды он стоял в библиотеке, надвинув на лоб шляпу и мрачно глядя на посетителей. Вошел мужчина лет сорока, высокий, худощавый, с черной бородкой, в мягкой шляпе и с палкой. Он подошел к прилавку и сказал библиотекарю:

— Я брал у вас книгу Циолковского. Прочитал. Очень любопытно. Кажется, у вас можно и купить ее?

Циолковский растерялся, лицо его вспыхнуло, залилось краской.

Библиотекарь глазами указал посетителю на Циолковского.

Человек с бородкой направился к Циолковскому.

Он протянул руку и назвал свою фамилию: Ассонов. Василий Иванович Ассонов.

— Я прочитал вашу книгу, — сказал он мягким, бархатным голосом. — Получил большое удовольствие. Смело. Оригинально. Интересно. Спасибо, господин Циолковский. Лестно, что в нашем городе живет такой ученый...

Он сказал «спасибо». Он сказал «спасибо». Он сказал «спасибо»... Руки Циолковского тряслись.

— Как? Как вы сказали? Что?

— Я сказал, что очень интересная книжка. Великолепное исследование...

— Интересная? — переспросил Циолковский. — Интересная? Правда?.. — Он растрогался так, что чуть не заплакал. Отчего? Оттого, что неизвестный похвалил его книжку?

Он сказал честно:

— Вы первый человек, от которого я слышу слово благодарности. Вы очень меня тронули.

Они вышли из библиотеки вместе. Вместе шли по улицам. С первых слов оба поняли, что должны стать

друзьями. В тот же вечер Ассонов пришел к Циолковскому. Все у Циолковского восхищало его: обилие книг, физические приборы, множество рукописей, одержимость идеей, печать которой лежала на всем доме и на всей семье.

Несколько вечеров подряд Ассонов приходил к Циолковскому. Он перечитал все написанное Циолковским, выслушал все продуманное им. Они долго спорили о философии, математике и вдвоем с упоением перечитывали Ньютоновы «Принципы», только что переведенные на русский язык Ассоновым.

Василий Иванович Ассонов служил податным инспектором, но все его интересы сосредоточивались на науке. В науку он был влюблен страстно, фанатически верил в ее могущество и считал, что только через приобщение к науке широких народных масс может быть осуществлена революция и свергнуто самодержавие, которое он ненавидел всем своим существом.

Фамилия Ассонова была несколько известна в научных кругах и в кругах народников. Он был близким другом и учеником Петра Лаврова. Портрет Лаврова неизменно висел над столом в его кабинете.

Когда его выслали из Петербурга, он уехал в Гельсингфорс. Оттуда писал письма своим петербургским друзьям, посылал научно-популярные статьи в петербургские журналы и страдал, что он, просвещенный человек, живет вдали от родины, в то время как русский народ больше всего нуждается в просветителях.

Он вернулся в Россию. Петербург и Москва были закрыты перед ним. Поселился в Калуге. Здесь он жил под надзором полиции. Но и под надзором полиции ухитрялся делать дело всей своей жизни — нести просвещение в народ. На все свободные деньги он выписывал из Петербурга и Москвы журналы и книги, популяризовавшие научные знания. Раз-два в месяц он запрягал лошаденку в старый скрипучий тарантас и в любую погоду — летом ли, осенью или

зимой — брал в руки вожжи и, нажав поглубже на голову суконый картуз, отправлялся в деревню по своим податным делам. Тарантас его был набит книжками. Приезжая в деревню, он раздавал крестьянам книги, рассказывал об электричестве, атмосферных явлениях, происхождении жизни на земле. Возвращался в город усталый, грязный, пыльный и довольный собой. Он привозил ворох впечатлений, рассказов, воспоминаний.

Характернейшей чертой Василия Ивановича была мягкость. Он был мягок во всем. Мягко говорил, мягко ходил, мягко жестикулировал. Он никогда не повышал голоса, и невозможно было представить, чтобы он сердился.

Были у Асонова взрослые сыновья. По вечерам, после чая, все сидели за большим столом, под висячей лампой, и один из сыновей читал вслух. Остальные слушали. Мать в это время шила, а сам Василий Иванович курил одну папиросу за другой.

Асонов рассказал дома о Циолковском, его идеях, нужде, большой семье, которая во всем себе отказывает, чтобы отец мог проводить научные опыты. Его рассказ произвел на всех сильное впечатление. Думали: как помочь Циолковскому. Жена Асонова — маленькая болезненная женщина — хотела сшить для всех дочерей Циолковского по платьицу. Асонов возражал:

— Обидится Циолковский, подумает, что милостыня!

Сыновья выразили желание отказаться от карманных денег и предложить их Циолковскому для постройки аэростата. Асонов сказал:

— Ничего этого не надо. Я попробую послать его книжку своим петербургским друзьям...

Через два дня после знакомства с Асоновым Циолковский был разбужен рано утром. К нему явился гость. Гости в доме Циолковских были крайней редкостью, тем более гости, которые являются на рассвете.

У маленького толстенького смешного человечка в желтом чесучовом пиджаке и соломенной панаме,

сдвинутой на самый затылок, были черненькие усики и необыкновенно живые, не знающие покоя глаза.

Говорил он быстро, громко и возбужденно. Переполюшил весь дом, разбудил детей, напугал Вареньку.

— Где он? Где он? — кричал гость. — Я должен его видеть сейчас же!

Циолковский вышел навстречу, удивленный и недовольный. Гость бросился ему на шею и горячо обнял, приговаривая:

— Гений! Господи боже мой, такой гений! Такой гений, господи боже мой!

Он оказался местным аптекарем Павлом Павловичем Каннигом. Аптека Каннига была крохотной, в одно окошко, в доме его тетки в Никитинском переулке. Канниг окончил Московский университет, был холост и вел очень странный образ жизни. Уже несколько лет он сидел, запершись, в маленькой комнатушке позади аптеки, облаченный в халат, колпачок и домашние туфли, и изобретал прибор для расщепления атома и использования атомной энергии. Он жил совершенным отшельником, никого не видел, ни с кем не встречался, но вдруг выходил из своей комнатушки, громко хлопнув дверью, и говорил тетушке:

— Тетя Оля, сегодня я уезжаю. Я хочу заняться свиноводством! Это великолепное предприятие для энергичного человека. Я создам первую в мире строго научную свиноферму, выведу *породистых свиней. Каждая свинья даст двести рублей чистой прибыли. Я вернусь миллионером! Приготовьте в дорогу чистое белье, тетя Оля!

И он уезжал. Доходы от аптеки были мизерные. Канниг ехал в III классе, полный самых фантастических идей. Через три-четыре месяца он возвращался в Калугу без свиней и без миллионов, но все такой же веселый, деятельный, суетливый, и снова погружался в расщепление атома. Снова — затворничество, халат, колпачок, колдовство над колбочками и ретортами, голубенькое пламя спиртовки... Так продолжалось до тех пор, пока какая-нибудь новая фантастическая идея не гнала его опять из города.

Накануне визита к Циолковскому, поздно вечером, Канниг встретил Ассонова. Ассонов рассказал, что в Калуге появился самоучка-изобретатель, строящий воздушный корабль и мечтающий о покорении воздуха и вселенной.

Канниг пришел в неистовый восторг! Он не мог дожждаться утра. Как только рассвело, он бросился к Циолковскому. Сейчас он тискал его в своих объятиях и кричал, что он, Канниг, готов в любой день лететь вместе с Циолковским куда угодно и на чем угодно.

Канниг не хотел уходить от Циолковского. Он читал его рукописи, строил невероятные планы и опять бросался обнимать и целовать Циолковского.

Циолковский собирался в училище. Канниг хотя ушел вместе с ним, пообещав снова притти после обеда.

Но после обеда Циолковскому было не до Каннига. Почтальон принес петербургские газеты, журналы и книги. Две статьи привлекли внимание Циолковского. Одна из них принадлежала полковнику Федорову.

Федоров писал, что уже были попытки строить аэростаты из металла. Однако эти попытки не привели к желаемым результатам. «Современная наука доказывает, — писал Федоров, — что всякая мысль построить управляемый воздушный корабль, будь он из металла или не из металла, совершенно абсурдна и имеет не больше значения для воздухоплавания, чем увлекательные романы Жюль-Верна. В последнее время опять появились некоторые дилетанты, увлекающиеся проектами воздушных кораблей. Эти самоучки-изобретатели, любители фантастических проектов, наверно даже не подозревают, что сопротивление воздуха воздушным кораблям огромно. Оно тем больше, чем больше сам воздушный корабль и чем больше скорость его движения. Самый простой математический расчет, если бы серьезная научная подготовка позволила им такой произвести, доказал бы этим людям, что всякий аэростат, будь построен он из ткани или металла, самой наукой осужден оста-

ваться лишь забавой и свидетельством несовершенства человеческих возможностей».

Другая статья принадлежала авторитетному теоретику воздухоплавания инженеру М. М. Поморцеву. Она была издана отдельной книжкой и называлась «Привязной, свободный и управляемый аэростат». В этой статье также не упоминалось имя Циолковского, но и она была направлена против Циолковского всеми своими остриями. Автор пространно, с многочисленными вычислениями, утверждал, что все попытки создать управляемый аэростат неосновательны. «Неужели господа изобретатели аэростатов, — говорилось в статье, — думают, что если они придадут своему аэростату не шарообразную, а какую-нибудь иную форму, то от этого сопротивление воздуха станет меньше?.. Не досужее фантазирование, — поучал автор, — двигает вперед прогресс и науку, а только твердые научные знания, которые приобретаются не в провинциальной глуши, а в стенах университетов и академий».

Циолковский был убежден, что твердых научных знаний не было у авторов этих статей. Он был убежден, что твердые научные знания были у него, что они рождались здесь, в провинциальной глуши, — в тесной комнатухе на берегу тихой Оки. Циолковский докажет это. Он не будет опровергать своих оппонентов теми пустыми и насмешливыми фразами, которыми оперируют они. Он проведет сотни новых опытов, будет изучать движение тела в воздушной и водной среде; докажет, что сопротивление воздуха не является помехой для использования аэростатов; докажет, что форма воздушного корабля имеет важнейшее значение; он построит летающую модель корабля, и пусть тогда господа Поморцев и Федоров говорят все, что им будет угодно.

«Если это роза, она должна зацвести», — вспомнил Циолковский слова Гёте, сказанные Столетовым. — Моя роза зацветет; мой аэростат сам опровергнет своих противников».

Опять Циолковский превратился в плотника, слесаря, столяра, кузнеца. Он стал делать деревянные,

металлические и бумажные модели различных форм и размеров. Устроил на крыше дома крючки и переключники. Подвешенные фигурки под влиянием ветра качались сильнее и слабее. Циолковский придумал способы точного измерения силы ветра и степени отклонения фигурок. Следуя советам Столетова, завел толстую книгу и каждый опыт подробно описывал, нумеровал, датировал. Он завел сложное хозяйство, привлек помощников. Помощниками были дети. Игнатий и Сашенька выпиливали и склеивали фигурки. Любочка записывала измерения. Младшие, как только подует ветер, прибегали звать отца:

— Папа! Дует! Папа!..

Постепенно укреплялось убеждение, что сопротивление воздушной среды не одинаково для движущихся предметов различной формы. Шар, например, имеет в два раза большую поверхность, чем пластинка такого же диаметра. Но воздух сопротивляется движению шара в шесть раз меньше, чем движению пластинки. Еще меньшим сопротивление воздуха оказывалось для предмета яйцеобразной формы. Обыкновенная деревянная, круглая в своем сечении палочка отгибалась сильным ветром на определенное расстояние. И этот же самый ветер чуть ли не в двадцать раз меньше сгибал стоявшую рядом палочку такой же точно толщины, но имеющую не круглое, а яйцевидное сечение...

Однажды, занимаясь своими опытами на крыше, Циолковский убедился, что при очень сильном ветре коэффициент сопротивления не столь уже велик. От радости он чуть не скатился с крыши и ворвался в дом с ликующим криком. Семья усаживалась за стол обедать. Все вскочили на ноги, так необычен был вид отца. Варенька прибежала от плиты. А Циолковский махал руками, приплясывал, кричал, что теперь-то он покажет, где раки зимуют и где приобретаются научные знания; что теперь Поморцев и Федоров будут корчиться, как грешники на сковородке, потому что он разбил их в пух и прах своими опытами.

Он решил сразу же писать статью о сопротивлении воздуха. Статья была написана. Он перечитал ее.

Прекрасно. Он сегодня же пошлет ее в Петербург. Но это не конец спора, а начало. Они обвиняют его в ненаучности, ссылаются на университеты и академии! Отлично! Он свой домик в Калуге превратит в академию! Он проведет такие опыты, которых еще не проводил никто, создаст искусственный воздушный поток, будет сам испытывать воздушные корабли и межпланетные снаряды! Он будет смеяться последним, чорт побери!..

Циолковский знал себе цену. Когда он шел по улицам в своем пальто-разлетае, в широкополой шляпе, постукивая толстой палкой, то весь его вид говорил: вот идет Циолковский! Что бы вы ни думали о нем, а он делает свое дело и делает его не для себя, а для вас. Он делает великое дело, и когда-нибудь потомки вспомнят о нем с благодарностью!

Канниг и Ассонов горячо переживали дискуссию Циолковского с петербургскими теоретиками воздухоплавания. Они пришли в восторг от статьи Циолковского, написанной в ответ Поморцеву. Канниг грозил Поморцеву кулаком, клялся, что они, калужане, сотрут Поморцева в порошок и не оставят от него камня на камне. Ассонов говорил:

— Великолепный ответ, Константин Эдуардович! Поразительная простота опытов и ясность выводов. Необходимо издать вторую часть вашего труда об аэростатах. Если бы были деньги!..

Деньги! В них упиралось все. Если бы были деньги, можно было бы издать вторую часть книги об аэростате, расширить опыты по сопротивлению воздуха, построить летающую модель! Если бы были деньги!..

— Деньги? — удивлялся Канниг. — Деньги, это — тьфу! Поручите это мне. Ваша новая книга будет издана! Я достану издателя, средства, бумагу, типографию! Организую рекламу во всем мире! Если я возьмусь за это дело — ваша новая книга об аэростате станет настольной книгой в России и Америке, в Германии и Новой Зеландии. Будьте уверены!

И он горячо взялся за это дело. Действительно, был найден издатель, и вскоре вышла в свет вторая

часть книги об аэростате. В ней были изложены дальнейшие исследования Циолковского по этому предмету.

Вторая книга вызвала новые нападки на Циолковского. Полковник Федоров опять выступил со статьей. Он писал все то же: «Управляемые аэростаты никогда не будут орудиями для передвижения: не говоря о сравнительно небольшой скорости, совершенно ясно, что стоимость передвижения на них всегда будет чрезвычайно велика по сравнению со стоимостью передвижения другими способами. Нельзя безусловно отрицать возможной пользы управляемых аэростатов для военных целей, но и эта польза в высшей степени проблематична...»

Другой видный деятель Русского императорского технического общества, известный конструктор подводных лодок С. К. Джевецкий писал: «Попытки разрешить воздухоплавание были направлены на совершенно ложный путь, благодаря злополучному изобретению Монгольфьерами воздушного шара сто лет тому назад. Это изобретение не только не содействовало решению вопроса, но напротив того — отодвинуло его по крайней мере на сто лет».

Менделеев и Столетов тоже выступили в печати. Они поддерживали Циолковского, призывали его не прекращать своих опытов: будущее покажет, кто прав!

И все упиралось в деньги. Опыты требовали средств. Циолковский мечтал построить специальную ванну для изучения сопротивления водной среды, воздушные насосы особой конструкции, все ту же летающую модель. Но модель была попрежнему неосуществима. Неосуществимой оказалась даже оболочка, так как для гофрировки железа не было нужных приспособлений. Деньги, деньги и деньги!

Однажды он решил написать фантастическую повесть — изложить свои фантазии об иных планетах, о жизни в иных мирах. Эту повесть Циолковский предполагал напечатать в журнале, а затем издать отдельной книжкой. Молодежь получит полезные сведения по астрономии и физике, а Циолковский полу-

чит деньги; хоть небольшие, но деньги, на которые сможет провести новые опыты.

Повесть он написал быстро. Когда последняя страница была закончена, он пошел прочитать ее к Ассоновым.

Стол был покрыт вышитой скатертью. Большая лампа под абажуром молочного стекла лила на стол ровный, спокойный, умиротворяющий свет. Был теплый летний вечер. В раскрытое окно заглядывали освещенные из комнаты ветви дерева. Жена Ассонова по обыкновению шила. Сыновья ждали начала чтения. У них были светлые лица, ясные глаза и открытые лбы.

Циолковский читал. Он читал о том, как однажды проснулся в неведомом мире, где все было невероятно легким. Одной рукой он подымал шкафы и столы и сам прыгал чуть не до потолка. Только спустя некоторое время он догадался, что находится на Луне.

В повести подробно описывалась жизнь на Луне. Слушателям казалось, что Циолковский провел на Луне длительное время, с таким знанием дела было рассказано обо всем: как выглядит небо, какие там горы, как странно ведут себя часы или ружье.

Потом автор повести отправился на астероиды. Описание астероидов было еще интереснее. Ассонов забыл про папиросу, и папироса потухла в его руках. Мальчики впились глазами в Циолковского. Мать перестала шить.

Чтение затянулось до поздней ночи. Циолковский чувствовал себя удивительно хорошо в этой теплой, красиво убранной столовой, в кругу внимательных, любезных и благожелательных людей. Ему нравилось, что они смеялись, когда он читал смешное, что его понимали с полуслова, что женщина иногда крестилась от страха, а глаза Ассонова излучали такую согревающую ласку. Ему было приятно здесь и весело, но все время грызла неугомонная и неугасимая мысль: вот, тебе хорошо, весело, приятно, а в это время твоя работа стоит. За этот вечер ты успел бы столько сделать, написать, подсчитать, проверить,

а ты сидишь здесь в праздности и читаешь уже написанное, радуясь уже сделанному... Мысль эта была как жужжащий комар, от которого никуда не деться, который жужжит и жужжит, и если отгонишь его, то через минуту он снова будет рядом и снова будет жужжать и жужжать без конца...

В неистовый восторг повесть привела Каннига. Он заявил, что больше не вернется в аптеку и не притронется к своим рецептам, пока повесть Циолковского не станет известной всему человечеству.

— Вы сами не понимаете, что вы создали! — кричал он Циолковскому. — Вы лишили покоя тысячи людей! Я готов пожертвовать своей аптекой, всеми своими средствами, лишь бы поскорее осуществить это увлекательное путешествие. Что вы так смотрите на меня? Спешите, чорт возьми! Изобретайте свой межпланетный корабль!.. Если бы я обладал вашим талантом, то не сидел бы здесь, а давно носился между Юпитером и Марсом... Изобретайте же, чорт вас возьми, а заботу об издании книг предоставьте мне...

Канниг и Ассонов опять нашли издателя и деньги. Фантастическая повесть Циолковского была напечатана в журнале «Вокруг света» и вышла отдельной книжкой.

Гонорар за нее был израсходован Циолковским на покупку новых материалов для опытов по сопротивлению воздуха.

В это время Циолковский служил не только в уездном, но и в женском епархиальном училище. Здесь он преподавал физику. Епархиальное училище было унылым серым двухэтажным зданием. Казенщиной и скукой веяло от самых стен, от окон и крыши. Епархиалки любили глухого учителя физики. Он был мягок с ученицами, не кричал, ставил в большинстве хорошие отметки, увлекательно рассказывал и показывал чудесные, невиданные опыты. Учителя его не любили. Они считали его гордецом.

Циолковский не вступал в общие разговоры, в учительской не задерживался, в гости никого не звал и сам в гости не напрашивался.

Особенно невзлюбил его учитель математики, высокий, сухой, желтый и молчаливый Гермоген Гермогенович. Гермоген Гермогенович окончил Московский университет и нес свое университетское образование величественно и гордо. Жил он один, со старухой матерью. Его лицо казалось выстиранным, выжатым и высушенным, но не выглаженным. Оно было покрыто морщинами, и щеки свешивались вниз ссохшимися мешками. Волосы на его голове стояли ежиком. Он носил очки. Под очками, казалось, ничего не было: ни глаз, ни взгляда.

Однажды утром Циолковский зашел перед звонком в учительскую. Там все были в сборе. Он хотел незаметно выскользнуть в коридор, но розовый, с рыжеватыми бачками словесник Аркадий Павлович снял свое золотое пенсне и с лукаво-добродушной улыбкой обратился к Циолковскому:

— Секунду, коллега! Не вы ли прославились по всей России?

Он протянул Циолковскому свежий номер московского журнала «Неделя». На одной из страниц была карикатура: растрепанный человек сидит верхом на аэростате и держит подмышками планеты. Над ним хохочет оскорбительно наглое солнце. Под карикатурой было написано: «Некоторое время назад в Москве и в Петербурге была издана повесть г-на Циолковского «Грезы о земле и небе». Безвестный литератор вздумал посетить Луну, астероиды и различные планеты. Что ж, не плохое занятие для бездельника! Но не лучше ли было бы досужему литератору не заниматься бесплодными грезами о небе, а взглянуть на землю и посвятить свое вдохновение мирским делам: например, взяточничеству, непорядкам на железных дорогах или неблагоустройству мостовых и тротуаров...»

Гермоген Гермогенович повернулся лицом к Циолковскому и молча посмотрел на него, скрестив на груди руки. Стеклашки его очков поблескивали осуждающе.

— А мы и не знали, коллега, что среди нас есть сочинитель! — разглагольствовал Аркадий Павло-

вич. — Говорили, что вы научные книжки сочиняете, да, знаете, не верилось. А тут — на тебе! На всю Россию прославились! — Аркадий Павлович добродушно смеялся, весело теребя свои аккуратно подстриженные бачки.

Старенький законоучитель, отец Василий, покашляв в кулачок, заметил:

— Боже упаси, господа, чтобы девицы узнали! Учитель — и вдруг... такое... Нехорошо!

— А что ж плохо, разрешите узнать? — вспыхнул Циолковский. — С вами не посоветовался, батюшка? Совета не изволил испросить?

— Зачем совета?.. А впрочем, и совета, почему бы и нет? — согласился батюшка. — Звание учителя, Константин Эдуардович, — это такое, можно сказать, такое...

— Постыдно и омерзительно! — вставил Гермоген Гермогенович. — Омерзительно, милостивый государь!

— Что стыдно? Что омерзительно?

— То, что перед лицом молодого поколения тот, кто должен быть наставником, до того себя довел, до того дооригинальничался, что уж... простите... — он развел руками, — дальше уж и некуда... Стыдно!

И Гермоген Гермогенович отвернулся к окну.

Батюшке стало жалко Циолковского. Он захотел утешить его:

— Не надо расстраиваться, дорогой, с кем чего не случается! Все грешны перед господом богом, один больше, другой меньше. И я сам в ранней молодости тоже грешил стишками. Однако же вы воистину легкомысленно поступили, такие статейки в печать отдавая. Ну, писали бы себе, почему не писать на досуге для собственного удовольствия? Но печатать зачем?

Девицы в классе хихикали. Они ничего, конечно, себе не позволили, только то одна, то другая из девиц вдруг поглядит на учителя, вспомнит карикатуру (которая сразу обошла все училище), уткнется в платочек и фыркнет на весь класс.

Вернувшись домой, Циолковский заметил, что у Вареньки заплаканные глаза. Стал допытываться:

что да отчего? Она долго не хотела признаться, потом не выдержала, бросилась к нему на шею, заплакала и стала горячо утешать:

— Плюнь на них! Плюнь на них, Костенька, миленький! Разве они понимают тебя? Им бы лишь осмеять кого! Миленький, Костенька!..

Он даже не сразу понял, о чем идет речь. Карикатура его несколько не огорчила. Не задели и насмешки в училище. Варенька не рассказала ему, что утром пришли к ней две соседки. Сначала говорили о том, о сем, о погоде, городских новостях, потом одна заметила:

— Смотрю я на вас, Варвара Евграфовна, и удивляюсь: если бы на моего супруга, как на вашего, вся Россия пальцем указывала, я бы, кажется, повесилась со стыда.

Варенька рассердилась:

— Фу, какие вы глупости говорите, Пелагея Васильевна, даже слушать противно! Кто же это над ним смеется? Только невежи по своей темноте смеются.

— Ну уж, матушка вы моя, кто невежи, а кто не невежи, не нам с вами разбираться. Может, у нас, в Калуге, и невежи, а уж если, родная вы моя, в Петербурге и в Москве тоже невежи, то уж и не знаю, что вам ответить... Видели, как вашего муженька в журнале изобразили?

Любочка в этот день пришла из гимназии тоже заплаканная, но ни матери, ни братьям не призналась, отчего плакала.

Игнатий был стройным, белокурым мальчиком. Характер имел угрюмый, мрачный, гордый.

Он бросил ранец, подошел к матери и, не глядя на нее, заявил:

— Меня, может быть, из гимназии исключат, так ты не волнуйся.

— Господи! Как так исключат? За что?

— В морду дал. Леньке Букину дал в морду. Так дал, что кровь пошла. Ты не расстраивайся, мама, я ему дал за дело.

— Как же не расстраиваться, если исключат из гимназии? Горе ты мое! В сапожники пойдешь, что ли?

— А мне наплевать. Можно и в сапожники.

— Вот отцу расскажу. Он тебе сапожника покажет!..

Но тут Игнатий бросился к матери, голос его дрогнул:

— Не надо! Mamочka, прошу тебя, не говори ему... Из-за него все и вышло. Ленька в класс один журнал принес. Там папа нарисован. Ленька для того, чтоб смеяться, принес. Твой отец, говорит, сумасшедший. Я ему еще не так дам за «сумасшедшего». Я еще, может быть, зарежу его...

И, лежа потом в кровати, Игнатий мечтал о том, как он зарежет Леньку Букина. Но он знал, что не зарежет, и плакал от обиды и своей беспомощности.

А Циолковский гладил Вареньку по седым волосам и думал:

«Вот она уже и не Варенька, и никто, кроме меня, не назовет ее Варенькой. И волосы совсем уж седые, а еще и сорока нет...»

Ему было очень жалко Вареньку, потому что он любил ее больше всех на свете и потому что знал, как она бьется, с трудом сводя концы с концами. Он понимал, что невнимателен к ней и детям, что часто он не находит времени, чтобы обратиться к ним с добрым словом, поговорить, обласкать. Иногда, увлекаясь работой, он просто забывает об их существовании, или вспоминает только тогда, когда за перегородкой становится слишком шумно, и он кричит:

— Да тише вы там! С ума можно сойти от такого шума!

Ему захотелось утешить седенькую Вареньку, вознаградить ее за столько лет лишений, терпения и безропотности.

— Лиха беда начало, — говорил он, — теперь я буду все печатать: статьи, повести, трактаты. Скопим денег, купим собственный домик...

Она всегда мечтала о собственном домике, чтобы была у мужа отдельная светелка, чтобы дети могли

громко разговаривать и смеяться, не мешая ему. Она мечтала о тысяче других вещей, таких же несбыточных, как домик: о зимнем пальто для Любаши — ведь уже почти барышня! О козе для Анечки...

— Ты посмотри, на кого она похожа, бедненькая: косточки торчат, в лице ни кровиночки, чуть ножки промочит — кашляет всю ночь напролет... Меня ее кашель как ножом режет по сердцу...

— Ничего, Варенька ты моя, седенькая ты моя старушка! Купим и козу, и пальто, все-все купим, даже, может быть, и фортепиано купим, чтобы девочек обучать, только... дай срок, родная. Потерпи немножко. Мне теперь нужнее всего опыты по сопротивлению воздуха довести до конца. Это целая наука, Варенька, новая наука. Никто, кроме меня, кажется, и не занимался ею. Я такую машину хочу построить, чтобы она создавала искусственный воздушный поток. Таких машин, может быть, и во всем мире нет. Мне на это рублей... ну, может быть, восемьсот нужно или тысячу, не больше... Этого не только на машину, этого и на опыты хватило бы, и на модели, и на гофрировку железных листов для обочечки...

— Тысячу! Господи! — всплеснула руками Варенька. — Да откуда у нас будет тысяча рублей?!

— Я не знаю, откуда, Варенька, только я мог бы тогда все доказать. Тогда бы уж никто не стал оспаривать моих выводов. Ведь воображение людей так слабо развито. Они, может быть, и верят моим расчетам, а представить себе, как все это в жизни будет, не могут. Наука точна. Ни одна отрасль ума не отличается такой точностью. А воображение людей слабо. Вот и надо все не только доказать, но и осуществить самому, ты понимаешь это? Понимаешь?

Она понимала только одно: ни домика, ни козы, ни пальто не будет. Будут новые попытки достать деньги, будут новые машины и модели и будет старая нужда. И еще она понимала, что у Циолковского всегда так: хочет утешить, обрадовать, а получается наоборот, еще хуже расстроит и огорчит...

Желание провести еще некоторые опыты и построить летающую модель аэростата мучило Циолковского все больше и больше. Он терпел, крепился, ждал, что откуда-то появятся деньги. Но деньги не появлялись.

Как-то он составил смету: получилось, что для продолжения опытов по аэродинамике требовалось всего пятьсот — шестьсот рублей. Для изготовления летающей модели аэростата нужно было полторы — две тысячи. «Что это за сумма для России? — думал он. — Неужели во всей богатой России не найдется двух—двух с половиной тысяч ради такого дела, какое я задумал?»

Он написал пространные письма профессору Столетову в Москву, академику Рыкачеву в Петербург, еще в шесть различных научных учреждений. Он просил небольшой ссуды на продолжение опытов по аэродинамике и воздухоплаванию.

Ответил только Столетов. Он писал, что старается ему помочь.

Между тем, газеты и научные журналы все чаще сообщали о том, что то в одной, то в другой стране предпринимаются новые попытки овладеть воздушной стихией. В 1884 году во Франции был испытан и совершил полет воздушный корабль, снабженный электромотором. Этот корабль назывался дирижаблем «Франция». Через три года увлеченный воздухоплаванием доктор философских наук Вельферт демонстрировал на берлинской промышленной выставке свой дирижабль «Дейчланд». В Петербурге создается акционерное общество с основным капиталом в двести тысяч рублей для постройки аэроскафа «Россия» конструкции капитана Костовича. Немецкие газеты сообщают о фантастических проектах пожилого генерала, миллионера Цеппелина, намеревающегося строить грандиозный дирижабль с жестким баллоном. В тех же немецких газетах иногда мелькали странные сообщения, что в России строится, чуть ли уже не построен, металлический дирижабль конструкции Шварца. В Швеции Саламон Андре задумал построить аэростат для полета на Северный

полюс. Миллионер Нобель открыл подписку на этот аэростат. Он первым внес восемьдесят пять тысяч крон. Шведский король — тридцать тысяч, барон Диксон — тридцать тысяч. . .

Каждую такую заметку вырезал Циолковский из газет, несколько раз перечитывал, подчеркивал в ней все, что могло подробнее раскрыть конструкции летательных кораблей. Он понимал: наступила пора генерального штурма неба, не он один, но и многие другие поставили перед собой эту задачу.

Изучая по газетным и журнальным заметкам конструкции различных аэростатов, Циолковский все больше убеждался в преимуществе своей системы. Он ясно видел ошибку Вельферта: баллону его аэростата грозил взрыв. Бамбуковую гондолу не следует накрепко приделывать к мягкому баллону, который в полете мог изменить свою форму. Циолковский написал Вельферту.

Об аэростате Костовича газеты писали мало. Но одного рисунка в журнале «Воздухоплаватель» было достаточно Циолковскому, чтобы определить конструктивные недостатки этого корабля. Он написал Костовичу.

Не вызвало доверия Циолковского и смелое предложение Саламона Андре. Мягкая оболочка аэростата не может сохранить газ в течение целого месяца. Газ вытечет, и аэростат опустится в полярных льдах. Андре должен был строить только металлическую оболочку. Циолковский написал Андре.

Он писал им всем пространно, давал советы, посылал свою книжку об аэростате, свои расчеты и чертежи. Ответов не было: доходили ли его письма? Может быть, он один стоит в необъятной пустыне и кричит во все горло, но никто его не слышит и никому отозваться? И он думал: «Может быть, не я глухой, может быть — все глухие! Весь мир глухой, и никто никого не слышит!»

Как-то после обеда Циолковский работал в своей комнате. Он пытался, может быть, уже в сотый раз гофрировать лист жести. Волнистость не получалась. Звон и грохот разносились по всей улице. Циолков-

ский бил по листу молотком, выгибал его клещами... Все напрасно. Он побагровел от старания. Сбросил с себя рубашку, остался в одних брюках, которые поминутно приходилось поддерживать кверху. Он сделал металлическую палочку, вроде аршина, пробовал сгибать лист вдоль этой палочки то в одну, то в другую сторону. Но ничего не получалось. Он гневно отшвырнул молоток в сторону.

«А, будь проклято все! Разве можно сделать это без специального приспособления? Будь у меня станок для гофрировки железа, я сделал бы эту работу за час, вместо того чтобы биться над нею несколько лет».

И так Циолковскому стало горько, что он бросил все и вышел на улицу.

По серому небу быстро мчались облака. Будет гроза! Парило. Ветер раздувал рубашку. Тянуло за город, в рощу, где нет людей. Навстречу шел почтальон. Он подал газеты, письмо. Газеты Циолковский попросил занести домой. Письмо взял в руки. От кого?... Москва. Ильинка. Наталья Аристарховна... Наташа?

Он не разорвал конверта. Сунул его в карман и побрел прочь от города. Спустился с крутого берега к реке Яченке, впадающей в Оку, прошел мимо мельницы, вышел через плотину на берег Оки. Ока была черной и суровой в этот предгрозовый час. Небо быстро темнело, первые тяжелые капли дождя упали на землю. Но Циолковский не повернул обратно. Он быстро зашагал к бору, который был сейчас темен и грозно шумел листвою. Ливень начался сразу; Циолковский скрылся в бору. Он устроился под широким дубом, сел на сухие, еще прошлогодние, желтые листья. Здесь было темно и сухо. Письмо от Наташи лежало в кармане. Ему хотелось и не хотелось его прочитать. Она помнила о нем. Она помнила о нем все годы. Помнила — значит, верила в него. И вместе с тем письмо это было ни к чему. И сама Наташа была ни к чему.

Только когда гроза прошла и опять стало светлее, Циолковский разорвал конверт.

«Мой старый мечтатель! — писала Наташа. — Хотя вы, наверно, уже порядком пооблезли, стали старым и имеете целую кучу детей, но мне хочется представлять вас таким, каким видела вас Авдотюшка в дни вашей сумасшедшей юности. Я вспомнила о вас потому, что увидела картинку в журнале «Неделя». Там вы нарисованы с бородой и ужасно некрасивым. Может быть, художник все это выдумал из головы. Или он видел вас и рисовал с натуры?.. Но каковы бы вы ни были — с бородой или без бороды, — одно для меня ясно: вы остались все таким же мечтателем и, наверно, дети ваши помирают с голода, а сами вы все еще строите свой воздушный корабль и ищете для этого деньги. Вот про деньги я и собралась вам написать. Я теперь замужняя женщина. Муж мой не то, что вы. Ни о чем облачном не мечтает, но человек он простой и веселый, и мне с ним весело. Может быть, даже веселее, чем было бы с вами, потому что прогулка на несуществующем воздушном корабле, право, несколько не лучше, чем прогулка на обыкновенном пароходе или просто в экипаже, которые уже существуют.

Когда я получила записку, в которой вы звали меня на свой доклад в Политехнический музей, я совсем сошла с ума. Я хотела бежать в капоте, так не терпелось мне вас увидеть. Но в тот вечер случилось ужасное: меня вызвали к отцу. Его поразил удар. Он умер в ту же ночь. Брат мой Миша был зарезан цыганкой через два месяца после смерти отца. Я осталась единственной наследницей. Короче говоря: если соберетесь на астероид, возьмите меня с собой. Мне будет чем оплатить расходы по путешествию, а от мужа я сбегу — он такой растяпа!.. Это шутки. Такие, как вы, шуток не понимают, а я не хочу, чтобы вы обиделись. Но то, что я напишу вам сейчас, — не шутка: мне рассказали, что вы обратились в разные научные общества с просьбой о средствах для научных опытов. Ничего вы от них не получите. Вспомните мое слово! А вот от меня можете получить. Я готова вложить в ваше фантастическое предприятие полторы — две тысячи рублей. При этом я ставлю

только одно условие: приезжайте за деньгами сами. Так дорого я плачу за свидание, которое должно было состояться еще двадцать лет назад».

«Приезжайте сами! Приезжайте сами!..» Циолковский задохнулся от гнева. Он вскочил и стал бегать по лесу, попадая в лужи, в шумные, пенящиеся потоки. «Приезжайте сами! Приезжайте сами!» О, как он хотел бы иметь возможность швырнуть им всем в лицо их жалость, насмешки, сочувствие, обещания, недоверие и поощрения! С какой радостью он отдал бы все, что имеет: свои лучшие мысли и прозрения, свой аэростат и свою мечту о межпланетных сообщениях! Он построил бы им воздушные и космические корабли и сказал бы: «Вот они! Берите! Я построил их для вас, но без вас! Они нужны вам и вашим детям, вашим внукам и правнукам! Я дал все, что могу дать, а мне от вас ничего не нужно!»

Но чем ближе Циолковский подходил к городу, тем все спокойнее становились его размышления. «Она хочет купить меня за деньги! — думал он. — Меня! За деньги!.. Но полторы—две тысячи! Я построил бы станок для гофрировки железа, машину для создания искусственного воздушного потока, летающую модель аэростата... Полторы—две тысячи! И для этого только поехать в Москву!»

Варенька ужаснулась, что он где-то бродил во время грозы, пришел домой мокрый, растрепанный, расстроенный. Она так беспокоилась! Думала идти искать его. Она принялась снимать с него одежду, поить горячим чаем. А он смотрел на нее, на морщинки под ее глазами, на милые морщинки и милые святые глаза, и ему было стыдно, будто он собирался сделать какую-то пакость, будто он собирался продаться за деньги, предать Вареньку, обидеть ее... Он старался быть с нею особенно нежным. Он не пошел к себе работать, а сидел с детьми. Вечером он остался вдвоем с Варенькой, заглядывал виновато в глаза и старался ее веселить. Он чувствовал, как она не приучена к его ласкам и благодарна за них. Все большее отвращение к себе поднималось в нем. Ему хотелось, чтобы как можно дольше тянулась эта

ночь, потому что утром он, может быть, все-таки напишет Наташе, что приедет в Москву.

— Я даже когда на астероиды полечу, возьму с собой только тебя, — говорил он, ласкаясь к Вареньке. — Ну, как я буду там без тебя? Где еще я найду такую женушку, любимая моя, терпеливая, добрая...

Ему было стыдно этих искренних и в то же время льстивых слов, и он решил написать утром Наталье Аристарховне такое письмо, чтобы она позеленела от злости. Он пошлет ее к чорту вместе с ее деньгами и ее желанием увидеться. Он напишет ей, что и без ее денег осуществит свои замыслы... Но знал, что ничего не осуществит, если не будет денег, а денег не будет, если он не поедет в Москву поклониться этой чужой и капризной женщине...

Проснулся Циолковский с отвратительным чувством, будто сделал он что-то скверное и нечистое. Встал с постели раздраженный и желчный. Накричал на Игнатия, который во время завтрака читал учебник.

— Лодырь! — кричал он. — Уроки некогда выучить! Отец из всех сил бьется, чтобы дать вам образование, лишнего молотка себе не покупает, а вы неучами желаете остаться!..

Потом он придрался к Анечке. Она нашла во дворе щепку. А это вовсе не щепка, а деталь прибора для измерения силы ветра. Неужели девочка не могла понять? Неужели в два года нельзя понять, что щепка, а что не щепка?..

В этот же день профессор Столетов сообщил Циолковскому, что общество содействия успехам опытных наук и их практического применения имени Х. С. Леденцова постановило выдать Циолковскому четыреста рублей на сооружение оболочки металлического аэростата. Общество просит, после окончания работы, прислать модель в Москву для ознакомления с нею членов общества, а также прислать отчет об израсходовании средств.

Сразу были забыты Наталья Аристарховна, ее две тысячи и то, что ей нужно писать ответ. В отличном

расположении духа Циолковский отправился в училище. На уроках он смешил епархиалок. Из-под небольшого колокола выкачал воздух и предложил девицам поднять колокол. Весь класс пытался оторвать колокол от подставки, девицы уцепились друг за друга, тянули все вместе, оглашая звонким девичьим хохотом класс и длинные пасмурные коридоры. Надзирательница тихо прошипела:

— На ваших уроках слишком весело, Константин Эдуардович!

А он, смеясь так же весело, как девицы, ответил:

— Познавать тайны природы, госпожа Мартынова, всегда весело. Пусть же радуются девицы. От этого они только лучше поймут и запомнят, как велика сила атмосферного давления...

9.

Получив четыреста рублей, Циолковский принялся за изготовление оболочки аэростата. Он опять почувствовал себя двадцатилетним, стал веселым, неутомимым, предприимчивым. Вставал, как обычно, на рассвете и до начала занятий в училище успевал три-четыре часа отдать любимому делу. После обеда опять принимался за работу, и звон снова разносился по улице. В воскресные дни и праздники Циолковский проводил за верстаком все время. Когда слишком уставал, садился в кресло и писал, положив бумагу на колени. Иногда шел прогуляться в бор; шел с заложенными за спину руками и мурлыкал свои бессловесные песенки. Волосы его были откинuty назад. Он был счастлив.

Однако гофрировка железных листов попрежнему не ладилась. Однажды Циолковский почувствовал боль в животе. Боль была такой сильной, что он вынужден был лечь и весь день пролежал на верстаке, покрыв его пледом. От своей работы уходить ему не хотелось, но ни стоять, ни сидеть он не мог.

Доктор нашел у Циолковского пупочную грыжу, пожурил и посоветовал купить бандаж.

За бандажом Циолковский пошел к Каннигу. В аптеке Каннига, как всегда, было пусто: ни покупателей, ни продавцов. Входная дверь, когда ее открывали, задевала колокольчик, и колокольчик мелодично звонил. На звон не вышел никто. В аптеке было чисто, пахло лекарствами, дневной свет искажался сосудами с разноцветными жидкостями, стоявшими в окне.

Циолковский прошел в заднюю дверь. Павел Павлович был в своей каморке. Он замахал Циолковскому руками, чтобы тот шел быстрее, и когда Циолковский подошел к его столу, заставленному колбами и ретортами, Канниг сказал торжественно:

— Так рождается самое великое открытие, следящее смертным!

Он снова занимался расщеплением атома. Циолковский просил его рассказать: как он думает этого добиться, на каких принципах, чего ищет?

— Не надо! — сказал Канниг. — Не спрашивайте меня ни о чем. Пока это тайна. Я все открою вам, когда добьюсь определенного результата. Может быть, это будет не скоро.

В аптеку он не вышел.

— Тетя Оля! Тетя Оля! — кричал он, не поднимаясь со стула. — Отпустите бандаж Циолковскому!

Тетя Оля была маленькая женщина с седыми завитушками под черной кружевной наколочкой. Она поворчала на племянника, что он совсем забросил аптеку, и показала бандажи.

Бандажи не понравились Циолковскому. Он сам делает себе бандаж.

Дома он взял проволоку, пружинку и сделал бандаж, которым был очень доволен. Говорил, что чувствует себя отлично.

Опять по всему дому пошел звон и грохот. Но как ни бодрился Циолковский, физическая работа становилась для него все тяжелее. Он никому не говорил, что часто чувствовал себя совершенно изнеможенным и обессиленным.

Варенька замечала, просила:

— Да отдохни часок. Посмотри на себя, заму-
чился, хоть бы прилег немножко...

Он сердился и кричал:

— Оставишь ли меня в покое? Деваться некуда
от твоих забот!

Но однажды он спросил у Ассонова, не знает ли
тот слесаря, который согласился бы за невысокое
жалованье помогать ему.

— Знаю, — сказал Василий Иванович, — молодень-
кий парнишка, семнадцать лет всего. Работает в
железнодорожных мастерских. Мой сосед. Иногда за-
ходит. Я ему книжки даю читать.

Через два дня явился к Циолковскому долговязый
паренек с голубыми глазами и мягкими светлыми
волосами. Он был одет в черную косоворотку, под-
поясанную шнурком.

— Слесарь? — спросил Циолковский.

— Угу.

— Деньги нужны?

— Угу.

— А плотничать умеете?

— Угу.

Это «угу» звучало у него странно. Упрямое и
мрачное слово расцветало в устах этого парнишки.
Оно озарялось простодушной и радостной улыбкой,
молодостью, жизнерадостным свечением голубых
глаз.

Звали парнишку Никитой Балашовым. Был он
молчалив, но эта молчаливость была веселой и при-
ветливой. Казалось, в любом разговоре принимает он
живое участие, но не словами, а выражением лица.
На этом выразительном лице ясно обозначалось все:
удивление, радость, разочарование, любопытство.

Никита понравился Циолковскому. Он все умел
делать, всякая работа спорилась в его руках. Он лю-
бил молоток и рубанок; и инструменты, казалось,
любили его.

С болтливым помощником не ужился бы Циол-
ковский. Иногда Циолковский молчал целыми днями.
Никита не мешал молчать. В другой раз наоборот —
Циолковский часами рассказывал все, что взбредет

в голову. Никита не мешал рассказывать. Он слушал так, что хотелось говорить и говорить...

Однажды Никита предложил Циолковскому переделать токарный станок. Предложение было остроумное. Циолковскому понравилось. Не прошло и нескольких дней, как Никита принес новое предложение: изменить способ пайки железных листов для модели оболочки аэростата. Циолковский пришел в восторг. Он целовал своего помощника, хлопал его по плечу, потом позвал детей, Вареньку и торжественно заявил:

— Носите его на руках, господа Циолковские! Угощайте его яблоками! Поставьте ему памятник! Это не Никита, а чорт его знает кто! Может быть, Ломоносов или Стефенсон!

Детство Никиты было нелегким. Он вырос в семье железнодорожника. Отец был горьким пьяницей; пьяный, избивал жену и сына. В дни получки мать брала маленького сына на руки и пряталась у соседей. Иногда мать горько плакала — хлеба не было, не было счастья, любви, жизни. Но отчаивалась она недолго. Если муж неделю не пил или уезжал на линию, женщина оживала, молодела, пела песни, рассказывала сыну сказки, ходила с ним в лес по грибы и ягоды и там играла в пятнашки и шалила, как девочка.

Когда отец Никиты попал под поезд, мать стала зарабатывать шитьем. Жили очень бедно. Сын выучился читать — мать слушала. Сын пел — мать подпевала. Она ничего не жалела для него, старалась угадать каждое его желание. А желаний у него было много. Он хотел стать ученым. Он хотел прочитать все книги, которые есть на свете. Хотел знать все, что делается в мире. Шалить не любил, сверстники называли его профессором.

В двенадцать лет Никита поступил учеником в железнодорожные мастерские. Прозвище «профессор» так и осталось за ним. Старые мастера относились к нему с уважением, им казалось, что он всё знает и всё читал. Никита стал самоуверен. Он поверил, что знает больше других и ждет его особая судьба.

Годы шли. Поступить учиться не позволяла нужда. Мать болела, зарабатывать не могла. Никита читал все больше. Знакомство с Василием Ивановичем Ассоновым показалось ему удивительным счастьем. В субботние вечера он приходил в кабинет Ассонова. Ассонов разрешал ему лазать по книжным шкафам. Никита забирался в кресло, скорчивался там, как обезьянка, и готов был просидеть до утра, глотая книжку за книжкой с такой жадностью, с какой задыхающийся глотает воздух.

Но чем больше читал Никита, тем больше убеждался в своем невежестве и тем больше тянулся к знаниям.

Он был горд и не любил встречаться с мальчиками — сыновьями Ассонова и сыновьями Циолковского. В глубине души он был убежден, что талантливее их, сильнее, ярче. Ему было обидно, что они, а не он ходит в гимназию. Что их, а не его ждет университет. И он избегал с ними встречи.

Попав в дом Циолковского, Никита сразу же влюбился в Константина Эдуардовича. Всякое слово Циолковского казалось ему непреложной истиной. Познания Циолковского представлялись Никите безграничными. Его мудрость не имела предела. Никита хотел подражать Циолковскому во всем. Циолковский был тоже самоучкой, не кончил ни гимназии, ни университета. И Никита, как Циолковский, накопит знания и мудрость и, как Циолковский, откроет миру великие истины.

Но пока ни Циолковский, ни Никита не могли придумать такого приспособления, с помощью которого можно было бы гофрировать металл для оболочки аэростата.

Выручил Хаим Беркович.

Знакомство с Хаимом Берковичем произошло в середине лета. Три недели не было дождя, не пролилось на землю ни капли влаги. Город был окутан пылью. Пыль клубилась над рыночной площадью. Жара всех разморила. Торговцы сидели в своих лавках, сверкающие от пота. Ленились даже зазывать покупателей и подниматься им навстречу. И покупа-

телей было мало. Какой сумасшедший будет слоняться в такой день по рынку?

Хаим Беркович сидел под своим навесом. На прилавке был разложен весь его немудреный товар: ломаные звонки, мотки ржавой проволоки, старые замки, негодные напильники, колесики от часов, скелеты зонтиков, медные позеленевшие кастрюли.

Хаим Беркович называл свою торговлю магазином, а старье, которое он продавал, — товаром. Беркович сидел, сдвинув пыльный котелок на затылок, большим красным платком он поминутно утирал лоб, а левой рукой пощипывал черную курчавившуюся бородку.

— Ой-тайра-тайра-тайра, — напевал он, — зачем бедному еврею дана жизнь, если он не знает, как ее прожить?.. Ой-тайра-тайра-тайра...

К нему-то и направился Циолковский. Он приходил к Берковичу часто. Среди металлического старья можно было найти много предметов, которые годились для опытов и моделей. Беркович знал, что Циолковский — учитель, несколько раз пробовал заговорить с ним, но Циолковский оказывался в дурном настроении и отвечал коротко и нехотя. Гордый и не назойливый, Беркович понимал, что господин учитель не хочет водить с ним знакомство, и не навязывался. «Нет, так нет, — говорил он себе, — лишь бы продолжал покупать товар и платил за него подороже».

Он встал навстречу Циолковскому и приподнял котелок:

— Мое почтение господину учителю. Можно сказать, припекает, как грешника в аду!..

Беркович не умел говорить тихо. Он всегда кричал, сопровождая свои крики такой выразительной мимикой, что если даже не слышать ни одного слова, то по движениям его рук и мускулов лица можно было понять все, что он хочет сказать.

Циолковский выбрал из груды металлического старья моточек проволоки:

— Сколько просите?

— Ха! Сколько я могу просить? — сразу оживился Беркович и засверкал черными, умными, с хитринкой глазами. — Вы сначала посмотрите, какая это прово-

люка! Видели вы когда-нибудь такую проволоку? Это же мед, а не проволока. И только — четыре копейки.

— Четыре?

— Мой товар — ваши деньги! Хорошо. Я вам уступлю полушку, пусть мне будет в убыток.

Запрашивал он всегда ровно в два раза больше, чем товар стоил, и начинал уступать в тот же самый момент, когда называл цену.

— Мне кажется, что и две копейки... — начал было Циолковский.

— Хорошо! Пусть постоянному клиенту будет три!

Берковичу нравилось, что Циолковский торгуется и долго роется в «товаре». Значит, понимает в нем толк. Он решил опять повторить попытку сблизиться с постоянным покупателем:

— Позвольте у вас спросить, господин учитель, зачем это вы покупаете столько разного товара? Я не скажу, что мне это плохо. Мне это очень даже хорошо. Но мне интересно, что это такое вы там у себя делаете, господин учитель?

— Я делаю воздушный корабль, — ответил Циолковский.

— Ха! Воздушный корабль! И куда же он поплывет, ваш воздушный корабль?

— Он может поплыть в Америку, в Африку, куда хотите, а потом я придумаю другой корабль, который отправится на Луну, Марс, на любую планету...

— И сколько же, простите, будет стоить съездить, скажем, на Луну и обратно?

— Этого я вам пока не скажу. Еще не подсчитал.

— Если не очень дорого, господин учитель, так вы запишите Хайма Берковича. Пусть уж я съезжу на Луну. Пусть и на Луне будет хоть один бедный еврей.

После этого разговора Беркович стал относиться к Циолковскому как к старому знакомому. Ему нравилось поболтать с чудаком-учителем, когда тот был веселым и разговорчивым.

— Как ваш корабль, господин учитель? — спрашивал Беркович. — Я для вашего корабля достал такой старый зонт, что вы пальчики оближете. Не зонт,

а золото! Из такого зонта, господин учитель, можно сделать хоть корабль, хоть поезд, хоть пароход, хоть что вам будет угодно, такой это золотой зонт!..

— Это хорошо, Беркович, зонт мне тоже пригодится, но сейчас я ищу другого. Не попадалось ли вам какое-нибудь приспособление, чтобы можно было ровно сгибать железный лист, придавать ему волнообразную форму? — и он тут же, на прилавке, начертил Берковичу, как должен сгибаться лист.

— Ха! — сказал Беркович и сдвинул котелок. — Почему вы мне не сказали раньше?

— А что? Вы знаете такое приспособление?

— Нет, пока не знаю, — признался Беркович, — но не будь я Берковичем, если не узнаю. Чего не сделает Беркович ради постоянного покупателя?.. Ха! Кто бы мог подумать, что в нашем городе строится воздушный корабль? Можете быть совершенно спокойны, господин учитель, завтра у вас будет то, что вам надо.

И, действительно, на следующий день он встретил Циолковского с ликующей улыбкой и песней, похожей на молитву:

— Ой-тайра-тайра-тайра, чего не может достать Беркович? Беркович может достать все на свете. Ой-тайра-тайра-тайра, все, кроме денег и хлеба...

И он торжественно поднес Циолковскому маленькую деревянную машинку, некогда предназначавшуюся для прокатывания гофрированных крахмальных воротничков.

Циолковский вертел машинку в руках и не мог сразу сообразить, как она будет действовать.

— Не беспокойтесь, господин учитель, — кричал Беркович, — это как раз то, что вам нужно. Я закрываю свой магазин, и убей меня бог, если я не пойду вместе с вами и не покажу, как действует эта чертовщина! Я тоже немножечко изобретаю и кое-что смыслю в этом деле.

Он не стал ожидать согласия Циолковского, поспешно закрыл свой «магазин» и, взяв в руки палку, пошел вместе с Циолковским, рассказывая по дороге о том, что и как он «немножечко» изобретает.

Изобретал он всю жизнь, лет с семнадцати. Изобретал всегда одно и то же: деньги! Ему всегда нужны были деньги. Ему нужны были деньги, когда его отец, старый горбатый синагогальный служака, сказал: «Хайм! У тебя растут усы! В твои годы я уже зарабатывал!..» Ему нужны были деньги, когда он полюбил некрасивую и костлявую дочь резника и решил на ней жениться... Еще нужнее стали деньги, когда молодая жена стала каждый год рожать по сыну. «Восемь сыновей, слава богу, — говорил он, — не всякому отцу такое счастье!»

Войдя в комнату Циолковского, Беркович остановился, пораженный: многочисленные приборы, машины, непонятные предметы были сделаны из тех проволочек, зонтичных спиц, колесиков от часов, кусочков жести, из всего того старья, которое он один только и называл «товаром». Лишь здесь, в комнате Циолковского, он впервые увидел свой «товар» в его новом значении и сразу почувствовал, что занятие старьевщика — это не просто дело, к которому прибегают только от нищеты; он увидел, что это нужное дело, не лишенное благородства и пользы. И уже за одно это он был благодарен Циолковскому.

Циолковскому не терпелось скорее испробовать, как действует машинка. Взяли лист жести, разрезали его на узкие полоски. Машинка работала отлично. Полоски становились волнистыми. Циолковский ликовал. Ему хотелось сделать Берковичу что-нибудь приятное. Он рассказал ему подробнее о своем проекте аэростата, объяснил модели, подарил книжку «Аэростат металлический, управляемый». Потом он напоил Берковича чаем и за чаем продолжал рассказывать о своих планах, о намерении сделать специальную машину для изучения воздушного потока, так как без знания всех законов движения предметов в воздухе нельзя считать себя властелином воздушных просторов.

Для новой машины нужно было подобрать вентилятор.

— У вас будут вентиляторы, господин Циолковский, — сказал Беркович. — Все вентиляторы, какие

есть в городе, будут у вас. Ха! Кто бы мог подумать, что в нашем городе живет такой ученый? И хорош тоже Хайм Беркович — полгода имеет с вами дело и не знает, какой у него клиент.

Беркович ушел от Циолковского полный надежд. — Ай-яй-яй-яй, — повторял он всю дорогу. Других слов он не находил. В этом возгласе было все. Он чувствовал, что впереди его ждут счастье и богатство. Он будет строить дирижабли вместе с господином Циолковским. Вот что будет делать Беркович. И когда-нибудь, кто знает, не захочет ли сам господин Ротшильд посватать свою дочь, если у него есть дочь, за одного из сыновей Берковича, даже, может быть, за самого золотушного из них — Иоську!

Всю ночь Берковичу виделось синее небо и мчащиеся по нему, как облака в жаркий день, громадные серебристые гофрированные корабли.

С самого утра он побежал разыскивать по городу вентиляторы. Ему так хотелось услужить Циолковскому, что он действительно готов был скупить все вентиляторы в городе.

К концу дня он принес Циолковскому шесть старых вентиляторов.

Циолковский был не один. С ним работал Никита. Никита засучил рукава. Его движения были ловкими и радостными. Он гофрировал полоски жести. Циолковский скреплял их вместе. Работая, он рассказывал Никите о будущем.

— Это будет великолепное время! — говорил он. — Солнечные двигатели в среднем дадут около двенадцати килограммометров непрерывной работы на каждый квадратный метр почвы. Ты представь себе, что это значит. Это значит, что каждый человек на своем акре земли будет иметь себе в помощь шестнадцать лошадиных сил... Что вы сидите без дела, Беркович? Можно слушать и крутить барабан.

Беркович глубоко вздохнул. Он сказал:

— Если бы мне такую голову, как у вас, я был бы уже Ротшильдом и, так уж и быть, я дал бы вам сто тысяч рублей, чтобы вы построили свой дирижабль...

— Но я не умею зарабатывать деньги, — ответил Циолковский. — Я, наверно, такой же неудачник, как и вы, Беркович. Я всю жизнь изобретаю, но где они, мои изобретения? Их нет, Беркович... А, может быть, они есть? Может быть, люди просто не доросли еще, чтобы понять мои изобретения? А?

— Разные бывают люди, господин Циолковский, — заметил Беркович. — Что касается бедного еврея Хаима Берковича, то пусть над ним смеются соседи, пусть он самый нищий из всех нищих, но он понимает, с кем имеет дело. Ха! Беркович умеет разобратся в людях. Я предоставляю вам со всех своих товаров пятьдесят процентов скидки, господин Циолковский, потому что такой вы человек. Когда-нибудь и вы мне что-нибудь сделаете. Я, конечно, должен был бы скинуть вам еще процентов сорок. Разве я не вижу, что вы работаете не для себя, а для всех людей? Но войдите в мое положение: если вы покупаете у меня за три копейки проволоку, то как я могу скинуть вам больше пятидесяти процентов, когда у меня восемь голодных ртов и скажу по секрету, что девятый тоже скоро будет, такая у меня жена, дай ей бог счастья. Только и делает, что рождает, другого дела она не знает.

Торговля Берковича совсем захирела. Посидит Беркович в своей лавчонке до полудня, плюнет и идет к Циолковскому. У Циолковского он снимает длинный скруток, бережно складывает его на табурете, кладет сверху котелок и, засучив рукава рубашки, принимается за работу. Сарра приходила на рынок проверять мужа: сидит или не сидит? Видя, что лавчонка закрыта, она громко сетовала на судьбу, а вечером устраивала мужу грозу с промом и молнией, проклинала его, божилась, что уйдет от него и оставит его самого кормить восьмерых шалопаев и девятиго шалопая, который скоро родится. Но он стойко переносил ее упреки и напевал в свою курчавую бороду: «Ой-тайра-тайра-тайра, что понимает глупая женщина? Что она скажет, когда ей дадут шестнадцать лошадиных сил солнечной энергии за самую недорогую цену? Ой-тайра-тайра-тайра...»

Через четыре месяца модель оболочки дирижабля была готова. Втроем упаковали ее в ящик, забили ящик гвоздями и все трое поехали на вокзал отправлять модель в Москву.

Вместе с моделью в Москву был отправлен счет в израсходовании полученной суммы. Модель обошлась не в четыреста рублей, а в пятьсот восемнадцать рублей шестьдесят копеек.

Незадолго до окончания модели Циолковский узнал о жизни, смерти и трудах Отто Лилиенталя. Этот отважный воздухоплаватель поставил перед собой задачу изучить тайну полета птиц. Он сооружал себе крылья и совершил более двух тысяч полетов на этих крыльях, постигая законы воздушных течений и скольжения плоскости по воздуху. Один из таких полетов был для него смертельным.

В то время еще ни одна машина тяжелее воздуха не поднималась над поверхностью земли. Сообщения газет и журналов о Лилиентале, а также о последователях и учениках Лилиенталя в Европе и Америке, навели Циолковского на размышления: как должна быть устроена птицеподобная машина.

Отослав в Москву модель оболочки дирижабля, Циолковский целиком погрузился в разрешение этого вопроса. Он опять стал замкнутым и неразговорчивым. Однажды, войдя в его комнату, Варенька даже испугалась. Он сидел за столом и что-то писал. Лицо его в это время было чужим, не похожим на лицо Циолковского. Оно вдруг стало совсем старым и некрасивым. На нем появилось какое-то новое выражение, недоброе выражение человека, замкнувшегося в себе, враждебного ко всему внешнему, страдающего от чего-то и что-то преодолевающего. Были плотно сжаты губы. Взгляд отрывался от бумаги, устремлялся неизвестно куда и на что.

Варенька подумала, что он заболел, плохо себя чувствует. Она окликнула его. Он не услышал. Она подошла и ласково положила руку на его плечо. Он вскочил, как будто его ударили. Взглянул на Вареньку с такой неприязнью, что она отступила. Но быстро овладел собой и только выдавил с отвращением:

— Сколько раз я просил тебя: не мешай мне, пожалуйста, когда я работаю. Сделай одолжение, уйди. . .

Он написал большую статью: «Аэроплан, или птицеподобная летательная машина». В этой статье он дал схему аэроплана, указал, что в качестве двигателя годится только мотор внутреннего сгорания. Он придал обтекаемую форму аэроплану, крылья сделал утолщенными, поставил машину на колеса.

Статья об аэроплане была опубликована в журнале и издана отдельной книжкой. Она осталась безответной. Никто с автором не спорил, никто не поддерживал и не опровергал его доводов. Будто канула эта статья в море и лежит там, на дне, и только бессловесные рыбы шевелят ее страницы.

Жуковский был за границей. Столетов умер.

Смерть Столетова Циолковский воспринял как смерть самого близкого человека. Он заплакал. И не стыдился своих слез. Был при этом один Никита. Он подошел к Циолковскому и не знал, чем утешить его. Циолковский сидел в кресле. Его широкие плечи тряслись. Никита стоял над ним, высокий, по-мальчишески угловатый. Он растерялся. Он не умел утешать. Он положил руку на плечо Циолковского и хотел сказать:

«Ну, что вы, Константин Эдуардович! Ну, не надо плакать!»

Но он не сказал этого, он только держал свою руку на его плече. И Циолковский взял эту руку и прижал ее к своей щеке. И эта странная, не высказанная обоими ласка крепко и надолго связала их.

Через некоторое время пришло письмо из Москвы. Общество имени Леденцова сообщало, что модель и приложенный к ней отчет господина Циолковского получены и рассмотрены на заседании специальной ученой комиссии. По единодушному мнению членов этой комиссии, волнистая оболочка дирижабля не имеет никакого практического значения, так как при остановке и опоражнивании дирижабля оболочка сомнется и сделается негодною к дальнейшему употреб-

лению. «Так как средства, отпущенные обществом, израсходованы господином Циолковским по назначению, — говорилось в письме, — хотя и без практической пользы для науки, комиссия признала справедливым средства эти с господина Циолковского не взыскивать».

Вечером, как обычно, к Циолковскому пришли Никита и Беркович. Пришел и Василий Иванович Ассонов.

Циолковский рассказал про письмо.

Беркович сразу воскликнул:

— Чтобы им на том свете видеть столько радостей, сколько они понимают в оболочках!.. Может быть, вы не туда послали, господин Циолковский? Может быть, ошиблись адресом? Может быть, они такие же ученые, как моя Сарра?

Ассонов тяжело молчал. Никита стоял в стороне, около окна. Он смотрел только на Циолковского. Он чувствовал, что Циолковский поднимет голову, так низко опущенную над столом. Он уже знал Циолковского. И Циолковский, действительно, поднял голову и, гордо откинув назад, обвел всех глазами.

— Пора спать, господа. Завтра всем нам надо работать!

Ассонов и Беркович ушли. Никиту Циолковский задержал.

— Постой, Никитушка. Я должен тебе сорок рублей. Вот — тридцать. Остальные отдам через несколько дней.

Никита сказал:

— Не возьму.

— Почему не возьмешь? Четыре месяца работал! Ты что? Тебе деньги не нужны? Благодетель какой!

— Не возьму, — повторил Никита упрямо, — как хотите, хоть выгоняйте, а не возьму.

Циолковский расшумелся. Ему сейчас нужно было пошуметь. Он топал ногами, кричал, что Никита мальчишка, чорт знает что о себе думает. Отчего он все время молчит? Почему он не выскажет прямо, что жалеет Циолковского? Какое он право имеет его жалеть? Чтобы больше ноги Никиты не было на этом

пороге! Чтобы он убирался вон, только деньги... деньги пусть забирает, чорт побери...

Никита никогда не видел Циолковского в таком раздражении. Циолковский ни разу не кричал на него. Никита стоял растерянный, опустив руки. Его большие глаза были широко раскрыты. Он стал вдруг маленьким мальчиком, которого зря обидели.

Никита взял деньги и ушел.

А на следующий день он пришел и принес новый паяльник, тиски, чудесные листы железа, напильники, клещи, фанеру, столярный клей.. Принес целый ящик вещей, купленных в гостинном дворе, — и остановился в дверях, не решаясь войти. Циолковский ждал его. Он бросился к нему навстречу:

— Никитушка! Мальчик мой! Прости меня, старого дурня. Я только ночью понял. Я все лежал и думал. Я о себе думал. Вот, побили меня опять. Не поняли. А мне — ничего. Я все равно не согнусь. Буду опять работать, изобретать, трудиться! Потому что я знаю, для кого работаю. Для тех, кто будет жить после нас! Для миллионов людей, которые будут счастливыми, богатыми, сильными. Почему же я тебя обидел? Почему я тебя хотел этой радости лишить: для них работать?... Ты прости меня, Никитушка, я как-то просто не сообразил всего этого...

Был час заката. Далеко за Окой на потемневшем небе умирал, но еще не умер отблеск ушедшего за горизонт солнца.

— Разве можно победить солнце? — спросил Циолковский. — Разве можно забить солнце за горизонт и сказать ему: не всходи! Так же нельзя остановить человеческий разум. Завтрашний день ждет нас, Никитушка!

Никита Балашов вел дневник. Однажды он долго топтался около Циолковского, что-то хотел и не решался сказать. Потом покраснел, как могут краснеть только самые светлые блондины. Он протянул Циолковскому школьную тетрадку, нерешительно попросил прочитать ее и сказать свое мнение.

Никита писал:

«Я хочу стать большим ученым, потому что твердо решил, что если Константин Эдуардович не успеет за свою жизнь построить межпланетный корабль, то такой корабль должен построить я. Только я думаю, что он и сам успеет. Он очень настойчивый. А если человек очень хочет чего-нибудь и настойчивый, то он обязательно добьется своего. У меня есть только одно разногласие с Константином Эдуардовичем. Он думает о десятых поколениях, а я хочу думать и о нашем поколении. Я сам хочу полетать на дирижабле и побывать на астероидах...

...Константин Эдуардович озлоблен на людей. Он считает, что люди его не понимают. Но это неправда. Я его понимаю, и Василий Иванович понимает, и ученые, наверно, понимают, да только никто из нас ничего сделать не может, потому что виноват общественный строй. Если бы я умел говорить, то обязательно рассказал бы Константину Эдуардовичу, что писал по этому поводу Н. Г. Чернышевский, который попал за свои мысли в Петропавловскую крепость, а потом в ссылку. Я думаю, что только тогда, когда вся власть в России перейдет народу, как это было в Париже во время коммуны, только тогда люди смогут построить дирижабли и всякие другие воздушные корабли...»

Циолковский читал, а Никита нарочно как можно громче стучал молотком и все время стоял спиной к Циолковскому, не решаясь взглянуть в его сторону — вдруг Циолковский смеется.

Но Циолковский не смеялся. Он прочитал всю тетрадь, но еще некоторое время сидел молча, не поворачиваясь. Потом медленно встал, отодвинул кресло, подошел к Никите.

— Эх, Никита ты, Никита, — сказал он задумчиво. — Может быть, ты и прав... — Он надолго замолчал, потом сказал: — Что ж, у каждого свой путь, Никитушка. Я свой путь выбрал, а ты — не знаю. Что ж — выбирай.

Больше он ничего не сказал о дневнике Никиты. Но по какой-то не осознанной им самим связи открыл

книжный шкаф и стал подбирать для Никиты книги. Книги он подобрал ученые: механика, математика, астрономия.

— Разбираешься? — каждый раз спрашивал он, протягивая книгу. Никита перелистывал книги и честно говорил:

— В этом разберусь, а вот здесь формул уж очень много. Формулы меня прямо ужас как сбивают...

Когда Никита ушел, Циолковский продолжал думать о нем и о его тетрадке... Вот, оказывается, какой Никита! Вот о чем он размышляет! И, может быть, не один он. Может быть, сотни или даже тысячи таких молчаливых, застенчивых, голубоглазых, в рубашках, опоясанных шнурочком, ждут, чтобы Циолковский скорее довел до конца свои работы. Значит, Циолковский для них работает. Для них проводит опыты, пишет статьи и книжки. Не для академиков и профессоров, а для застенчивых юношей, которых «формулы прямо ужас как сбивают»... Что ж, значит, надо поменьше формул в статьях и книгах. Но как обойтись без формул? Формулы — язык математика, физика, механика, астронома... Это трудный язык, тем более, что условные обозначения формул заимствуют слова из разных языков... Хорошо, Циолковский облегчит этим юношам понимание его трудов. Он откажется от международных формул, понятных только академикам и профессорам. Он введет новые формулы. Они будут использовать только русские слова. Расстояния он станет обозначать верстами, площади — десятинами, вес — фунтами и пудами. Ученые, конечно, обидятся. А ему наплевать. Зато будут благодарны те, которые ждут его работ и верят в них. Им жить! Им идти в будущее!..

С того времени он во всех своих работах писал формулы только русскими буквами.

После ответа из Москвы по поводу оболочки дирижабля Циолковский с новым увлечением занялся изучением сопротивления воздуха и воздушных потоков. Но чем больше он занимался этими вопросами,

тем меньше удовлетворяла его самая технология опытов. Только создав искусственный воздушный поток, можно было добиться абсолютной точности вычислений и выводов. Если он хочет установить и открыть законы движения тел в воздухе, он должен создать воздуходушную машину. Такой машины не существовало. Она должна существовать, и Циолковский может ее построить.

Он послал письмо в Академию наук и в Императорское техническое общество, прося отпустить средства на постройку воздуходушной машины: рублей пятьсот—шестьсот. Ответили отказом. Он созвал семейный совет.

В его комнату явились все: Варенька, Любаша, Игнатий, Мария, Саша и младшие — Аня и Ванечка. Дети были разными. Разные характеры, разные лица. Циолковский удивился: как дороги они все ему, и как мало он знает их! Меньше, чем Никиту.

Дети вошли торжественные, недоумевающие. Первый раз в жизни отец собрал всех вместе. Понимали, что разговор будет серьезный, касающийся всей семьи.

— Садитесь, господа, — сказал Циолковский. — Я собрал вас, чтобы поставить перед вами один очень важный вопрос. Я хочу устроить воздуходушную машину. Таких машин еще не существует. Вы, господа гимназисты, должны прекрасно понимать, какое значение для науки могут иметь мои опыты, проведенные с помощью этой машины. Прежде всего, можно будет точно установить, какая самостоятельная скорость требуется для всякого воздушного корабля, чтобы он мог успешно бороться с любыми неожиданностями, подстерегающими его в воздухе. Это первое. Не менее важный вывод, который мне, возможно, позволит сделать воздуходувка, будет касаться формы воздушного корабля, — какая форма лучше всего преодолевает сопротивление воздушной среды. И вообще, молодые люди, только с помощью воздуходушной машины учение о движении предмета в воздухе можно поставить на строго научный фундамент. Я полагаю, что говорю достаточно понятно.

Для постройки воздуходувки мне требуется немало денег. У нас их нет, господа. Я могу их сэкономить из своего заработка, если вы, поняв значение моей работы, согласитесь пойти на некоторые жертвы. Вам придется на время отказаться от сладкого, от карманных расходов, от покупки новой одежды, от яблок, ну, я не знаю, от чего там еще... Согласны ли вы, господа?

Дети сидели не шевелясь. Внимательно слушали отца. Конечно, они были согласны. Как он мог спрашивать об этом?

Когда все уже расходились, замешкались старшие: Люба, Игнатий, Сашенька. Люба была некрасивая, худая, близоруко щурилась. Она сказала с ненавистью:

— Они поплатятся за это!

— Кто они? — не понял Циолковский.

— Те, по чьей вине ты не имеешь денег для своей работы, отец!..

Игнатий был высоким, слишком высоким. На его бледном красивом лице двумя чрезмерно большими пятнами выделялись грустные, задумчивые глаза. Сашенька — совсем другой. Он темнее, значительно ниже, шире в плечах. В нем было что-то упрямое, отцовское.

Он сказал:

— Папа, мы с Игнатом решили искать уроков. Все-таки лишние деньги тебе пригодятся...

Но, как ни жалась семья, как ни урезала свои расходы, денег на постройку воздуходувки не хватало.

Безденежье Циолковского заботило Асонова. Но что он мог сделать? Сбережений у него не было тоже. Он мог писать письма. И он писал всюду. В Петербург, Москву, в Париж, в Лондон. Всем он рассказывал о бедственном положении талантливого русского изобретателя-самоучки. Он был мастером эпистолярного слога, и письма его производили сильное впечатление. Высокопоставленные и просвещенные друзья Асонова отвечали ему пространными письмами, возмущались положением дел в России, со-

чувствовали настойчивому самоучке, но ничем помочь не могли.

— Только два человека могли бы помочь, — говорил Асонов. — Один — это государь император, а другой — Павел Павлович Канниг.

Но Канниг был так же недоступен, как и государь император. Он затворился в своей каморке, позади аптеки, и ничто извне не могло нарушить его добровольного заключения у стола со спиртовкой и склянками.

Как-то в Калугу приехал Голубицкий. Десять лет не видел его Циолковский. Но эти десять лет были забыты и зачеркнуты, как только Циолковский увидел седые виски и внимательные умные глаза Голубицкого.

Опять, как и десять лет назад, разговор затянулся на всю ночь.

— Десять лет! — говорил Циолковский. — Подумать только: десять лет! А что изменилось в моем положении? Та же нищета, нужда в каждой копейке, невозможность осуществить свои замыслы, которые, знаю и верю, нужны людям... Иногда мне кажется: я вечный путник. Вечно сижу где-то на маленькой станции и жду поезда. Рядом со мной мои чемоданы, мне холодно и хочется скорее домой, а поезда все нет. Утешаешь себя, что сейчас поезд придет, что надо еще немного подождать, что вот-вот раздастся долгожданный гудок паровоза. Но поезда все нет и нет. Его не было двадцать с лишним лет назад, когда я бродил по Москве, раздумывая, стоит ли жить. Его не было и десять лет назад, когда я, вернувшись в Боровск из Москвы, увидел пепелище своего дома. Поезд не пришел до сих пор. Может быть, распаковать чемоданы, мой дорогой Голубицкий? Может быть, укладываться спать на жесткой станционной скамейке и заказать водки, чтобы не было так скучно, и перекинуться в картишки с сонными путниками?.. Нет. Меня несколько не страшит критика моих работ. Меня страшит мое полное одиночество, замалчивание и мое бессилие. Хотя бы где-нибудь нашли мои работы отзвук. Даже камень, бро-

шенный в воду, оставляет круги, и они расходятся по воде все шире и шире. Почему же мой двадцатилетний труд не может вызвать хоть слабого всплеска? Основной мотив моей жизни — сделать что-нибудь полезное для наших детей, продвинуть человечество хоть немного вперед. Поэтому я занимаюсь тем, что не дает мне ни хлеба, ни силы. Я давно бы уже бросил все, если бы не верил, что когда-нибудь, может быть скоро, а может быть в отдаленном будущем, мои работы дадут человечеству горы хлеба и бездну могущества...

От Голубицкого Циолковский узнал подробности о дирижабле Шварца. Русские газеты почти ничего об этом не писали. То, что рассказал Голубицкий, было для Циолковского совершенно неожиданно и глубоко потрясло его.

Голубицкий рассказал, что ровно через год после того, как Императорское техническое общество отказало в помощи Циолковскому и петербургские правительственные круги не пожелали даже обратить внимание на проект дирижабля Циолковского, в Россию, по приглашению военного министра Ванновского, приехал австрийский лесничий Давид Шварц. За десять тысяч рублей он брался построить России металлический дирижабль. Хотя никто не видел проекта этого дирижабля, не существовало ни моделей его, ни точных расчетов, Шварцу были тотчас отпущены десять тысяч рублей, предоставлена территория на Волковом поле в Петербурге и даны рабочие. Началась постройка дирижабля. Первоначальная смета в десять тысяч рублей оказалась совершенно не реальной. За первыми десятью тысячами последовало еще столько же, потом еще. Из-за границы был привезен листовой алюминий. Десятки рабочих на заводе Пульмана и в специальных мастерских воздухоплавательного парка строили стальные детали воздушного корабля. Те же самые люди, которые с недоверием и невниманием отнеслись к работе Циолковского, по отношению к иностранцу Шварцу проявили полную доверчивость. Через два года металлический дирижабль Шварца был построен. Но когда хотели наполнить

его газом, оказалось, что сделать это невозможно — баллоны не выдержали наполнения. Шварц получил еще десять тысяч рублей и поехал за границу, чтобы там заказать новые шелковые баллоны. Обратного в Россию он не вернулся и даже на письма не отвечал. А дирижабль Шварца так и остался на Волковом поле, всеми забытый, брошенный, мокнувший под дождем и снегом.

Циолковский прилег в эту ночь на один час, когда уже рассветало. Но заснуть не мог. Была жесткой в эту ночь постель. Были до боли жгучи мысли. Была непереносимой обида.

Утром он встал в обычное время и, позавтракав, взял в руки палку, надел шляпу и пошел знакомым путем в училище.

После училища он зашел в железнодорожные мастерские. Там Никита должен был выточить некоторые формы для новых экспериментов по сопротивлению воздуха. В мастерской было тесно, душно и жарко. Стекла были закопчены, местами забиты досками. Никита работал у большого токарного станка. Он придвинул порожний перевернутый ящик и пригласил Циолковского сесть. Сел и сам, вынул из кармана кусок хлеба и крутое яйцо. В тряпочке была завернута соль. Он предложил Циолковскому половину завтрака. Циолковский машинально взял в руку хлеб и половину яйца. Он думал о другом. Проходившие мимо рабочие с удивлением смотрели на немолодого господина в котелке, с палкой, сидевшего на ящике, жующего хлеб и что-то тихо рассказывающего.

Циолковский рассказал Никите про дирижабль Шварца, про десятки тысяч рублей, выброшенные напрасно. Он говорил тихо и медленно. Никита перестал есть. Когда Циолковский кончил, Никита наклонился к нему и обнял его руками за плечи. И было похоже, будто Никите уже больше сорока лет, а у Циолковского пробиваются усы.

— Константин Эдуардович, — сказал Никита у самого его уха, — когда народ возьмет власть в свои руки, тогда...

— Тогда уже не будет меня, — сказал Циолковский.

Через три недели в газете «Калужский вестник» появилось воззвание Голубицкого начать сбор средств для продолжения научной работы Циолковского.

Первым откликнулся Беркович. Он принес в редакцию один рубль пятьдесят копеек и прибежал к Циолковскому, как только вышла газета.

— Ну, теперь, господин Циолковский, вы будете богаты, как сам Ротшильд. Вы увидите! Деньги посыплются, как манна небесная, можете мне поверить, чтоб я так жил, потому что статья написана так, что даже моя Сарра прослезилась, а уж если прослезилась моя Сарра, то это, значит, что-нибудь особенное.

Но проходила неделя за неделей, а пожертвований поступало очень мало. Из Петербурга пришло четыре рубля. Из Москвы — пятнадцать рублей. Асонов внес тридцать рублей. Гермоген Гермогенович в учительской при всех подошел к Циолковскому, вынул из портмоне гривенник и, не улыбаясь, холодно и достойно поблескивая пустыми стекляшками очков, сказал:

— Возьмите, господин Циолковский! Продолжайте свои многоценные труды на благо всего человечества!

За что он его так ненавидел?

Как-то Варенька пожаловалась:

— Хоть бы ты сам поговорил с ним. Ничего не могу сделать. Упрямый, в тебя.

— Ну, что еще?

— Сашенька! Есть не хочет. Говорит, что больше обедать вообще никогда не будет. Пусть, говорит, организм привыкает.

Циолковский досадовал: чорт побери! Мало у него своих забот! Не может она с мальчишкой управиться. Выдрать — и все!

Но это было сказано в раздражении. В действительности Циолковский никогда не бил и не допу-

стил бы, чтобы в его доме так оскорбили личность, — сколько бы ни было этой личности лет.

Сашенька не обедал. Он не обедал уже четвертый день. Циолковский позвал его к себе.

— Ты чего дуришь? Чего мать раздражаешь?

Сашенька выставил свой упрямый лоб, как молодой козленок, и ничего не отвечал. Циолковский продолжал его упрекать.

— Не буду обедать! — тихо сказал Сашенька. — Мне ни к чему обед. Организм уже привык.

Сколько ни уговаривал его Циолковский, сколько ни рассказывал о своем собственном юношеском опыте, как ни сердился, мальчишка стоял на своем: не буду да не буду. Индусы, говорит, могут неделю без пищи прожить. И он ушел победителем.

— Ты почему не обедаешь? — спросил у него Игнатий.

— Не хочу. Сыт.

— На обеде экономишь? Ради отца жертву приносишь?

— А если и жертву? Плохо? Да?

— Дурак. Заболеешь.

— Сам заболеешь. Человек — хозяин своего организма. Я если захочу, так и спать не буду. Пусть организм подчиняется моей воле. Индусские факиры даже себя протыкают, и ничего...

Через три месяца после опубликования воззвания Голубицкого общая сумма пожертвований составила пятьдесят пять рублей. Больше никто не пожертвовал ни копейки.

Однажды Ассонов сказал:

— Все-таки я не могу допустить, чтобы наше богатеишее отечество не нашло нескольких сот рублей для ваших опытов. Я просто не могу этого себе представить. Я напишу Делянову, министру просвещения. Он, кстати, мой университетский товарищ. Чудесный человек, хоть и министр. Не может быть, чтобы не откликнулся. Ну, просто, не поверю.

Он написал большое письмо Делянову, приложил изданные труды Циолковского и послал все это в Петербург.

На рождество к дому Циолковского подъехала щегольская коляска с фонарями, запряженная парой рысаков. Толстый высокий господин в цилиндре спросил Циолковского.

Циолковский, как всегда во время праздников, был в одном старом пальто, накинутом поверх нижнего белья. Завидев в окно такого необычного гостя, он наспех оделся и еще всовывал руки в рукава пиджака, когда гость уже вошел в комнату.

— Господин Циолковский? Очень рад. С праздником вас, с рождеством Христовым! Будем знакомы. Муромцев, Сергей Афанасьевич. Не слышали? Попечитель Санкт-Петербургского учебного округа.

Гость был добродушным, веселым, потирал пухлые руки с мороза, потом вынул лорнет и с любопытством и легкомыслием разглядывал все, что было в комнате, не переставая в то же время мило болтать:

— Получил письмо от господина министра. Просит — все равно, мол, в этих краях (я, мой друг, кузеном прихожусь вашему генерал-губернатору), ну, раз все равно в этих краях, навести, мол, господина Циолковского, — оригинал, самоучка, в крайне бедственном положении...

Циолковский стоял угрюмый, ничего не отвечал, смотрел исподлобья. У Вареньки, слушавшей разговор, замирало сердце от страха. Она уже знала это выражение лица мужа. Ей казалось, что вот-вот он сорвется и понесет, понесет, грубо, дерзко, зло...

Но Циолковский не сорвался. А господин Муромцев как хозяин расхаживал по обеим комнатам, брал в руки то один предмет, то другой, трогал за подбородки детишек и всем восторгался:

— Чудесные ребятишки, мой дорогой, очаровательные у вас ребятишки... А это что? Чертеж дирижабля? Великолепно выполнено. Воистину, неисчислимым родник талантов в русском народе... А это самая младшая? Нет? Еще младше есть? Сколько тебе лет, девочка? Восемь? А конфеты ешь? Вот я пришлю тебе из Петербурга целую коробку конфет... — Потом он обернулся к Циолковскому: — Что же вы,

друг мой, все молчите? Ничего не расскажете про себя?

— Глухой я, — вдруг выговорил Циолковский тяжелым, скрипучим голосом. — Глухой, как тетерев. Не изволю слышать вашего превосходительства.

— Глухой? Ах, какая беда! И кто бы мог подумать!.. Ну, ничего, я уж вас не оставлю, будьте покойны. Дайте-ка мне присесть. — Он присел к столу и написал короткую записку. — Вот, мой дорогой, держите. Вы знаете доктора Граве? — думая, что Циолковский действительно так уж совсем ничего не слышит, он обратился к Вареньке. — Пусть завтра же пойдет к доктору Граве. Вот с этой запиской. Все будет отлично, уверяю вас. Граве — мой старинный приятель. Он прекрасно лечит...

Когда он ушел, Циолковский раскрыл записку. В ней было сказано: «Друг Миша, полечи моего знакомого К. Э. Циолковского. Твой Сергей».

Вечером того же дня Варенька заглянула в комнату Циолковского — глаза ее были заплаканы. Он все еще был злой, ни с кем не разговаривал, ни на кого не глядел.

— Господи! — опустилась на стул Варенька. — Хоть бы ты научил, как быть. Не могу я с ними управиться. Ну, что я могу?.. Они уже большие, они сами по себе... — и она заплакала.

Оказалось, что полчаса назад она слышала, как Любочка сказала Игнатию: «Я убью его (речь шла о господине Муромцеве), завтра же пойду к губернаторскому дому, дождусь его и застрелю из револьвера». И Любочка показала Игнатию револьвер.

— Боже мой! — испугался Циолковский. — Только этого мне не хватало, чтобы в моем доме готовились террористические покушения на высокопоставленных лиц!..

Он поспешно вышел к семье. Любочка взволнованная ходила по комнате, заложив руки за спину. Курила. Игнатий согнулся над книгой.

Циолковский поглядел на детей и с удивлением заметил, что они действительно стали взрослыми: уже

не дети, а взрослые люди, которые могут делать что им угодно.

Лоб Игнатия был мрачно наморщен, на светлых волнистых волосах лежала бледная точеная рука. «Рука, не приученная к работе, барская рука», — подумал Циолковский.

— Это правда, что ты террористка? — спросил он у Любочки.

— Правда! — ответила она, смотря прямо в его глаза, и щеки ее чуть-чуть порозовели. — Ты не вздумай меня отговаривать. Ты ничего не видишь, кроме своих аэростатов. Ты будто не на земле, а на луне живешь. Ты кругом посмотри, на землю!.. Господи! Да разве можно жить в этом мраке? Они душителы. Мы, русская прогрессивная интеллигенция, не имеем гордости. Мы должны ответить революционным террором на их полицейский террор... Я не могла смотреть на наглое лицо этого Муромцева! На его перстни на пальцах! На его самодовольство! Господи — когда я подумаю, что это он разогнал студенческие демонстрации в Петербурге, что он и его друзья повесили Софью Перовскую, Желябова, Кибальчича!..

Она волновалась все больше, истерически ломая желтые худые руки. А Игнатий, повернувшись лицом к сестре, молча смотрел на нее, сжав узкие, немного насмешливые губы.

Циолковский волновался не меньше дочери. Он просил ее не губить его. Стоит полиции прониюхать, что в его доме пахнет революцией, и сразу конец всем его работам, опытам, экспериментам... Он готов был плакать, на коленях умолять ее. Она должна понять, что не имеет права ставить под угрозу дело всей его жизни, что Циолковский не может зависеть от жандармов и полицейских, что он должен работать спокойно, пусть поймет она это, пусть поймет!..

Любочка кричала, что важнее всего свобода личности, свобода слова! Свобода убеждений!..

Он соглашался с нею. Это все верно! Но его жизнь коротка, а задачи необозримы. Пусть дети поймут это. Пусть они не мешают ему.

Любочка плакала. Она не может ради отца пожертвовать свободой, достоинством, счастьем людей! Не может! Не может!

— Тогда уходи отсюда! — закричал отец. — Занимайся чем хочешь и где хочешь, я не позволю мешать себе!

Варенька цеплялась за его руки. Глаза Циолковского были мутны от гнева. Любочка сказала, что утром же она уедет в Петербург. Она не останется здесь ни на один день! Она не хочет жить под двойным деспотизмом: деспотизмом самодержавия и деспотизмом отцовской власти. Она ушла из комнаты гордая и непобежденная.

На губах Игнатия была все та же чуть заметная насмешливая улыбка.

Всю ночь Варенька рвалась в комнату Циолковского.

Дверь была заперта на ключ. Варенька плакала и молила:

— Костенька, родименький мой, ведь девочка уедет без копейки денег, одна! Костенька, ведь без копейки уедет! Как она там?..

Он не открывал дверь. Что он может сделать? Чем может помочь?..

На следующий день Любочка уехала в Петербург.

Изготовление воздуходувной машины подвигалось вперед медленно, через тысячи препятствий, ошибок, невозможностей. Иногда казалось, что закончить воздуходувку не удастся. Циолковский в такие дни уходил в лес. Он шагал один по сверкающему снегу Оки, шел километр за километром по узким лесным тропкам. Ветвистые деревья посыпали его снегом. Мороз леденил бороду и усы, и Циолковскому не хотелось возвращаться.

Однажды пришел Ассонов и увидел печальную картину. В доме было холодно, тихо. Посреди комнаты Циолковского стояло огромное деревянное сооружение странной формы. Сидели рядом Циолковский и Никита. Никита задумчиво барабанил пальцами по

стенкам сооружения. Циолковский склонился над книгой и делал вид, что читает, но глаза его были устремлены за окно, на снежный пейзаж. Беркович расхаживал по комнате, пощипывая бородку.

Ассонов подошел к Циолковскому, сел против него в кресло и начал издалека:

— Старею, Константин Эдуардович! Всякие немощи замучили. Был вчера доктор. Говорит: пешком надо больше ходить! — Василий Иванович посмотрел на Циолковского. Циолковский не слушал или делал вид, что не слышит, так он был безучастен к тому, о чем говорил Ассонов.

— Вот и задумал я продать свою клячу, — продолжал Василий Иванович, — ни к чему она мне. Только зря кормить. Так что оказываются у меня теперь совсем лишние деньги. За лошадь с пролеткой возьму я рублей сто двадцать. Думал их в какое-нибудь дело пустить, да в какое? На бирже играть? Конечно, можно в банк положить — но я мертвого капитала смерть как не люблю. Короче говоря, порешили мы на семейном совете: берите эти деньги в долг. Когда разбогатеете, так и отдадите. . . Не машите руками, пожалуйста, это я уже твердо решил, я человек упрямый. Хочу эти деньги в воздуходувку вложить, хочу — и все. . .

Циолковский горячо отказывался, клялся, что ни за что не возьмет, что никакого права не имеет взять эти деньги, но, клянясь и отказываясь, он был уже совсем другим человеком. Глаза его сверкали, лицо оживилось, помолодело.

Через два дня младший сын Ассонова принес Циолковскому в конверте сто двадцать рублей. Снова закипела работа. Циолковский не знал усталости. Многого не ладилось, переделывалось, каждый шаг надо было продумывать. Циолковский был весел и неутомим.

Никита был верным помощником. От Циолковского он научился петь во время работы и нередко вторил своим звонким молодым голосом скрипучему и тихому голосу Циолковского, выводившего свои странные, в глухоте рожденные песни.

К концу лета первая в России и одна из первых в мире воздуходувная машина была построена. Она казалась громадным ящиком с большим круглым отверстием. Внутри ящика был устроен вал с лопастями. Лопасти приводились в движение кирпичами, привязанными к веревке, намотанной на вал. Груз, опускаясь, приводил лопасти в движение. Перед отверстием ящика был устроен лоток, на нем стояла железная ванна. В ванне плавал поплавок с двумя тонкими проволочками. На эти проволочки надевались испытываемые модели. Модели имели формы пластинок, кубиков, конусов, полушарий, разных тел вращения. Моделей было сделано более ста штук. Они склеивались из чертежной бумаги или вытачивались из дерева. Когда машина создавала воздушный поток, поплавок с моделью передвигался по воде.

Воздуходувная машина позволяла вывести точные коэффициенты сопротивления воздуха для разных скоростей и разных очертаний.

Циолковский радовался, как ребенок радуется долгожданной игрушке. Теперь ему никто не был нужен. Он забыл даже о своих помощниках и не пускал их к себе. Дверь его комнаты все время была на запоре, чтобы, открывая ее, не создавали ненужных воздушных течений. Он никого не хотел видеть. Было каникулярное время, и он не выходил из комнаты, не надевал верхней одежды. Весь день через стенку доносилось его пение. Каждый опыт Циолковский записывал в тетрадь. К началу зимы двенадцать папок были заполнены рукописями, чертежами, диаграммами — результат громадного количества опытов, проведенных с помощью воздуходувной машины.

Всю зиму он продолжал работу. Большая статья, обобщающая выводы, сделанные с помощью воздуходувки, называлась: «Давление воздуха на поверхности, введенные в искусственный поток». Статья была напечатана. Подробный отчет об опытах Циолковский послал в Академию наук. Посылая отчет, он просил Академию выдать ему 1000 рублей для со-

сружения новой, лучшей конструкции воздуходувной машины.

Академия наук дала положительный отзыв о его работе, но выслала не 1000, а 470 рублей.

Долг Ассонову был отдан. Опять новая задача: построить вторую воздуходувную машину размером почти во всю комнату, исправить в ней все конструктивные недостатки, предпринять опыты, какие никем еще не предпринимались.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

11

Циолковский страстно любил землю. Почти так же, как и небо. Любил траву, ветер, жучков и букашек, пеструю рыночную толпу, как бы вычерченные карандашом силуэты деревянных домов. Он любил все, что можно осязать, видеть и слышать... Но слышал все хуже и хуже. Правда, иногда на короткие периоды слух улучшался. Это в большинстве случаев совпадало с удачами в работе. Тогда Циолковский становился веселым, подвижным, легким. Его широкое добродушное лицо рассекалось множеством мелких морщинок. Каждая морщинка смеялась. Смеялись серые задорные глаза, смеялись жадные губы. Циолковский прислушивался тогда ко всему; вой ветра и клочки разговоров, пение птиц и стук молотка радовали его.

Вечером он шел в городской сад. В деревянной беседке блестели начищенные духовые инструменты. Длинноусый, тонкий, как струна, капельмейстер дирижировал военным оркестром.

Циолковский садился поближе к беседке, опираясь на палку и слушал. Он слышал только мелодию. Она долетала как бы издалека, поднимала со дна души все самое затаенное, горячее, нежное...

Когда Циолковский слышал хуже, он становился мрачным, нелюдимым, раздражительным. Он чувство-

вал себя как бы в гробу. Один. Совсем один. Наедине со своими неудачами, с гордостью, с болью и дерзостью. Он чувствовал себя в такие дни придавленным своей силой, которая становилась для него бременем, и своей слабостью, которая была еще большим бременем. Тогда он метался, как метался некогда сделанный им электрический осьминог: вытягивал свои щупальцы туда и сюда. Этими щупальцами захватывались впечатления, мысли, выводы. И все эти мысли, выводы, впечатления были черными, обуглившимися от нестерпимого жара его страданий.

Глухоту он всегда считал уродством, калечностью, и казался себе обездоленным, обокраденным. Не то чтобы ему очень уж недоставало звуков — он слышал все, что ему надо было услышать, но слышал хуже других. А ему больно было что-нибудь делать хуже других. Каждый булочник имел перед ним преимущество, каждый мальчишка, каждая собака. Его раздражал всякий неясный звук, а ясных звуков для него в это время не было. Особенно раздражали разговоры. Он слышал только монотонное гудение без слов, без интонаций, без содержания; боялся, чтобы не обратились к нему, так как мог ответить невольно. Он глядел на разговаривающих с ненавистью. И если даже слышал обращенный к нему вопрос, делал вид, что не слышит его. Даже Варенька тогда была ему неприятна. Он спешил уйти к себе. У себя в комнате он слышал все: свои мысли, свои цифры, свои мелодии. И раздражение проходило.

У себя в комнате он лечился с помощью рук. Руки были первыми друзьями, утешителями, целителями и помощниками. Им первым он доверял свои планы, они все понимали, всему верили — они писали, считали, чертили, пилили, строгали, сгибали, заколачивали... Они облекали мысли в плоть; они делали мысли предметом.

Циолковский строил новую воздушную подушку, делал фигурки, которые должны были исследоваться в воздушном потоке, продолжал изготавливать все новые модели оболочки дирижабля. Всего этого было мало.

В свободные часы, для развлечения и утешения, он стал строить самодвижущуюся лодку.

И все это время он думал об одном — о своей новой догадке, которая волновала его постоянно, днем и ночью, в училище, дома, на берегу реки. Она не давала покоя, гнала его прочь из города, подальше от людей, в бор, где можно без помех и без свидетелей, напевая песни и помахивая палкой, предаваться самым лучшим из своих мечтаний. В эти часы он не замечал, как город оставался далеко позади, сверкая в лучах весеннего солнца бесчисленными главами церквей.

Однажды, в начале лета, он проснулся в пять часов утра и сразу вспомнил о самом главном: всякий двигатель — колесный, гребной или винтовой — требует присутствия твердой, жидкой или газообразной опорной среды. Только используя принцип ракеты, — обыкновенной ракеты, которая множество лет известна людям, как забавная и эффектная игрушка, — только используя принцип ракеты можно создать двигатель для безвоздушного пространства. Ракетному кораблю не нужно будет опорной среды. Наоборот, всякая среда, даже воздух, будет только замедлять его полет. Ракета — единственная возможность вырваться за пределы атмосферы, совершать полеты в космическом пространстве. Ракета — вот то, чего он искал всю жизнь.

Это не было открытием в собственном смысле слова. О космическом снаряде Циолковский думал уже двадцать лет. О ракете мечтали многие. Года четыре назад безвестный русский инженер и изобретатель А. П. Федоров (третий Федоров, встретившийся на жизненном пути Циолковского) издал небольшую книжечку: «Новый способ воздухоплавания, исключаящий воздух как опорную среду». Но одна и та же мысль может в разных случаях иметь разное значение. И вот новая мысль, которая много лет жила в мире его воображения, наполнилась кровью и жизнью. В ней забился пульс. Она приобрела формы и очертания, раскрылась, как раскрывается бутон и на свет появляется цветок, которого раньше не

было. Только ракетный двигатель может разрешить проблему сообщения с новыми планетами. Такой ракетный двигатель — двигатель космического транспорта...

Изумленный своим открытием, Циолковский поднялся с постели и оглядел окружающий его мир. И то, что увидел он, изумило его еще больше. Солнце щедро заливало комнату. Золото было повсюду: на полу, на мебели, на книгах. Все сияло, сверкало; все было живым, трепещущим, теплым, ликующим и прославляющим жизнь.

За окном Циолковский увидел небо. Он смотрел на небо так, как будто видел его впервые. Небо было ни с чем несравнимой широты, глубины и голубизны. «Это мир!» — подумал Циолковский. Понятие «мир» облеклось в это мгновение в плоть, приобрело реальность, стало таким же, как понятие «дом», «комната», «улица». Вот он, мир! — без границ, без пределов, такой близкий, доступный и влекущий к себе! По синему небу, как флотилия сказочных кораблей с развернутыми парусами, плыли легкие облака. Циолковский никогда не видел таких облаков... Река извивалась меж полей и огородов. Линия ее берега была линией удивительной красоты... У самого окна Циолковский увидел ветку дерева. Почему он до сих пор не замечал этой ветки? Неужели она выросла только сегодня ночью?... Он увидел зеленеющие поля и огороды... Никогда еще земля не была такой прекрасной! Прекрасным было все: и земля, и небо, и воздух, и слабый ветерок, который шевелил на подоконнике листья книг и рукописей.

Легко, как в восемнадцать лет, Циолковский соскочил с постели. Он почувствовал нереальную легкость своего прыжка. Так легко будет спрыгивать с постели на астероиде. Ему захотелось, чтобы за эту ночь случилось что-то необычайное, чтобы проснулся он вот так же, вскочил с неземной легкостью и понял, что он не на земле, а на астероиде. Но тогда небо должно было быть не голубым, а черным. Нет, ему жалко этого неба — глубокого, земного, с облаками. Ему жалко ветерка — ведь на астероиде не мо-

жет быть ветерка. Ему жалко своего верстака и своей комнаты, и клочка земли, на котором Варенька посадила две маленькие яблони.

Он побежал умыться. Как только он открыл дверь и увидел Вареньку, опять почувствовал восхищение. Какой чудесной была сегодня Варенька! Она стояла у печки и колдовала над кастрюлями — ясная, светлая, тихая, с седой прядью на голове... «Святая моя! Единственная! Терпеливая!..»

— С добрым утром! — крикнул он ей. — Ты и не знаешь, где я ночевал сегодня. Ты думаешь, дома? Глупая ты моя, вот и не дома. И не скажу, где бродит по ночам твой беспутный муж, не скажу, а самой тебе никогда не догадаться... Знаешь, где? На астероиде, между орбитами Марса и Юпитера...

Он умывался, брызгаясь и фыркая. И вода была тоже не такая, как обычно. Холодная и мягкая, она ласкала кожу, как милая ладонь Вареньки... Он брызгался и смеялся, но вдруг перестал смеяться и перестал мыться. Неожиданно возникла странная истина. Мир бесконечен! Он не начинается и не кончается. Он вечен. Значит, вечно все, значит — вечна и жизнь человека...

Это было совершенно ясно, хотя еще и требовало доказательств. Как не приходило ему это в голову раньше? Почему он понял это именно сегодня, в это небывалое утро?

Все в это утро было необычным, и мысль была необычной. Она была бесподобно острой, всепроникающей, четкой. Циолковскому так сильно захотелось доказать, что человек бессмертен, что он, не окончив мыться, бегом вернулся в свою комнату и сел за стол. Полотенце упало на пол около стула. Он не заметил. Он писал.

Хозяйки выгоняли из ворот коров. Одна корова остановилась под окном Циолковского, повернула к окну морду и стала громко и настойчиво мычать. Циолковскому мешали ее вопли. Он просил корову:

— Да уйдите вы, пожалуйста, прошу вас!

И коровы ушли, потому что пастух затрубил в свою двухаршинную трубу.

...В этот день и в училище все было по-иному. Ласковыми и обходительными показались ему учителя. Даже Гермоген Гермогенович взглянул на него без обычной ненависти, и стекляшки его очков будто чем-то наполнились. Девыцы были на редкость милыми и в совершенстве выучили заданные уроки. Он всем поставил по пятерке. Тридцать две пятерки за один день!

Циолковский слышал в этот день так хорошо, как давно уже не слышал. Был он весь день веселым и улыбался всему: людям, небу, зданиям, деревьям. И ему в ответ улыбалось все: люди, небо, здания и деревья.

Выйдя из училища, он задал себе вопрос: «Что сегодня со мною?» Он не сразу сумел ответить себе на этот вопрос. Почему у него сегодня какой-то совсем иной, обостренный слух? Иной, обостренный взгляд? Почему сегодня он все острее чувствует? Почему сегодня все его радует?.. В поисках ответа он вспомнил, что чем бы сегодня ни занимался, о чем бы ни думал, ни говорил, — все время где-то в глубине его сознания присутствовала мысль о ракете. Ракетный двигатель занимал его и тогда, когда он мысленно был на астероиде, и тогда, когда вызывал к доске девыц. Мысли о ракете как бы растворялись во всех впечатлениях дня и скрашивали их. И ему подумалось: «Может быть, необычайные ощущения сегодняшнего дня — это и есть вдохновение; то вдохновение, которое предшествует великому открытию, которое делает гения гением...» И он опять почувствовал то сладко-щмящее чувство, которое переживает человек, стоящий на пороге, — за дверью свершение его заветного желания, великая радость, священное откровение... Сейчас он откроет дверь... Хочется сделать это скорее и хочется чуточку помедлить, чтобы продлить сладко-щмящее чувство вдохновения...

Циолковский был на пороге великого открытия. Он чувствовал это открытие, он уже знал его, но оно не было еще совершено. Оно будет совершено только тогда, когда опыты и расчеты сделают его неопровержимым. Это самое волнующее: когда истина ясна, но

еще не доказана. Она уже существует, но еще не захвачена в руки. Тогда страшное и радостное беспокойство овладевало Циолковским. Желанная, манящая, страшно соблазнительная, но еще не захваченная в жадную горсть истина преследовала до тех пор, пока неопровержимые расчеты и опыты не делали ее бесспорной. Тогда истина становилась истиной, приобретала реальность, форму, размеры, вес...

Хотелось бросить все, все забыть, все оттолкнуть и заниматься только космической ракетой. Но Циолковский не стал этого делать. Он решил полностью закончить работы по сопротивлению воздуха, рассчитаться с этим долгом, взять от своей воздуходувки все, что могла она дать науке, и лишь тогда засесть на многие месяцы или даже годы за теорию межпланетных полетов.

Так он и сделал. Неожиданное открытие он таил, берег, лелеял, никому о нем не говорил. Оно все время было с ним, воображение его все время было наполнено какими-то фрагментами, деталями, частностями, формулами, имевшими отношение к космическому снаряду. Он все записывал, складывал в одну из папок, а сам кончал серию опытов и большой труд, посвященный сопротивлению воздуха.

Только в конце следующей зимы воздуходувка была разобрана, вынесена на чердак, и Циолковский засел за новую работу. Она называлась: «Исследование мировых пространств реактивными приборами». Это была небольшая статья, но для того, чтобы написать ее, потребовались многие месяцы напряженной работы. Приходилось все пути прокладывать заново. Надо было найти формулы, определяющие взаимоотношение веса реактивного снаряда и веса горючего в нем, определить, какое горючее должно быть в ракете, продумать тысячи предметов. Работа эта требовала больше сил, чем было у Циолковского, и к весне 1903 года он заболел.

Он страдал головокружениями, общей слабостью, иногда не мог подняться с постели. Сказалось нечеловеческое напряжение последних месяцев. Но статья была закончена. Она лежала перед ним. Циолков-

ский перечитал ее. Статья была строго научной. Она содержала математический анализ принципа движения ракеты, определяла скорости, необходимые для того, чтобы ракетный снаряд преодолел сопротивление атмосферы и притяжение земли, указывала наиболее подходящие виды горючего для космического корабля. В статье были даны расчеты мощности, веса и конструкции ракетного снаряда, рассмотрены принципы полета через атмосферу и затем в среде, свободной от тяжести.

Статью начали печатать в журнале «Научное обозрение». Редактор «Научного обозрения» Филиппов сам был изобретателем. Он изобретал лучи, которые могли бы на любом расстоянии производить взрывы. Он мечтал с помощью этих лучей навсегда покончить с войной; сидя в своей комнате в Москве — уничтожить все орудия, военные корабли, крепости, арсеналы. Война станет невозможной. Мир на вечные времена воцарится на нашей планете.

Почти одновременно с книжкой журнала, в которой была напечатана первая статья Циолковского, в Калугу пришли известия о том, что редактор «Научного обозрения» Филиппов трагически погиб от своих же собственных разрушительных лучей. Рассказывали о страшном взрыве, уничтожившем дом, в котором жил Филиппов.

Журнал «Научное обозрение» был закрыт. Статью Циолковского почти никто не заметил. О ней не говорили. Вторая часть статьи осталась ненапечатанной... Но опять прибежал Канниг. Канниг был вне себя. Он только что прочитал статью Циолковского. Он потерял шляпу. Глаза его блестели. Бегаючи по комнате и все задевая по пути, он кричал, что торжественно клянется никогда больше не прикасаться к своим колбам и ретортам, что его работа — это детская игрушка по сравнению с открытием Циолковского, что он, Канниг, начиная с сегодняшнего дня отдаст всю свою предпринимательскую энергию, весь свой опыт и весь талант одной задаче: помочь Циолковскому осуществить первый межпланетный полет.

— Вашему гению, — кричал он, — нехватало моего

делового размаха. Не пройдет и года, как тысячи космических кораблей будут мчаться к неведомым высотам...

На следующий день Беркович пришел поздравить Циолковского. Он сообщил, что Канниг бегаёт по всему городу, рассказывая, что Циолковский совершил величайшее открытие и, может быть, уже в будущем году первый межпланетный корабль улетит из Калуги в космическое путешествие.

— Уж если за ваше дело взялся господин Канниг, — говорил Беркович, — то, значит, ваше дело сделано. Это такой предприниматель, что другого такого нет во всем мире.

Циолковский почти не выходил из дома. Он продолжал разрабатывать идею межпланетных сообщений, улучшая конструкцию ракетного снаряда, продумывая детали управления им, устройства кабины для пассажиров. Снова и снова проверял расчеты... Иногда заходил кто-нибудь из друзей: Ассонов, Никита или Беркович. Но все мешали ему. Он был неразговорчив, с сожалением отрывался от рукописи, а иной раз честно признавался:

— Знаете, голубчики, зайдите как-нибудь в другой раз. Сейчас ужасно хорошо мне работается...

Так прошло все лето. Канниг ездил в Москву и Петербург, но никого заинтересовать работой Циолковского не смог. Напряженный труд в течение всего лета сильно утомил Циолковского. Осенью он по случаю купил старенький велосипед. Отремонтировал его с помощью Никиты и теперь ежедневно катался по длинным, пыльным и пустынным улицам.

Иногда он спускался к реке, переезжал по колеблющемуся плашкоутному мосту на другой берег и поднимался по прямому, как бы идущему на небо, ровному Перемышльскому шоссе. С горы открывался чудесный вид на Калугу. Город лежал далеко внизу, золотясь осенними садами, сверкая стеклами и стенами домов, куполами церквей.

Возвращался Циолковский уже после захода солнца. Проезжая мимо городского сада, из-за деревьев которого доносилась далекая неясная му-

зыка, он присаживался на скамейку бульвара. В городской сад с велосипедом не пускали.

Так он сидел однажды на скамейке, глубоко задумавшись, не замечая проходивших мимо людей, когда на него налетели Беркович и Канниг. Канниг торжественно приподнял шляпу и сказал:

— Поздравляю! Деньги можно считать в кармане!

12

Лодка, еще в прошлом году сконструированная Циолковским и построенная им совместно с Никитой, представляла собой платформу, поставленную на два поплавок, имевших форму полусигар. Позади лодки было гребное колесо. Спереди — руль. Посредине стояла скамья. Пассажиры сидели на скамье и качали коромысло. Гребное колесо работало. Лодка двигалась. Потом Никита поставил на лодку керосиновый двигатель. Лодка воняла, шипела, оставляла позади себя разноцветные жирные пятна, но быстро шла по течению и против течения. На берегу собирались любопытные. Не только ребята, но даже нарядные дамы, чиновники, офицеры стоявшего в Калуге Ингерманландского полка просили покатасть их. Весной, когда с Оки сошел лед и установились теплые дни, несколько дней о лодке говорил весь город.

Купец Гришин, горячо любивший всяческие новинки, послал своего приказчика к Берковичу: не продаст ли господин учитель свою лодку? Можно бы ее купить за недорогую цену.

Беркович и Канниг были сильно возбуждены, один перебивал другого, жестикулировали, то схватывались под руки, то освобождали руки, чтобы с их помощью быть красноречивее.

Циолковский взял длинную слуховую трубу, которую недавно смастерил из жести. Пользуясь трубой, он слышал лучше.

— Что случилось, господа? — спросил он.

— Мы учреждаем акционерную компанию «Вселенная»! — провозгласил Канниг.

— Что? Что? Что? Я ничего не слышу, ничего не понимаю, — кричал Циолковский.

— Ой-тайра-тайра-тайра, — напевал Беркович.

— Спокойно, господа! Спокойно! — властно требовал Канниг. — Я прошу вас сесть, Константин Эдуардович, и слушать меня внимательно. Акционерная компания будет называться «Вселенная». Акционеры-учредители — я, вы, Ассонов и господин Беркович, хотя он и не сможет внести своего первоначального паевого взноса. Первый взнос каждого из членов-учредителей составляет всего пятьдесят рублей... Не смотрите на меня как на сумасшедшего. Я деловой человек и не стану говорить зря. Я все обдумал и рассчитал. Уже сейчас мы имеем первого клиента. Господин Гришин желает приобрести вашу самоходную лодку. В ближайшие дни Беркович договорится еще с двумя покупателями. На основной капитал, составляющий полтораста рублей, мы строим три лодки, которые продаем по семьдесят пять рублей каждую. Таким образом мы выручаем двести двадцать пять рублей. Затем мы строим шесть новых лодок и выручаем за них четыреста пятьдесят рублей. Вы следите за мной? Расширяя, таким образом, производство и увеличивая все время выпуск лодок, мы уже через год имеем капитал в сумме сорок тысяч рублей. Но было бы смешно ограничиться этим. Мы строим на берегу Оки верфь, снабжаем нашими лодками Волгу, Днепр, Дон, Енисей, Эльбу, Сену, Вислу, По... И когда наша фирма становится достаточно мощной, мы, ни в ком не нуждаясь и не прибегая ни к чьей помощи, приступаем к постройке первого дирижабля. Уже первый дирижабль принесет нам средства на строительство еще нескольких. Через три-четыре года мы будем владеть первой в мире воздушной конторой. Наши дирижабли будут перевозить пассажиров через Сибирь, Великий океан, пустыню Сахару, свяжут все точки земного шара. Вы следите за мной?.. Тогда мы будем располагать достаточными средствами, чтобы начать сооружение космической ракеты и подготовить первый полет на одну из ближайших планет или хотя бы в качестве разведки на Луну...

И Беркович, и Канниг так горячо верили в полную осуществимость своего проекта, так наполнены были энтузиазмом, что передали свое воодушевление и Циолковскому. Циолковский понимал, что план этот звучит фантастически, но кому, как не ему, знать, что именно самые фантастические проекты могут оказаться трезвой реальностью... И к тому же Канниг... Канниг — деловой человек! Он, черт побери, действительно смыслит в делах!..

На следующий вечер было назначено первое заседание акционеров. В шесть часов вечера к Циолковскому явились Канниг, Беркович и Ассонов. Циолковский потребовал, чтобы пришел и Никита, пусть Никита тоже будет акционером без паевого вноса, как Беркович. Без Никиты Циолковский не согласен. Никита — мастер. Никита полезнейший человек и энтузиаст, каких мало, хотя он и не любит говорить...

За Никитой Циолковский послал сына. Когда Никита пришел, Канниг встал и поднял руку, призывая к тишине.

— Итак, господа, — сказал он, — первое заседание членов-учредителей акционерной компании «Вселенная» разрешите считать открытым!

Циолковский попросил назвать предприятие скромнее: не акционерная компания, а группа содействия завоеванию космоса. Беркович предложил другое название: торговый дом Циолковский и К°.... Солидно и привычно для слуха.

— Не будем тратить время попусту, — заметил Ассонов, — по-деловому обсудим: может ли производство лодок системы Циолковского дать достаточно средств на продолжение его опытов.

— Не только на продолжение опытов, — поправил Канниг, — но и на постройку первого в мире металлического дирижабля, а затем полное завоевание воздуха.

— Почему только воздуха? Почему только воздуха, господа? — горячился Беркович. — И вселенной! Завоевание вселенной...

Разговор затянулся. Пригласили высказаться Никиту. Никита всех внимательно слушал, своего мне-

ния не высказывал, старался скрыть улыбку. Когда Циолковский обратился к нему, он тихо сказал:

— Что ж, лодки хорошие. Надо строить. А как там дальше... Там видно будет.

Решили со следующего дня приступить к постройке трех новых лодок.

Беркович и Канниг остались при своем мнении: что бы ни говорили Циолковский и Ассонов, как бы ни называли их предприятие, но это акционерное общество, и оно имеет великолепное будущее...

Ассонов раскрыл окно, и в комнату ворвалась ночная прохлада. Ночь была темная. Луна на три четверти закрыта облаками. Ярко горели звезды.

Когда Циолковский увидел звезды и вдохнул прохладный ночной воздух, ему сразу стало тесно и душно в комнате, где мир ограничен стенами и потолком. Ему захотелось осчастливить своих друзей тем миром, которым владел он, передать им хоть часть своего богатства. Он встал.

— Пойдемте, — сказал он, — я вам кое-что покажу.

— Что такое? — спросил Канниг.

— Пойдемте! — повторил Циолковский.

Он вышел из комнаты в темную прихожую. Беркович, Канниг, Ассонов и Никита шли за ним. Маленькая ветхая лесенка с полусгнившими ступеньками вела наверх, на чердак.

Было очень темно.

— Осторожнее, — сказал Циолковский, — держитесь за меня.

Он откинул назад руку. Навстречу ей протянулась влажная рука Каннига. Беркович держался за Каннига. За Берковича держался Никита. Последним шел Ассонов.

В темноте Циолковский полез наверх. Ступеньки скрипели.

— Куда он нас тащит? — спросил Канниг.

— На небо, — ответил Циолковский тихо.

— Судя по этой лестнице, — заметил Ассонов, — мы идем не в рай, а в преисподнюю. Хотя бы свечку зажгли.

Один за другим поднялись на чердак. В узкое окошечко блеснула яркая звезда. Косой полосой лежал белый свет луны, освещаая балки, покрытые пылью, разобранную воздуходувку, старые модели дирижабля.

Циолковский легко вылез в окошечко и быстро полез на гребень крыши. Остальные последовали за ним. Великолепная вселенная открылась перед ними во всей своей грандиозности, тайне, ритмичности и вечности. Внизу серебрилась Ока. Слева был город, как алмазы сверкали зеленые окна. Справа — синие поля и леса. А сверху раскинулся небесный купол.

— Вот! — сказал Циолковский, задохнувшись от волнения.

Он сел на гребне крыши.

— Садитесь.

Даже Беркович молчал, чувствуя, что сейчас неуместны шутки. Циолковский откинул назад длинные волосы и поднял голову. Глаза его на белом лице были широко открыты.

— Вот она — вселенная! — сказал он, размашистым жестом обведя горизонт.

Вселенная была необъятна. Черное по краям купола небо светлело к центру и ярко светилось голубым сиянием вокруг совсем белого, почти прозрачного облака. За облаком была луна. Звезды на краю неба казались близкими. Далекими казались леса, река, городские здания, колокольни... будто точка наблюдения находилась высоко-высоко над землей, ближе к звездам, чем к земле.

Это было знакомое, виденное с детства небо. И это была вечно незнакомая, видимая впервые в жизни вселенная.

Тихое, молитвенно-молчаливое настроение овладело всеми. Они глядели на вселенную и слушали ее тишину. Где-то далеко-далеко лаяла собака. Сторож колотил в колотушку. Но разве могли эти слабые звуки нарушить величественную, всепокоряющую и всеобъемлющую тишину вселенной?..

— Не одна только любознательность толкает нас проникнуть в заатмосферные пустыни, — медленно говорил Циолковский. — Там множество всяческих сокро-

вищ. Но, может быть, самое главное сокровище — это познание тех законов, которые определяют жизнь вселенной. Вселенная устроена разумно, стройно и гармонично. То, что разумно и гармонично, может нести в себе только радость и счастье. Я вижу эту радость и счастье, когда смотрю на небо, на вот эти звезды. Как же могу я допустить, чтобы в совершенной вселенной, во вселенной, которая есть радость и счастье, существовала одна такая частица, на которой властвовали бы горе, раздоры, несправедливость, нужда?

Сейчас земля есть пустыня. Чтобы всю землю завоевать, засадить полезными растениями, сделать теплой и щедрой, — надо, прежде всего, чтобы земля стала всеобщим достоянием. Но и этого мало. Один человек не может за свою короткую жизнь использовать и тысячной доли тех благ, которые способны дать ему земля, атмосфера и солнечная энергия. Люди должны объединиться, — только тогда они смогут стать настолько могущественными и сильными, чтобы взять все от природы. Объединить человечество может только труд. Это откроет невиданные просторы перед нашим разумом. Нас окружают тысячи тайн, ждут великие открытия, и довольно простого движения, гениального дуновения, чтобы они сделались явными и бесконечно обогатили мир. У меня есть одна молитва. Я повторяю ее ежедневно. Да рассеется тьма! Да будет свет! Пусть спадет с меня моя слепота!..

Прокричал петух. За ним еще один. В разных концах города, то тише, то громче, на разные голоса, начали перекличку петухи.

Только теперь все заметили, что небо посветлело. Приближалось утро.

Было прохладно. Некоторое время все сидели молча, следя за тем, как рассеивается ночь. Первым поднялся Ассонов.

— Холодно, Константин Эдуардович.

— А?

— Холодно, говорю.

— Холодно? — удивился Циолковский. — Да, возможно. Пойдемте. — И он стал поспешно спускаться по крыше к чердачному окошку.

Когда сошли вниз, Беркович сказал:

— Все-таки это как-то несолидно: акционеры ночью влезают на крышу!..

Начиная с воскресенья, на берегу, против дома Циолковского, строились три самоходные лодки. Работал преимущественно Никита. Беркович носился по городу, разыскивая покупателей будущих лодок. Канниг писал устав акционерной компании. Циолковский вместе с Никитой работал топором, рубанком, пилой, а когда уставал, шел отдыхать к своему письменному столу, где его всегда ждали недоконченные расчеты, недописанные статьи.

Через месяц одна из лодок была спущена на воду. Она предназначалась купцу Гришину. Беркович привел Гришина на берег. Гришин был степенен и молчалив. Сапоги его блестели. Сюртук туго обтягивал квадратную фигуру. На ворот сюртука напознала жирная, похожая на тесто шея. С ним была дочка — тоненькая, как стебелек, гимназистка с розовым зонтиком в руке.

Гришину лодка понравилась. Он прошел на помост и сел на скамью. Рядом села дочка. По шатким доскам, перекинутым с берега, в лодку осторожно прошел Беркович. Его котелок ради торжественного случая был вычищен. Подмышкой была тросточка. Никита оттолкнулся от берега. Беркович снял котелок, сюртук и стал качать коромысло. Никита присоединился к нему. Лодка поплыла. Гришин сидел солидно, молчаливо, как памятник.

Время было предвечернее. Гришин велел проехать мимо городского сада. Городской сад стоял на крутом берегу. На краю его была каменная терраса, она висела над самой водой. На террасе собирались горожане любоваться закатом солнца.

Беркович безустали расхваливал лодку.

— Я хотел бы знать, где может господин Гришин всего за семьдесят пять рублей купить такой пароход? Ха! Пароход! Это не пароход, а постель: ни тряски, ни качки, ни клопов. Дай бог мне всю жизнь спать на такой перине, как эта лодка! И всего семьдесят пять рублей!

Подплывая к саду, запустили мотор. Мотор сначала не хотел заводиться. Он долго фыркал, как бы отругиваясь, но Никита был упрям, и мотор в конце концов завелся. Теперь не надо было качать коромысло. Лодка быстро шла вниз по течению. Беркович надел сюртук и котелок и самодовольно поглядывал на берег. Там, на террасе, стояли господа и дамы. Мужчины махали шляпами и фуражками, дамы — платочками и зонтиками. Какой-то черненький гимназист, перегнувшись через балюстраду, махал фуражкой и кричал во все горло: «Нин-на! Нин-на!..» Дочь Гришина стыдливо опустила длинные ресницы и вертела в руках зонтик. И вдруг мотор зачихал, закашлял, зашипел, вода вокруг лодки вспенилась, и лодка закружилась на месте. Она кружилась все с большей быстротой и раньше, чем кто-либо успел что-нибудь сообразить, стала погружаться передней частью в воду. Все пассажиры оказались в воде. Длинный тонкий вопль повис в воздухе. Кричали девица и Беркович.

Гришин тонул молча, потому что кричать у всех на виду было непристойно. «Да и что тут кричать, — думал он, — когда и так все видят, что тонем».

Никита кружился вокруг них. Он хорошо плавал и подхватил девушку. Беркович цеплялся за него. От берега отчалили две лодки сразу. Утопающие были вытащены. Они вышли на берег мокрые, в облипшей одежде, дрожа от холода. Гришин, выжимая бороду, тихо сказал Берковичу:

— Ну, жидовская морда, я тебе этого не забуду!

Больше никто не захотел купить самоходную лодку системы Циолковского. Напрасно Беркович бегал по всему городу, напрасно он клялся своим счастьем, которого никогда не имел, что авария произошла случайно, что лодки совершенно безопасны, — покупателей не было. Две недостроенные лодки остались на берегу.

— Ну, что будем делать дальше? — спросил Беркович.

Циолковский сидел на бревне около недостроенных лодок. Не поднимая головы, он сказал глухим голосом, как бы продолжая нить своих рассуждений:

— Этого не может быть, господа, — не может этого быть. Однажды профессор Столетов сказал мне словами Гёте: «Если это роза, она должна расцвести»... Она должна расцвести раньше или позже... Может быть, все дело в силе голоса. Если бы я мог прокричать на весь мир, если бы мир узнал о том, что я предлагаю! Ведь мир не знает. Но если бы не сто, а миллион человек узнали мои проекты, то по простым законам логики было бы в десять тысяч раз больше шансов, что найдется человек, который их осуществит. Все дело в голосе. Я кричу недостаточно громко... Если бы у меня были средства на издание своих трудов, на распространение их, если бы не эта проклятая вечная нужда...

— Пойдите, пойдите, господин Циолковский! — Канниг бросился к нему. — Вот это то самое!... Мир должен узнать. И мир узнает, можете поверить моему слову! Паевой капитал нашей фирмы не израсходован. Я добавлю еще пятьдесят рублей. Мы начнем издавать ваши книги. Мы издадим проект дирижабля. Сначала издадим его на русском языке, потом — на французском, английском, немецком, на всех языках мира. На доходы от первых книжек мы станем издавать новые. О! На книге можно нажать миллионы. Мы издадим в течение двух-трех лет все труды Циолковского. Мы заполним сочинениями Циолковского все книжные прилавки мира. Проекты металлического дирижабля и космической ракеты станут известны миллионам людей, всей читающей публике мира. Предоставьте это мне, господа!

За осуществление нового плана Канниг взялся с такой же горячностью, как и за дела акционерной компании «Вселенная». Он вложил в дело не пятьдесят, а сто рублей. В доме Асонова, который лежал в это время больной, среди членов семьи Асонова и его знакомых была проведена подписка на издание сочинений Циолковского. Она собрала еще сто двадцать рублей. Даже Никита принес четыре рубля и долго просил Каннига, чтобы Циолковский ничего об этом не знал.

Беркович взял на себя хлопоты по хозяйственной части: бегал по издательствам, договаривался о бумаге, о сдаче книг на комиссию, о стоимости набора и краски. Канниг ездил в Москву за разрешениями цензуры. Маленькие тонкие брошюры, напечатанные на плохой бумаге, в пестрых — голубых, синих, розовых — обложках стали выходить в свет.

На последней странице обложки печатались такое обращение автора к читателям:

«Все мои усилия достать денег на металлический дирижабль пока ни к чему не привели. Не могу ли я сам себе помочь, делая в то же время полезное? Буду издавать маленькие научные очерки и фантазии. Помогите же мне распространять и продавать их».

Книжки продавались плохо. Не только дохода не давали они, но высасывали из карманов друзей всю наличность. Из двухсот экземпляров брошюры: «Аэроплан, или птицеподобная (авиационная) летательная машина. Исследование Циолковского» — было продано в Калуге, Петербурге, Москве и других городах России шестьдесят экземпляров. Сорок было разослано даром. Сто экземпляров осталось в шкафу Циолковского.

Так же было и с другими брошюрами.

Проект металлического дирижабля был издан на русском, немецком и французском языках. На первой странице крупным шрифтом значился адрес изобретателя. Для того чтобы иностранным читателям было легче писать, адрес приводился латинским шрифтом. Это издание тоже ушло в магазины. Опять печальные сведения от книжных торговцев. В Петербурге продано двенадцать экземпляров... В Калуге — четыре экземпляра... В Москве — восемнадцать... Опять тридцать — сорок экземпляров даром разослано ученым, академикам, университетам, министрам... Опять больше сотни экземпляров были поставлены на полку книжного шкафа Циолковского.

Канниг не унывал:

— Настойчивость! Настойчивость и настойчивость! — говорил он. — Увидите! Придет время, когда со всех концов земного шара помчатся к вам письма;

когда читатели будут просить, умолять выслать им хоть один экземпляр брошюры; когда будут рады заплатить за него не пятнадцать копеек, а пятнадцать рублей! Увидите: это будет и будет скоро...

В одном из новых изданий брошюры, посвященной дирижаблю, Циолковский крупными буквами напечатал: «Приходите посмотреть мои модели в любую среду, в шесть часов вечера. Мой адрес: Калуга, Коровинская улица, против детского приюта».

На эту брошюру он возлагал особые надежды. Не ожидая, пока найдутся покупатели, он сам позаботился о том, чтобы она попала в руки наибольшего количества людей. Он послал ее в редакции московских газет, во все научные общества Москвы, большому количеству ученых и инженеров.

Беркович специально отправился на вокзал и переговаривал с каждым извозчиком: если, мол, приезжие будут спрашивать Циолковского, так везти туда-то, чтоб зря не искали.

В ближайшую среду, с утра, Варенька вымыла полы, прибрала в комнатах. Никита и Беркович помогли Циолковскому развесить и расставить модели так, чтобы их легче было рассмотреть. По стенам были развешаны чертежи дирижабля. На верстаке разложены труды Циолковского, посвященные воздухоплаванию.

Циолковский надел сюртук, галстук. Беркович волновался, бегал вдоль улицы и около дома, чтобы проводить каждого посетителя до дверей. Ассонов, который почти не поднимался с постели, преодолел болезнь, пришел к Циолковскому и, сидя в кресле, занимал Циолковского разговором. А Циолковский не мог скрыть нетерпения. Он поминутно выглядывал за дверь. Ему все время казалось, что стучат, что кто-то пришел, что его спрашивают.

Московский поезд приходил в три часа. Канниг поехал на вокзал встретить москвичей.

Но никого не встретил. Нельзя же было у каждого приехавшего спрашивать, зачем он приехал.

— Один, безусловно, к вам, — говорил он убежденно, — с большой бородой, в очках; голову даю на отсечение, что профессор. Он, наверно, едет сейчас

на извозчике. Извозчики, мерзавцы, нарочно везут кружным путем, чтобы побольше содрать. Беркович! Что вы здесь торчите! Выйдите на улицу посмотреть — может быть, извозчик не может найти дома...

В половине седьмого на Коровинской улице появился извозчик. Беркович бросился в дом, крикнул: «Едут!» Циолковский растерялся, снял зачем-то очки, стал вытирать платком. Ассонов пересел на другой стул. Беркович выбежал обратно и поспешил навстречу извозчику. Варенька и дети прилипли к стеклам. В пролетке сидел Гермоген Гермогенович. Он не обратил внимания на Берковича, долго расплачивался с извозчиком, потом не спеша вошел в дом. Небрежно кивнув Циолковскому и Ассонову, он стал рассматривать модели и чертежи.

Циолковский спросил:

— Может быть, пояснить?..

— Благодарю, не нуждаюсь.

Он быстро все осмотрел, не задал ни одного вопроса, не сделал ни одного замечания и так же, как вошел, поджав губы, поблескивая пустыми, ничего не выражающими стекляшками очков, чуть заметно кивнул головой и вышел.

Циолковский и Ассонов молчали.

Больше в эту среду никто не пришел.

Канниг утешал:

— Вот увидите, приедут в следующую среду! Знаете... пока прочитают брошюру, пока один другому сообщит!.. Может быть, и погода помешала — пасмурный все-таки день. Да и собратъся требует времени, хоть недалеко Москва, но все — в другой город...

Однако и в следующую среду никто к Циолковскому не пришел.

В одну из сред Никита привел с собою четырех товарищей железнодорожников. Циолковский обрадовался им, велел Вареньке подать чаю. Долго рассказывал про дирижабль, показывал чертежи, модели, на прощание растрогался до слез, поцеловал Никиту, а потом и всех остальных.

Других посетителей у него так и не было, и вскоре он перестал их ждать.

Шли годы. Жизнь текла мимо Циолковского. Он был в стороне. Остались позади война с Японией и первая русская революция. Над городами Европы проплывал громадный воздушный корабль графа Цеппелина. Русское правительство покупало за границей дирижабли для нужд своей армии. Первые аэропланы, похожие на тот, который был вычерчен Циолковским много лет назад, поднялись в воздух, пересекли Ла-Манш, стрекотали над Москвой и Петербургом... Русский авиатор Уточкин прилетал в Калугу, и в поле за городом калужане осматривали странную птицеподобную машину.

Циолковский не пошел смотреть аэроплан. Он весь день сидел в своей комнате и даже слышать ничего не хотел: как выглядит аэроплан, как летает он, как из себя герой Уточкин.

Никто не вспоминал о Циолковском. Будто не существовало ни его книг, ни проектов, ни чертежей, ни всей его страстно сжигаемой жизни...

Попрежнему в доме властвовала нужда. Циолковский стал еще более одиноким: Асонов был болен, почти не выходил из дому. Канниг разъезжал по белу свету. Никита ушел в революционную борьбу. Дети выросли; старшие были в Петербурге, младшие жили своей жизнью. Заходил только Беркович. Он искал деятельности, рад был всякой возможности помочь Циолковскому. Но помочь ничем не мог. Иногда он упрашивал Циолковского разрешить отнести письма на почту и выполнял это поручение так деловито и озабоченно, с таким старанием и такой многоречивостью, будто именно от этих писем, и только от этих писем, зависела судьба Циолковского.

Все свободное от службы время Циолковский проводил за своими рукописями. Не писать не мог. Может быть, имел он возможность строить свой дирижабль и космическую ракету, — он писал бы меньше. Но бумага была единственной доступной ему верфью, перо — единственным доступным ему инструментом. Писать — значило воплощать свои замыслы. Не так

воплощать, как хотелось бы, но все-таки воплощать.

Иногда Циолковский подходил к книжному шкафу. Две полки были заполнены его сочинениями. Он долго смотрел на них, брал книжки в руки, перечитывал заглавия. Это он оставит людям. Это останется навсегда. В книгах видел Циолковский свое бессмертие. Пусть жизнь пройдет неудачно, пусть так и не увидит он своего дирижабля, пусть насмешки и невнимания будут сопутствовать ему до гроба; он умрет — останутся его книги. Умирают люди, умирают деревья, рассыпаются камни. Книги не умирают. Книга будет тлеть, тлеть, может казаться черным холодным углем, лежать под слоем пыли, быть забытой, но стоит прийти человеку, который смахнет с нее пыль, возьмет ее в руки, и в ней засветится огонек мысли, и она станет теплой и затрепещет в руках человека другого поколения.

Каждое утро происходило тяжелое расставание. Надо было расставаться с письменным столом, с рукописями, с всегда новыми и всегда жгучими мыслями. Надо было идти в училище. Циолковский надевал сюртук, брал шляпу, но снова подходил к столу, нежно смотрел на рукописи, перечитывал последнюю строчку, проверял последнюю формулу, потом с болью отворачивался и уходил с поля своих битв, из мира своих радостей.

Однажды приехавший из Петербурга Канниг рассказал Циолковскому о судьбе воздушного корабля капитана Костовича. Больше двадцати лет назад русский капитан Костович предложил проект воздушного корабля с хвостом и крыльями. Корабль этот был назван «аэроскаф». Конструкция корабля была оригинальная. Он двигался с помощью сжатого воздуха. Костович был тогда молод, энергичен, сумел многих убедить в реальности своего проекта, представил детальные чертежи. По инициативе профессора Менделеева в Петербурге было учреждено Русское общество воздухоплавания с паевым капиталом в двести тысяч рублей, которое поставило своей задачей построить аэроскаф Костовича.

На берегу Невы была открыта большая воздухоплавательная верфь. Там начал Костович работу. Костович был серьезным инженером. Он проводил множество опытов, разработал специальный двигатель для своего корабля. Через десять лет остов аэроскафа и баллонная ткань были изготовлены. Но деньги кончились. Требовалось еще не менее пятидесяти тысяч рублей.

Он опять обратился к Менделееву. Тот вместе с академиком Рыкачевым и Костовичем поехал в военное министерство. Через влиятельных лиц обратились к царю. После нескольких лет хлопот и беготни Костович получил еще тридцать тысяч. Работа возобновилась. Через три года воздушный корабль был построен наполовину, а деньги снова израсходованы. Требовалось еще тысяч тридцать. Снова начал Костович околачивать пороги министерства и влиятельных лиц, но интерес к нему, за давностью лет, уже ослаб, никто не хотел и слышать о том, чтобы дать еще хоть копейку.

Однажды является к Костовичу какой-то юркий субъект по фамилии Яншин. Везет он его в ресторан и сообщает, что имеет поручение некоей американской фирмы, желающей купить у Костовича аэроскаф в том незаконченном виде, в котором он сейчас находится. Цена — двадцать тысяч рублей.

Костович долго не соглашался, а потом рассудил так: «Все равно работу продолжать не могу, никто в России моим аэроскафом не интересуется, все о нем забыли. Чем пропадать добру и труду, продам-ка я его, действительно, за двадцать тысяч. Пусть достроят американцы». Стали договариваться о деталях: Яншин говорит: «Неловко Америке открыто покупать в России воздушный корабль, имеющий военное значение. Обидеться может Россия. Сделать это надо секретно. В назначенный день придет в Финский залив американский пароход, но в Неву не войдет. А войдет в Неву баржа. Поздно вечером подойдет она прямо к верфи, за ночь вы закончите погрузку, и до зари баржа отвезет ваш аэроскаф на пароход. Как только будет закончена погрузка, — говорит Яншин, —

я вам уплачиваю десять тысяч, а остальные — когда аэроскаф будет принят на пароход». Так и договорились.

В назначенный вечер баржа подошла к верфи Костовича. Началась погрузка. Костович руководил погрузкой сам. Все шло великолепно, но когда погрузили на баржу остов корабля, баржа неожиданно для всех пошла ко дну. Так она и затонула у самого берега вместе с аэроскафом. Не трудно себе представить состояние Костовича.

Через некоторое время, когда первый порыв горя несколько ослаб, Костович стал разыскивать Яншина. Яншина нигде не было. Костович обегал весь Петербург, — Яншин как в воду канул. Костович узнал, что имел Яншин какие-то дела с морским ведомством. Он — туда. Там у него были знакомства. «Не знаете ли, — спрашивает, — такого Яншина?» — «Да, — говорят, — знаем. Только сейчас его в Петербурге нет, наверно, уехал обратно в Америку...» И вот Костович выясняет, что месяц назад явился этот самый Яншин в Адмиралтейство, отрекомендовался уполномоченным американской фирмы и сказал: «Один американский инженер сконструировал воздушный корабль. Корабль уже наполовину построен, но американское правительство дает за него строителю слишком малую сумму. Вот он и решил предложить свой наполовину построенный корабль русским. Мол, не лучше ли русскому правительству, чем возиться с фантастическим проектом Костовича, заплатить пятьдесят тысяч и купить американский воздушный корабль?» В морском ведомстве обрадовались. Сообщили царю. Царь сказал, что и думать нечего, немедленно купить. Уплатили Яншину аванс двадцать тысяч и договорились, что остальные тридцать тысяч будут уплачены в тот момент, когда заморскую диковинку баржа доставит прямо к воротам Адмиралтейства. Баржа должна была причалить к Адмиралтейской пристани в то самое утро, когда отчалит она от пристани Костовича.

— Вот, собственно, и все! — сказал Канниг
Все? Нет, это было не все.

Циолковский долго не мог успокоиться. Он бегал по комнате и требовал от Каннига ответа:

— Почему это так? Почему, милостивый государь? До каких пор русское общество будет страшиться своего собственного, российского, и приветствовать все чужеземное? Извольте знать, что хотя газеты и кричат сейчас: «Райт! Блерио! Фарман! Цеппелин!», — но в действительности отцами воздухоплавания являемся только мы, русские. Да, да, милостивый государь, русские: Менделеев, Жуковский, ваш покорный слуга...

Под сильным впечатлением рассказа Каннига он в тот же вечер написал письмо в Генеральный штаб русской армии. Письмо было злым и решительным. Циолковский напомнил, что первым в мире, за восемь лет раньше своих иностранных коллег, разработал конструкцию аэроплана. «Почему же, — спрашивал он, — русские авиаторы летают на аэропланах, построенных руками немцев, французов, англичан?..» Он напомнил, что первым в мире сконструировал металлический управляемый аэростат. «Почему же для вооружения русской армии покупаются за границей никуда негодные матерчатые аэростаты, а самый совершенный в мире воздушный корабль остался лишь в чертежах?»

Циолковский просил Генеральный штаб прислать в Калугу доверенное лицо, которое ознакомится с проектом и моделями дирижабля и даст свое заключение. До заключения Генерального штаба Циолковский обязался прекратить всякую публичную демонстрацию своих моделей и не опубликовывать новых исследований, чтобы результаты его многолетних трудов не стали бы известны другим странам раньше, чем России.

Хмурый, мрачный, все время раздраженный, ждал Циолковский ответа Генерального штаба.

Однажды пришел Беркович и сообщил, что его торгавля прогорела окончательно и он уезжает в Витебск. Там живет его брат Эля! Эля лучший портной в Витебске. Он такой портной, что у него шьют все офицеры и все дворяне, и даже сам витебский губернатор, говорят, собирается заказать ему фрак! У Эли

есть талант, но нет коммерческой жилки, а у Хаима, наоборот, есть коммерческая жилка, но нет таланта! Так они соединят талант и жилку. Беркович откроет магазин готового платья! Эля одолжит ему на первое время! Слава богу, родные братья, как-нибудь рассчитаются... Беркович был весел и безумолку болтал о своем новом плане, но когда наступила минута расставания, он вдруг без всякого перехода припал к плечу Циолковского и заплакал. И плакал долго, горько, по-стариковски.

Заплаканный, с мокрой бородой, сжав в руке большой носовой платок мутно-красного цвета, он ушел. Выйдя из дому, остановился и долго смотрел на то окно, за которым был Циолковский. Смотрел, и слезы текли по его морщинистому лицу, он утирал их платком, а они текли и текли...

Теперь у Циолковского никого не осталось в городе, кроме Никиты. Но Никита бывал редко. Иногда не приходил месяцами.

После долгого ожидания был получен ответ из Генерального штаба.

В толстом изумительной белизны конверте находилось письмо Циолковского. Наискось листа, поверх написанного, отличным каллиграфическим почерком было выведено: «Инженеру для поручений сообщить, что: 1) Доверенное лицо не прибудет. 2) Демонстрировать модель публично разрешается. 3) Если угодно, модель может быть прислана и по осмотре взята обратно без каких-либо расходов от казны». Ниже стояла подпись начальника Воздухоплавательного отделения Генерального штаба.

Циолковскому показалось, что дверь надежды захлопнулась перед ним накрепко. Чего ждать ему еще на своей родине?... Родина? Нет. Его родина — та, которая станет родиной его воздушного корабля, ракетного снаряда! Его родина — это родина счастливого будущего, всеобщего блага и процветания!

Он схватил конверт, торопливо записал его в карман и побежал к Никите. Пусть Никита научит его, что делать! Никита знает! Никита борется за будущее родины! Циолковский придет к нему и скажет:

— Вот, Никита, я уже не молод, но только теперь понял, что ты прав... Я твой товарищ, Никитушка, научи, что делать...

Но Никиты не было ни дома, ни в мастерской. Оказалось, что неделю назад Никита арестован за распространение большевистских прокламаций.

Циолковский вернулся к себе гневный и возбужденный.

— За границу! — кричал он. — Немедленно. Завтра же!

Он переполошил весь дом. Требовал, чтобы Варенька и дети немедленно начали сборы в дорогу. Не хотел ждать ни часа. Он притащил чемодан и стал сбрасывать в него свои книги, рукописи, модели. Они уедут завтра же, дневным поездом, в Москву и оттуда за границу. Деньги? Они доберутся кое-как, четвертым классом! Они пойдут пешком, чорт возьми, он умеет ходить, он дойдет хоть до Парижа...

В комнате все было перевернуто вверх ногами. До отъезда оставалось еще много времени: весь день, весь вечер, все утро. Надо было успокоиться. Успокаивали только работа и ходьба. Работать было невозможно, оставалась ходьба. Варенька сидела у раскрытой дорожной корзины и уныло укладывала туда белье... Циолковский не шел по улице, а бежал, будто желая поскорее убежать от дома, от города, от своей горечи, которая разрывала его сердце. Вид его был страшен. Дети, завидев его, испуганно шарахались в сторону. Прохожие долго смотрели вслед. Он шел все прямо-прямо. Город кончился. Начались поля. Впереди было громадное одноцветное небо. Оно было над ним всегда. Это было небо его родины, небо его детства. Он привык к нему и любил его. Он любил эти поля, запах этой земли, черную каемку леса на горизонте, ровные длинные улицы, оставшиеся за его спиной, маленькие деревянные дома и высокие белые колокольни. Он любил людей своей родины, родившихся и выросших под этим небом, — великого Ломоносова и мудрого Столетова, страстного Писарева и добродушного Никиту, беспокойного Менделеева и

отзывчивого Голубицкого... Нет. Другой родины ему не надо. Никуда он отсюда не уедет.

Он повернулся и быстро пошел обратно.

Раскрыв дверь в комнату, он увидел Вареньку. Она сидела у корзины, странно опустив руки на колени. Потом сказала очень тихо:

— Сыночек наш... Игнашенька...

И как только сказала это, вдруг громко зарыдала. Несмотря на то, что сказала она это очень тихо, Циолковский услышал не только каждое слово, — он услышал то, чего не слышал никогда. Он услышал вдруг сдавленные слезы девочек за стеной, далекий гудок паровоза на вокзале.

Игнатий оставил записку: «Революция подавлена. Лучшие люди России высланы или же находятся за тюремной решеткой. Никто ничего не сможет сделать. Прощайте».

Варенька рыдала, казалось, все горести прожитых ею лет, все ее долготерпение, все затаенные обиды, все невысказанные страдания вдруг могучим потоком, прорвав плотину, ринулись наружу. Варенька бросилась перед мужем на пол, обхватила руками его ноги, молила:

— Ты умный, ты ученый, верни мне его, он мой сыночек, верни мне его, сыночка... — Он опустил голову на руки и молчал. Ему нечего было сказать ей в утешение. И оттого, что он молчал, она становилась все требовательнее. — Ты учишь, что жизнь бесконечна, что наука всеильна, так верни же мне его, верни мне сыночка, мне ничего больше не надо, верни только его...

Она валялась у него в ногах, ее седые волосы растрепались.

— Варенька, Варенька... — Чем он мог ее утешить? Чем он мог утешить себя?.. Он стал говорить: — Да, жизнь бесконечна. Умирает лишь наше сознание. Тело человека состоит из атомов...

— Замолчи! — закричала Варенька. — Замолчи! Я не могу больше этого слушать!..

Он не понял, испугался. Что она так? Разве у него не болит сердце за сына?..

Прибежали дети, увели мать, дали ей успокаивающего, уложили в постель. Циолковский сидел, закрыв глаза, в полной неподвижности. В доме было очень тихо, так тихо, что Циолковский не знал, действительно ли это такая тишина или он совсем оглох и теперь уже ни один звук не сможет пробиться сквозь стену его глухоты.

Он встал только ночью. Вышел в комнату семьи. В окно светила луна. На белой лунной дорожке на коленях стояла Варенька перед иконой. Губы ее шевелились. Она была совсем белая, как привидение. Он постоял за ней некоторое время. Она чувствовала, что он стоит за нею, но не прерывала молитвы. Тогда он медленно опустился на колени рядом с нею. Как он хотел бы молиться тоже! Вот так, глядеть на изображение бога и просить у него силы, надежды, помощи! О, ему есть о чем просить бога! Если бы только мог верить он в бога! Но в бога он не верил. Он обнял Вареньку за узкие плечи и не знал, что сказать ей. И первый раз в жизни почувствовал, как слезы подкатываются к глазам и какое облегчение в них. Слезы поднимались из самой глубины его души. Никогда не испытанное состояние поразило его. Слезы застилали взор и мешали говорить. Он прижался плечом к плечу Вареньки. А она, увидев его слезы, испугалась, заплакала сама и тоже ничего не говорила, только гладила ладонью по его мокрому лицу, по волосам...

Они долго сидели на полу, тесно прижавшись, плача и не утешая друг друга. Потом медленно поднялись, она оперлась на его руку, и он повел ее к постели. Они прошли мимо зеркала, висевшего на стене. Зеркало было освещено светом луны. Циолковский увидел в нем две фигуры, сгорбленные, немощные, беспомощные. Они поддерживали друг друга и выставляли вперед руки, чтобы не наткнуться на стулья.

Эта картина поразила Циолковского. Он глядел на свое отражение и не мог узнать в нем себя. Неужели этот старик — он, Циолковский, который до сих пор считал, что все впереди, что все прожитое — лишь вступление к жизни? Неужели — жизнь уже в прошлом? Как же это так незаметно прошла она?

Утром все болезни заявили о себе сразу. Болел живот, болела поясница, болела голова, болели уши. На душе было так скверно, что не хотелось открывать глаза.

«Все кончено, — думал он, — все напрасно. Напрасно прожита жизнь, напрасно затрачены усилия... Все напрасно. Он ничего ни для кого сделать не может. Сколько времени так вопить одному в этой мертвой, выжженной людским равнодушием пустыне? Где почерпнуть новые силы и новые надежды?.. Все кончено, — думал он, — осталось только умирание». Больше он ничего не хочет, только лежать вот так, вытянувшись, прикрыться пальто, чтобы было теплее, бросить на простыню непривычные к праздности руки.

Он медленно поднялся. Аккуратно собрал рукописи, разложенные на столе, нашел веревку, перевязал рукописи и сложил их в шкаф. Затем он отнес в шкаф все книги. Запер шкаф на ключ и ключ положил в ящик стола. Все было кончено. Он лег опять.

«Циолковский умер, — думал он, — полчаса назад умерло все смертное, что было в Циолковском», — перефразировал он эпитафию над гробом Исаака Ньютона.

Через стекло шкафа он видел полку, на которой осталось то, что было бессмертно в Циолковском, — все написанные им брошюры, книги, журнальные статьи.

Знобило. Он натянул пальто на голову. Не спалось. Все мучительнее болел живот. Циолковский стал тихо стонать. Было хорошо, что никого в комнате нет и некому услышать его стоны.

Так он лежал и стонал некоторое время, и вдруг стало ему очень горько и плохо оттого, что никто не слышит его стонов, и захотелось, чтобы кто-нибудь вошел и понял, что Циолковский болен, что он устал, что он не хочет больше бороться с жизнью; чтобы тот, кто войдет, пожалел его и оплакал. Но никто не приходил. Он подумал, что сам виноват в этом, что сам отучил заходить к себе без надобности Вареньку и детей.

Но когда пришло время завтракать, дверь раскрывалась и заглянула Варенька. Глаза ее были припухшими, но в остальном она была прежняя: аккуратно

причесанная, чисто одетая, как обычно, озабоченная и деловитая. Она сразу увидела, что лицо Циолковского бледнее, чем всегда, искажено болью. Захлопотала около него: «Грелку! Кофе! Доктора!..»

Хотя только что ему хотелось жалости и участия, он почувствовал, что из глубины его души поднимается злоба против Вареньки. Неужели она не понимает, что ему не помогут ни грелка, ни кофе, ни доктор, что его жизнь прожита напрасно, что он бессилен сделать что-нибудь для людей, что он так и умрет со славой чудака и фантазера, и никто не узнает, что был он самым трезвым и расчетливым из людей и видел то, чего не могли видеть другие...

Он смотрел на Вареньку тяжелым железным взором.

— Уйди! — сказал он тихо, подавляя в себе гнев. — Прошу тебя: уйди, мне ничего не надо.

Опять он остался один. Время тянулось небывало медленно. Казалось: день никогда не кончится. Принесли завтрак, потом обед. Он ни к чему не притронулся.

После обеда Варенька подслала Анечку. Анечка была худенькая, в легоньком платьице, с острыми лопатками. Она была похожа на Вареньку — те же хлопотливые глаза, тот же участливый тон:

— Папочка, родненький, может, позвать доктора?

Он отбросил пальто. Сел, свесил с кровати ноги и закричал:

— Да оставите ли вы меня в покое, наконец?!

Оставшись один, он почувствовал стыд и раскаянье. За что обидел девочку? Напугал? И одновременно с этим было облегчение. Ему надо было завопить от горя, отчаяния, пустоты, одиночества, оттого, что нечем было дышать и нечем жить. Теперь, после того, как он закричал на Анечку, выкричал свою боль и тоску, стало легче.

Смеркалось. Он стал одеваться. Одевался медленно, с трудом поворачиваясь. Надел пальто, шляпу, взял палку. Осторожно, чтобы никто не услышал, вышел в прихожую. Спускаясь по ступенькам к выходной двери, опирался на перилыца, чтобы уменьшить тяжесть своих шагов.

На улице было сыро. Воздух был насыщен влагой. Тучи неслись низко над крышами, взлохмаченные, встревоженные. От реки тянуло холодом.

Циолковский поднялся вверх по Корвинской. Он спешил. Надо было немедленно объявить всему миру, что Циолковский умер для человечества, что он больше не хочет думать о будущем. Хватит! Он благодарит покорно. «Да, да, да, — стучал он по земле своей палкой, — вините в этом себя, милостивые государи, себя вините! Я сыт по горло вашей благодарностью, вашим вниманием, вашими заботами. Хватит! К чертовой матери. . .»

Циолковский дошел до дома Асонова. В доме были огни, на оконных стеклах двигались тени. Залаяла во дворе собака. Циолковский замахнулся палкой: «И ты еще, поганая тварь! Мало того, что я терплю от людей, так еще ты набрасываешься на Циолковского. Убью! Ей-богу, убью! . . .» Испуганная собака забралась в будку, поджав хвост и скаля зубы.

Асоновы собирались к отъезду. Утром вся семья уезжала в Петербург. Василий Иванович был очень плох. Его землистый цвет лица, тусклые глаза — все говорило о приближении конца.

Асонов лежал на диване. Циолковский говорил тихо, с частыми паузами, с трудом и горечью выдавливая из себя каждое слово:

— Вот и пожили мы с вами на белом свете. . . Вы поедете в Петербург. Там у вас друзья — ученые, революционеры, передовые люди. Вы им расскажите про меня. Вы всем расскажите. Пусть все знают, что жил в России ученый-самоучка Константин Циолковский, что Циолковский дал первый в мире проект управляемого цельнометаллического дирижабля, открыл возможность исследования мировых пространств с помощью ракеты, раньше всех других разработал конструкцию аэроплана, исследовал законы сопротивления воздушной среды. Расскажите всем, что много еще другого изобрел Константин Циолковский. Я нашел способ предохранения хрупких вещей и организмов от сотрясения. Я открыл средство подавать световые сигналы с Земли на Марс. Я разработал уче-

ние о монизме вселенной, о бесконечности радости и гармонии в природе. Я придумал, как бесплодные пустыни сделать цветущими садами, как солнечную энергию превратить в движение машин и станков. Я дал миру около сорока различных открытий и изобретений, но единственное изобретение, которое мне удалось за пятьдесят лет своей жизни осуществить,— это жестяная слуховая труба, которую я сам сделал, чтобы лучше слышать... — Он замолчал. Молчал и Ассонов. Циолковский встал со стула и продолжал, расхаживая по комнате: — Вы расскажите там, в Петербурге, что больше Циолковский ничего не даст миру, что он сломлен неравной борьбой с косностью, невежеством и равнодушием. Он не имеет больше ни сил, ни надежд... Я не знаю, много или мало пройдет лет, пока люди обратят внимание на мои труды и захотят использовать их для своего блага. Меня не будет, но останутся мои рукописи и книги, модели и чертежи. Это мое наследство и завещание людям. Пусть не пропадет мое богатство бесследно. Пусть станет оно достоянием всех...

Они расстались, как двое обреченных на смерть. Оба знали, что больше не свидятся. Оба крепко пожали друг другу руки.

Вернувшись домой, Циолковский опять лег на постель, накрывшись пальто. Так пролежал всю ночь, не зная, сон это или бессонница.

Он ждал смерти, но смерть не приходила. Ждать смерти было скучно. Думалось все об одном и том же: как горько умирать не услышанным. Но пустыня велика и необъятна, и сколько бы ни кричал он еще, все напрасно — никто не услышит. Пустыня была желтой и выжженной солнцем. И никто не узнает, как сделать пустыню цветущим садом. Конечно, прежде чем умереть, следовало бы сесть к столу и записать хоть бы конспект статьи о возможности заселения пустынь. Конспект он начнет так:

«Когда общественная организация человечества будет настолько совершенна, что раскрепостит человеческий разум, а вся земля и все ее богатства станут общим достоянием, человечество должно будет

заняться превращением песчаных пустынь и ледяных полей в райские земли...»

«...Когда общественная организация человечества будет настолько совершенна... Когда общественная организация... Может быть, действительно, неправильно прожита вся жизнь? Может быть, действительно, надо было все силы устремить на другое? Но уже нет сил, чтобы жизнь начать с начала... Осталось только умереть».

«Смерть, — думал он, — это вечность, полное слияние с космосом. В природе нет мертвого. Умерев, я стану жить жизнью звезды, кометы, метеора, частицы эфира в безвоздушном пространстве. Что же это за жизнь? Религиозное представление о загробной жизни не выдерживает критики. Научного представления не существует...»

Ему захотелось создать науку о смерти — научно объяснить, что ожидает человека после смерти. Он встал с постели, подошел к столу, стал писать: «Во вселенной нет живого и мертвого. Все живо. Со смертью, или переходом органического в неорганическое, чувствительность и отзывчивость, отличающие живое от мертвого, не прекращаются, а лишь ослабевают... В математическом смысле вся вселенная жива...»

Циолковский жил, учил детей, иногда разговаривал с домашними, ходил по улицам, но не чувствовал себя живущим, а чувствовал себя мертвым. И было удивительно, что смерть так нестрашна.

Однажды ему приснился сон, который он видел уже несколько раз в течение жизни. Ему приснилось, что опять он стоит у подножья высокой каменной башни. Башня старая и ветхая. А наверху — черное, звездное, манящее небо, все в крупных сверкающих звездах. И Циолковский полез на башню. Он забрался в узкую щель между покрытыми мхом камнями. Нащупал ступеньки винтовой лестницы, и ступеньки заскрипели под его ногами. Он взбирался выше и выше, башня раскачивалась с каждым его шагом. Она раскачивалась как маятник. Кружилась

голова. Яркая звезда, светившая в рваный просвет между камнями, двигалась по небу — туда и обратно.

Он вышел на узкий балкончик и увидел близкое небо и далекую землю. И опять — необычные легкость и ликование наполнили все его существо, придали ему силы и крылья. Он хотел поднять кверху обе руки, чтобы коснуться неба и звезд, но раньше чем успел это сделать, увидел, что падает то в одну, то в другую сторону. И падают звезды. И падает башня. Он не мог удержаться, ему не за что было удержаться, и он знал, что сейчас все кончится, он грохнется вниз. И снова, и снова он пытался ухватиться за звезды, но звезды выскальзывали из его рук, и это было ужасно...

Он проснулся и долго не мог притти в себя и все смотрел в окно, удивляясь, что небо неподвижно и нет на нем звезд, а затянуто оно серой тяжелой тучей.

В этот день, подходя к училищу, он встретился с Гермогеном Гермогеновичем. Ему показалось, что сегодня у математика не лицо, а череп. Это не было бы страшно, если бы не стекляшки очков. Как пусто за ними! Как невозможно пусто!.. Может быть, смерть воплотилась в образе этого человека? Может быть, смерть — это пустота, вот такая невыносимая, убивающая, злобная пустота?..

По желтому черепу, показалось Циолковскому, скользнула улыбка. Гермоген Гермогенович обогнал его и вошел в училище. Циолковский уже занес ногу на первую ступеньку, когда почувствовал, что надо обернуться. Он обернулся.

Сквозь серую массу туч, откуда-то с края, прорвался один луч солнца. Он пронзил все небо, прозрачный, сверкающий, неожиданный и чужой на этом сером одноцветном свинцовом фоне.

Это был посланец солнца, посланец космоса, посланец бессмертия.

И вдруг Циолковскому горячо захотелось жить... не жизнью атома в космосе, не жизнью звезды или частички эфира, а мучительной жизнью человека.

Он раскрыл дверь, и до его слуха донесся ровный гул девичьих голосов, топота, смеха...

ГЛАВА ПЯТАЯ

14

Какие бы события ни совершались в его душе, в его доме, в городе, в России или в мире, Циолковский ежедневно приходил в училище. Он пришел в училище и в тот день, когда жители Калуги узнали, что 25 октября в Петербурге произошло революционное вооруженное восстание и государственная власть перешла к большевикам, во главе с Лениным и Сталиным.

В учительской все были встревожены. Словесник Аркадий Павлович, заложив руки за спину, шагал вдоль стены, громко рассуждая. Его пенсне висело на шнурочке и раскачивалось от движений. Полное, сытое, довольное лицо теперь напоминало лицо чем-то обиженного младенца. Аркадий Павлович, надув губы и широко разводя пухлыми розовыми руками, спрашивал:

— Что же теперь будет, Константин Эдуардович? Что-то я не понимаю, что же теперь будет?

— Не имею чести знать, — сухо ответил Циолковский.

— Бросьте, бросьте, милейший, — укоризненно качал головой батюшка. — Вам ли не знать? К причастию никогда не ходили, российскую государственность осуждали, дочь — революционерка...

— И, кажется, вашим лучшим другом был этот, — как его?... слесарь... Балашов? Арестованный за

большевистскую пропаганду, — напомнил Аркадий Павлович.

Гермоген Гермогенович стоял у окна. Он не вмешивался. Его лицо было еще более желчным и мрачным, чем обычно. Он только повернулся к Циолковскому и взглянул на него своими пустыми стекляшками, и стекляшки сверкали ненавистью.

Циолковский спешил в класс, но Аркадий Павлович взял его за пуговицу.

— Нет, постойте, ради бога! Извольте разъяснить, что теперь будет?

— Господа! — сказал Циолковский. — Оставьте меня, пожалуйста, в покое. На моем знамени написан только один лозунг: «Дирижабль и межпланетный корабль!»

— Безумец! — почти беззвучно, выразительным движением губ, произнес Гермоген Гермогенович.

— Вы знаете, кто у нас в Калуге лидер большевиков? — не унимался Аркадий Павлович.

— Нет. Не имею чести быть знакомым.

— Сапожника Матвеева сын, — провозгласил Аркадий Павлович и замолчал на секунду, наблюдая, какое это произвело впечатление. Потом добавил: — И сам сапожник. У Коноплянникова в мастерской работал. Василий Матвеев — вот кто их лидер. — Он нервно засмеялся. — Хотел бы я видеть, как вы будете этому сапожнику рассказывать о законах термодинамики. Он, наверно, и о Ньюtone никогда не слышал.

— А это меня не столь уж пугает, сударь! Господа министры, хоть и слышали о Ньюtone, однако не извоили меня понять. Даже выслушать как следует не захотели. Я сам — самоучка чистейшей воды. Мне с самоучками, может, и легче будет разговаривать... чем с вами!..

Через несколько дней на стенах домов появились первые декреты нового правительства. Они были подписаны Василием Матвеевым.

В городе пылали пожары. Черный густой дым поднимался от горевших складов. Трещали ружейные выстрелы. На улице останавливали прохожих и проверяли документы.

Циолковский, как обычно, пошел в училище. Шел один по пустынным и от этого казавшимся особенно широкими улицам. Магазины были закрыты. Проносились грузовики с вооруженными людьми. Циолковский шел медленно, в котелке, в пальто-разлетаке, постукивая палкой по засохшей осенней грязи.

Двери губернаторского дома охранялись матросами. Стояли пулеметы. Матросы были опоясаны пулеметными лентами. В губернаторском саду, над обрывом, горели костры.

В училище был только швейцар — старик Семеныч.

— Да как же это вы так, батюшка! — всплеснул он руками. — В такое время по городу ходите! Никто сегодня не пришел: ни господа учителя, ни девицы. Вы одни пожаловали.

Революция сразу внесла что-то новое в настроение Циолковского. Он думал: «Если это действительно сам народ пришел к власти, то не станет он так относиться ко мне, как относились кичливые чиновники, выдававшие себя за ученых. Народ легче свергает старые авторитеты и утверждает новые, народу доступны дерзновенные устремления. Теперь, когда свергнута власть капиталистов и в народные руки перешли заводы и фабрики, осуществление моих проектов зависит только от самого народа...»

И он ждал, что народное государство вспомнит о проекте, похороненном Императорским техническим обществом. Он ждал, что Ленин призовет его к себе и скажет: «Где ваши работы, гражданин Циолковский? Народ хочет их скорее осуществить, чтобы молодая советская республика стала самой могущественной страной в мире!»

Это были тайные ожидания и надежды. Ему не с кем было поделиться ими, а поделиться хотелось; хотелось, чтобы кто-нибудь подтвердил, что так и будет; чтобы кто-нибудь сказал: «Ждите! Ваши надежды покоятся на разумных основах».

Циолковский пошел к Каннигу. Он не видел Каннига уже больше полугода. Канниг находился в состоянии «запоя» своим изобретением. Он забыл обо

всем остальном: о Циолковском, дирижабле, аптеке... Для него существовала только маленькая спиртовка и несколько колб и реторт, за тонкими стеклами которых ему мерещился зародыш нового мира, не похожего на тот мир, который мы знаем. Он месяцами не выходил из своей каморки, круглые сутки оставаясь в халате, колпаке и шлепанцах. Он зарос черной курчавой бородой и стал похож на сказочного гнома.

Все заботы об аптеке он полностью переложил на плечи тети Оли. Если тети Оли не было дома, покупатель мог полчаса стоять в аптеке и делать там что угодно — никто не выходил к нему. Покупатель возвращался к двери, открывал и закрывал ее, звонок непрерывно звенел, но Канниг не показывался. Он слышал, как покупатель кричит: «Эй! Проснитесь! Умерли вы там, что ли?..», но не хотел из-за двухкопеечного порошка или бутылочки валерьяновых капель прерывать опыт, от которого зависит будущее мира. И покупатель уходил ни с чем.

Тетя Оля провела Циолковского в комнату Каннига. Павел Павлович не встал навстречу. Даже не обернулся, услышав шаги и голос Циолковского. Он только взмолился:

— Константин Эдуардович, ради Христа, не шевелитесь! Стол трясется!..

Циолковский замер, стараясь не дышать. Канниг продолжал колдовать над спиртовкой. Он колдовал долго, спокойно и размеренно дыша. Может быть, он забыл про Циолковского? Ноги Циолковского затекли, он больше не мог оставаться каменной статуей.

— Нет уж, простите, голубчик! Хватит — постоял. Разрешите теперь и присесть!

Канниг равнодушно выслушал сообщение о революции, о Советской власти.

— Разве? — спросил он. — А я и не предполагал, признаться, что события так серьезны. Слышу, как будто стреляют, да не придавал значения... Э, бросьте заниматься политикой. Лучше посмотрите сюда! Видите?

— Нет. Ничего не вижу.

— Господи! Да как же не видите? — удивился Канниг, восторженно глядя на реторту, наполненную желтоватой жидкостью. — Послушайте! — и он поднес реторту к уху Циолковского.

— Ничего не слышу! — сказал Циолковский.

Канниг не сумел скрыть огорчения. Но огорчение прошло быстро.

— Константин Эдуардович! Я боюсь признаться, но, кажется, я нашел все, что искал. Вот здесь, в этой реторте, заключена энергия расщепленного атома! Может быть, мне не поверят другие, но вы поверите, я знаю, вы свободны от предрассудков! Не пройдет и месяца, как я позову вас сюда и покажу величайшее чудо. Я покажу, как массу вещества можно превратить в энергию.

Он казался безумцем. Циолковскому нелегко было поверить, что этому странному маленькому энтузиасту в провинциальной аптеке, с помощью одной спиртовки и нескольких стеклянных посудин, удалось разрешить сложнейшую задачу современной физики. Но кто знает? Меньше чем кто-либо другой имеет Циолковский право не верить Каннигу.

Канниг ни разу не раскрыл Циолковскому секрета своих опытов. Все откладывал это на будущее, когда опыты принесут окончательный результат. «Пусть ошибается Канниг, — думал Циолковский, — в науке нет абсолютных ошибок. Каждая ошибка чему-нибудь учит и, в конечном счете, ведет к прогрессу... Можно сурово порицать устоявшуюся науку, но то, что в зародыше, — надо лелеять и беречь потому, что, пока это зародыш, никому неизвестно, во что он может развиться...»

С Каннигом не пришлось Циолковскому поделиться ни надеждами, ни размышлениями о новой власти. Поделиться было решительно не с кем. Оставалось ждать и надеяться в одиночестве. Циолковский ждал терпеливо. Он ждал всю зиму, весну, лето. Россия раскололась. В необъятных лесах и степях свистели пули и нагайки, вставляли на дыбы взмыленные лошади, русские люди вели непримиримую борьбу за будущее своей родины.

Разруха и голод сковали Россию цепкими, колючими пальцами. Вдоль длинных, пустынных, занесенных снегом улиц выл ветер, перекашивались пулеметные всхлипы. Обыватели прятались за закрытыми ставнями. Варенька часто крестилась и боялась раскрыть дверь. Слухи ползли по садам, дворам, огородам, шмыгали из калитки в калитку. А в маленьком домике, выходящем окнами на замерзшую под снегом Оку, сидел старик и решал трудную задачу. Это была задача о людях и их крыльях.

«Кончится гражданская война, — думал он, — хлеб взойдет на полях, потухнут пожары и рассеется дым, и снова люди потянутся к солнцу. Им станет тесно в своих деревянных и каменных кельях, они захотят побольше простора, света и счастья, и им потребуются крылья!..»

Раньше он знал совершенно ясно: между народом и крыльями народа стоит стена, через которую не перелезть. Теперь стена разрушена, ее нет. Вот птица, и вот ее крылья; вот народ, и вот его крылья. Как птица не захочет жить без крыльев, так и люди. Что мешает народу взять свои крылья и воспарить вверх к необъятным просторам, к необозримому свету?

Он понимал, что идет коренная ломка всего жизненного уклада, борьба за самостоятельность и будущее России... «Но ведь и сами народные крылья служили бы этой борьбе! — думал Циолковский. — Разве космические корабли и цельнометаллические дирижабли не сделали бы Советскую республику самой могучей, сильной и технически передовой страной в мире?»

«Народу нужны крылья сейчас! — решил он. — Именно сейчас нужно осуществить мои проекты, превратить их в оружие, с помощью которого Советское государство одержит борьбу над всеми своими врагами».

В сумрачный холодный зимний день 1919 года, ничего не сказав домашним, Циолковский пошел в Калужский ревком. О Василии Матвееве рассказывали всякие ужасы. Аркадий Павлович слышал из самых достоверных источников, что Василий Матвеев

ненавидит всякого человека, который носит котелок и шляпу, а не кепку или фуражку. Каждого интеллигента он считал буржуем, а к буржуям — беспощаден.

Циолковский пошел к Матвееву. Он надел котелок и сюртук, почистил ботинки. Он завернул в бумагу по одному экземпляру всех своих брошюр и статей, взял с собой небольшую складную модель оболочки аэростата и **чертежи ракетных снарядов**. Получился изрядный багаж, занимавший обе руки.

Шел снег. Руки сразу замерзли. Улицы были давно не чищены, и Циолковский по колено утопал в **сугробах**. На стенах были расклеены громадные плакаты, напечатанные на серой оберточной бумаге. «К **оружию**, граждане свободной России! — звали крупные квадратные буквы плаката. — Белогвардейским **ордам** Колчака, Деникина и Юденича не удастся затушить пламя революции!»

На главной площади, около городского музея имени купчихи Рыжичкиной, маршировали коммунисты, отправляющиеся на фронт. Штыки колыхались за их спинами. «Вихри враждебные веют над нами, черные силы нас злобно гнетут! В бой роковой мы вступили с врагами...» Песня вздымалась над площадью, а громкий голос командира четко отсчитывал: — **Левой! левой! левой!**...

Около губернского присутствия стоял грузовик. Вдоль его борта на красном полотнище было написано: «**Саботажники не уйдут от расстрела**». Из кузова торчало дуло пулемета, и шесть матросов сидели на бортах. Они были обвиты пулеметными лентами, обвешаны наганами и гранатами.

Ревком помещался в губернаторском доме. Больше часа ждал Циолковский в большом двухсветном зале. Вдоль стен стояли маленькие стулья с бархатными сиденьями и причудливо изогнутыми ножками. Матросы, солдаты, мастеровые сидели на подоконниках, на столах, просто на полу. Синий махорочный дым висел в воздухе.

Кабинет Василия Матвеева был за большой двухстворчатой дверью. Солдат в очках и огромной, не по росту, шинели сидел около двери за столиком. Все

время звонил на столике телефон. Солдат разговаривал тонким простуженным голосом. Иногда он вскакивал и бежал в кабинет Матвеева. Циолковский подошел к нему и сказал, что ему нужен Матвеев. Через некоторое время он услышал голос солдата: — Эй! Который тут Циолковский? Проходи! Товарищ председатель просят пройти!

Кабинет Матвеева был очень просторным. За полукруглыми окнами качались на ветру голые ветви старых дубов. На камине стояли бронзовые часы с неподвижными стрелками.

Василий Матвеев сидел за столом, большим, как поле. На столе стояли телефоны. Дорогой чернильный прибор из малахита был забросан окурками. На высоком подсвечнике висела кожаная фуражка, какие носят рабочие железнодорожных мастерских.

Матвеев привстал навстречу Циолковскому. Его узкие прищуренные глаза были подернуты серой пленкой сонливости. Давно не бритые щеки заросли рыжеватыми волосами. Он улыбнулся и протянул руку:

— Рад познакомиться. Наслышан о вас, гражданин Циолковский. Садитесь. Курить будете? — и он протянул Циолковскому солдатскую масленку, наполненную махоркой. — Нет? Не курите? А знаете, здорово помогает, когда спать хочется. Вот уж совсем засыпаешь, глаза слипаются — не продерешь, а закуришь, и все как рукой... хоть на бал!

Циолковский сел в кресло. Он долго развязывал замерзшими непослушными руками веревки своих пакетов, но развязать не мог. Матвеев предложил:

— Дайте-ка сюда!

Он легко разорвал веревки, опять по его лицу мелькнула быстрая улыбка, и он встал, чтобы подать Циолковскому развязанные пакеты. Он оказался невысоким, широкоплечим. Под кожаной тужуркой была надета солдатская гимнастерка. На его лице отражалось простодушное детское любопытство: что такое могло быть в этих пакетах?

Циолковский разложил на столе все брошюры, статьи и чертежи.

— Вот, — сказал он, — прошу вас, как представителя Рабоче-Крестьянского правительства, познакомиться с этим. Если что будет непонятно, охотно разъясню.

Матвеев окинул взглядом разноцветные книжки и номера журналов «Вокруг света», «Вестник опытной физики», «Наука и жизнь».

— Это зачем же? — спросил он наивно и доверчиво.

— Как зачем? — рассердился Циолковский. — Как это вы спрашиваете: зачем? Я, интеллигент, пришел к народу, принес народу результаты всей своей жизни, а представитель Рабоче-Крестьянского правительства спрашивает: зачем?

— Ох, какой вы сердитый! — откровенно сказал Василий Матвеев. — Ну, что вы на меня обрушились? Я уже трое суток не спал. Мне сейчас не то что книжки читать, мне высморкаться некогда. На станции неразгруженные эшелоны с тифозными! Губчека раскрыла заговор саботажников! Фронт требует людей — завтра направляем в Красную Армию сорок коммунистов-добровольцев! Когда же мне все эти книжки читать, милый вы человек? В деревнях бандализм! На станции дезертиры! Пути к Москве забиты! А мне прикажете за литературу засесть? Расскажите коротко, чем мы вам можем помочь.

— Как вы сказали? — переспросил Циолковский, приставив к уху обе руки. — Мне помочь? Это вы хотите мне помочь?.. Я пришел, чтобы вам помочь, господин представитель Рабоче-Крестьянского правительства. Мне уже ничего не нужно, я старик. Вам все это нужно, народу! Я принес вам сильнейшее оружие, которое вы можете обратить против белогвардейцев, а вы не хотите даже прочитать несколько статей! Стыдно, молодой человек, стыдно...

— Пойдите, стойте, — пытался что-то возразить Василий Матвеевич. Но Циолковский не давал ему говорить. Он все больше и больше приходил в ярость, вскочил с кресла и кричал, размахивая руками:

— Я тоже не кончал университетов, самоучка, как я вы. Но потрудитесь восполнить пробелы в своих

познаниях! Я старик. Я пятьдесят лет своей жизни отдал изучению различных наук. Я принес вам то, что народ тысячелетиями ожидает, а вы... а вы... не желаете даже дать себе труд... Молчите, пожалуйста, мне не о чем с вами говорить, я все теперь понял, милостивый государь... — Циолковский поспешно собирал со стола брошюры, журналы, чертежи. Он комкал их в руках, кое-как распахивал по карманам. Они падали на пол; он быстро нагибался, чтобы поднять, шарил руками под столом, потом, взбешенный, побежал к дверям, не оборачиваясь.

«Сумасшедший какой-то, — думал Матвеев, — ну, прямо сумасшедший!» Он много слышал о Циолковском и был смущен тем, что получилось. Он встал из-за стола, чтобы задержать Циолковского, объяснить ему, что не хотел его обидеть, что большевики ценят ученых... Циолковский ничего не хотел слушать, он стремительно распахнул двери. Кто-то стоял в дверях, мешая пройти. Циолковский хотел было отойти назад, чтобы пропустить повстречавшегося, но тот положил руку на его плечо. Циолковский резко поднял голову, чтобы обругать грубияна, как он того заслуживает, но, подняв голову, он вдруг опустил руки, и книжки опять рассыпались по полу.

— Никита?!

Да. Это был Никита Балашов. Он стоял большой, в кожаной куртке, с наганом, и его уже не мальчишеское, а взрослое, небритое, усталое лицо улыбалось попрежнему: одними только сияющими глазами.

Никита быстро нагнулся и стал собирать рассыпавшиеся по полу брошюры.

— Никита? — опять повторил Циолковский. И от того, что это был Никита, тот самый молчаливый белозубый мальчик, с которым сооружали они аэродинамическую трубу, строили самоходные лодки, мечтали о международной акционерной компании «Вселенная», — от этого Циолковский расслаб и чувствовал, что слезы подступают к его горлу. Никита! Молчаливый Никита! Как изменился он! Стал как будто еще выше. И волосы его выцвели, больше не отличали они шелковистым блеском, стали тяжелее и тем-

нее. И лицо загорело, покрылось сетью тонких морщинок. Это был Никита!

Циолковский обнял его, а Никита улыбался, открывая белые ровные зубы, и гладил Циолковского по плечу.

— Он вот, он... — хотел пожаловаться Циолковский. — Ничего не понимает, не хочет прочитать... Ты в тюрьме сидел, Никита, а он...

— Пойдемте, — сказал Никита, — вы все мне расскажете.

Матвеев тоже обращался к Никите:

— Я еще ничего не успел, понимаешь, Балашов! Я только сказал, что сейчас мне некогда столько книг читать, ты понимаешь? Я сказал, чтобы он прямо объяснил, чем мы можем ему помочь...

— Вот видишь! Видишь! — жаловался Циолковский. — Он говорит, будто я помощи прошу. Он не понимает, что я вам помощь принес, что мой дирижабль в войне с белогвардейцами...

Никита только что приехал из Москвы. Он был назначен в Калугу на партийную работу. Встреча с Циолковским обрадовала его. О Циолковском он думал часто. И тогда, когда сидел в тюрьме, и позже, в ссылке, и когда находился в окопах, и еще позже, когда совершилась революция.

Как и для многих других большевиков, тюрьма и ссылка стали для Никиты Балашова университетом. Там встретился он с товарищами, которые помогли ему лучше разобраться в окружающем, там впервые познакомился он с трудами Маркса, Энгельса, Ленина, которые иначе осветили ему все то, что он знал.

И с каждым годом менялся в его представлении облик Циолковского. С нежностью и легкой иронией вспоминал Никита Балашов о своей юности, когда Циолковский казался ему все познавшим учителем жизни. Теперь Циолковский представлялся ему гениальным человеком, который умеет в отдаленной перспективе столетий разглядеть то, чего не видит никто, и в то же время не умеет увидеть то, что происходит вокруг него и доступно каждому.

Сейчас, снова встретившись с Циолковским, он почувствовал всю свою любовь к нему и вместе с тем понял, что Циолковский требует к себе совсем особого отношения: особой бережности и особой снисходительности.

Никита привел Циолковского в свой кабинет. Раньше это была спальня губернаторши. Еще не вынесена была широкая двухспальная кровать и высокий шкаф с зеркалами. Никита Балашов сел за пустой стол, на котором стояла одна только чернильница.

— Что надо делать? — спросил Никита. — Я такой же представитель Рабоче-Крестьянской власти, как и товарищ Матвеев.

— Записывай, — ответил Циолковский. — Первое. Я настаиваю, чтобы Рабоче-Крестьянское правительство немедленно построило мой дирижабль и использовало его в борьбе за власть Советов. Записал? Теперь второе: Советская власть должна предоставить мне возможность продолжать работу над теорией межпланетных сообщений. Я уверен, что моя ракета окажет советской республике громадные услуги и во время войны, и в строительстве мирной жизни на коммунистических началах. Записал? Вот и все.

— Я думаю, — сказал Никита, — что Калужский ревком не располагает такими средствами, чтобы построить ваш дирижабль.

— Свяжись с Лениным.

— Да. Я буду говорить с Лениным по прямому проводу сегодня ночью. Я сообщу ему вашу просьбу...

Никита обещал сам зайти к Циолковскому на следующий день, чтобы сообщить о результатах разговора с Лениным.

Дома было холодно. Не было ни полена, чтобы затопить печь. Варенька и дочери пошли в лес за дровами. Они еще не вернулись.

Был уже вечер. Циолковский зажег керосиновую лампу, но огонек сразу стал никнуть. Нет керосина.

Циолковский пошел в кладовку, перетрогал все бутылки, керосина не нашел. Он вернулся к себе и ходил по комнате, дуя на озябшие руки.

Вернувшись из леса, Варенька растопила печку. Вся семья сидела около печки, грелась и ждала картошки. Каждому пришлось по четыре картофелины. Густо посыпали солью и ели, запивая морковным чаем. Картофель был мороженный и сладковатый.

Рано утром пришел Никита. Утро было темным, пасмурным. Он принес лук и фунт сала. Циолковский и Варенька не хотели брать. Никита ничего не отвечал на их упреки, но принесенного обратно не взял, оставил на холодной плите.

Циолковский повел его в свою комнату. Было там очень холодно и мертвенно. В слишком строгом порядке разложены рукописи, книги, развешаны модели. Из-за холода и отсутствия света Циолковский почти не работал. Никита обошел комнату, потрогал замерзшие, неподвижные, несогретые человеческим вниманием вещи.

Он сел и стал медленно скручивать папиросу. Циолковский волновался, не выпускал из рук слуховой трубы, ходил вокруг Никиты, не решаясь задать ему страшный вопрос: «Что ответил Ленин?»

Никита долго чиркал пальцем по колесу за жигалки, закурил, затянулся дымом и негромко сказал:

— Говорил я. Ночью. Ленин сказал, чтобы привез я ему ваши проекты. Так и сказал! Приедешь в Москву, захвати с собой. А я на днях как раз еду.

Циолковский опустил трубу. Он смотрел на Никиту пытливо, будто желая что-то распознать по его лицу.

— Никитушка! Скажи мне: надеяться?

Никита ответил не сразу. Он сидел и курил, потом встал во весь свой большой рост, опустил правую руку на стол.

— Я думаю, Константин Эдуардович, надо надеяться. Конечно — разруха, белогвардейщина, интервенция, забот у Ленина очень много, но я все-таки думаю, что можно надеяться...

И оттого, что это сказал Никита, и сказал не сразу, а подумав, Циолковский поверил. Если Никита говорит, что можно надеяться, значит, действительно можно. Никита не станет говорить зря. Никита встречался с Лениным, он знает большевиков, он сам большевик.

15

Никита Балашов уехал в Москву. Теперь Циолковский жил ожиданием. Он был уверен, что Никита привезет декрет Рабоче-Крестьянского правительства. Декрет будет подписан Лениным. Ленин прикажет немедленно приступить к сооружению дирижабля и ракетного космического корабля. Но ожидание затянулось. День проходил за днем, неделя за неделей, а Никита из Москвы не возвращался.

Был уже конец зимы, и конец зимы был холоднее, чем ее начало. Ни дома, ни в училище не было дров. Путь от дома до училища казался очень длинным. Ученики сидели в классе в пальто и шапках. Циолковский мерз в классе, мерз дома.

Варенька весь день простаивала в очередях. От Саши, который служил в Красной Гвардии, не было писем. Любочка была меньшевичкой и целыми днями писала свой дневник, в котором доказывала, что Ленин не прав, а прав Плеханов. Анечка влюбилась в комиссара. Комиссар был черный, шумный, а Анечка худела и бледнела, и все знали — у нее туберкулез. Утешением был самый младший — Ваня. Он был таким тихим, будто ходил на цыпочках и говорил шопотом. Его белая кожа имела синеватый оттенок. Он любил приходить в комнату отца, приносил с собою одеяло, взбирался с ногами на стул, стоявший около токарного станка, закутывался в одеяло и часами сидел неподвижно, глядя на отца большими, внимательными и удивленными глазами, ни о чем не спрашивая, ничего не говоря.

Циолковский ждал возвращения Никиты. Он не умел ждать праздну, он продолжал работать. Писал большую научно-фантастическую повесть «Вне земли». Сядясь писать, он надевал перчатки, писать в перчат-

ках было неудобно, но не так мерзли пальцы. Ногами, обутыми в валенки, он отбивал под столом дробь. Совсем закованев, шел согреться физической работой. Он сделал печку совсем особой конструкции. Печка имела две топки и могла обогревать одну или две комнаты, смотря по желанию. Но она ничего не обогревала, так как не было дров. Потом он устроил передвижную коптилку. Коптилка, заменявшая лампу, передвигалась по проволоке из комнаты в комнату. Благодаря оригинальному устройству можно было регулировать силу ее света и контролировать расход масла. Затем он придумал особую одежду, сохранявшую тепло, как термос. Он назвал ее термическим костюмом. Выпросил у Вареньки свое старое пальто и ее халатик, разрезал их, перекроил, выточил на станке металлические, особой конструкции, застёжки, и сшил свой термический костюм. Костюм получился теплым, герметически закупоренным и ни на что не похожим. Наверно, так будут одеты космические путешественники. Циолковский расхаживал в нем по квартире, вышел даже погулять на улицу и всем доказывал, как разумно использование такой одежды.

Но что бы он ни делал, о чем бы ни думал, куда бы ни шел, он продолжал ждать Никиту, потому что от того, что ответит Ленин, зависело всё.

Так продолжалось до того хмурого холодного дня, когда заболел самый младший сын — Ванечка. Он заболел внезапно. Утром еще ни на что не жаловался, а после обеда метался на своей постели в жару, в бреду, с пересохшими темными губами. Температура была выше сорока градусов.

Пришел доктор. Он осмотрел больного, потом тихо прошел в комнату Циолковского, развел руками, пожал плечами:

— Боюсь, что перитонит. Если доживет до утра...

Больницы и госпитали были переполнены тифозными. Варенька не отходила от постели. Она сидела, опустив беспомощные руки, и не отрываясь смотрела на умирающего сына. Дочери бегали из комнаты в кухню, меняли компрессы.

Циолковский сидел один, сжав руками голову. Он не мог ничего делать. Его губы шептали одно и то же: — Неужели умрет? Неужели умрет?

Иногда он вставал и шел к постели сына. Там было все то же. Страшная тишина, неподвижная поза Вареньки, запекшиеся губы и закрытые глаза Ванечки.

Циолковский возвращался к себе, опять садился за стол и стискивал голову руками. Наступил вечер, и стало совсем темно. Света не было. Свет был внизу, у постели больного.

Мрак был в душе Циолковского. Мрак был в его взгляде, мрак был кругом. Иногда, на секунду, проскальзывал проблеск надежды и снова смыкался мрак. Хоть бы приехал Никита! Но Никиты не было.

Ночью раздался стук в дверь. Циолковский услышал топот, чужие мужские голоса. Он вышел. В прихожей стояло человек восемь матросов и красногвардейцев. Они были вооружены. Их шапки заиндевели.

— Именем революции!.. — сказал низенький, почти квадратный матрос с курчавой бородкой. — Именем революции... Показывайте, где спрятано оружие!

— Господа! Это недоразумение. Я учитель. У меня умирает сын.

— Какие мы тебе господа?.. Сын не имеет отношения к делу! Показывайте, где оружие?

— Вы будете отвечать, господа! Я — Циолковский, ученый-самоучка! Мои проекты отправлены к Ленину. Я жду приказа Ленина...

— Есть уже приказ, — сказал старший. — Получен приказ: раздавить контрреволюционную гидру!

У постели больного они держались тихо, неуклюже ходили на цыпочках, говорили шопотом, но когда прошли к Циолковскому и электрический фонарик в руках старшего зарыскал по стенам; когда увидели они модели и чертежи ракет, которые приняли за чертежи снарядов, когда увидели станки, жест, инструменты, — старший сказал:

— Вот чем занимается, гад! А каким старичком прикидывается! Товарищи! Займите входы и выходы!

Глядите, чтобы никто не сиганул в окно. Ну, старик, революционный пролетариат не знает пощады врагам революции! Признавайся: что это такое?

Циолковский пытался объяснить, что это такое. Он говорил сбивчиво и путанно, ноги его дрожали. Он думал о Ванечке, который, может быть, сейчас умирает.

Коренастый матрос сказал:

— Губчека разберется! Старик арестован. Снимай, ребята, все это со стен!

Циолковский понимал, что Губчека во всем разберется, что завтра его освободят из-под ареста и вернут ему чертежи и модели. Но это только завтра. А сейчас? Ночью? Что сделают эти люди с его моделями, с его чертежами? Они повезут их в своем грузовике, изломают, изорвут, растеряют... Нет, нет! Им надо объяснить, он может объяснить, он должен объяснить, нужно только взять себя в руки, овладеть собою, преодолеть эту позорную трусливую дрожь.

Он понял, что, может быть, именно сейчас, в эту ночь, происходит генеральное сражение его жизни. Выиграть его — значит выиграть все шестьдесят лет своей жизни. Проиграть — значит все проиграть. Вот его первая встреча с народом. Это не чиновники из Императорского технического общества, развращенные консервативными, неподвижными научными представлениями! Это те самые простые люди, для которых он живет, которым несет счастье! Так неужели он не сможет найти тех простых, человеческих, единственно нужных в эту ночь слов, которыми можно убедить этих людей? Неужели так люди никогда и не поймут его? Неужели, действительно, все то, что делал он в течение всей жизни, никому не нужно и жизнь была напрасной?

Движения Циолковского вдруг стали медленными и величественными. Он не спеша сел в кресло, откинулся на спинку, заложил ногу на ногу и негромко сказал:

— Извольте выслушать меня, граждане революционные матросы и солдаты. Вы видите перед собою чертежи и модели воздушных кораблей, которые никем еще не построены...

Он начал рассказывать. Он рассказывал спокойно, уверенно и без страха. Он рассказывал о давнем стремлении людей завоевать воздух, а затем и безвоздушное пространство, о смельчаках, пожертвовавших ради этого своей жизнью. Он рассказал, что много лет назад придумал устройство аэроплана и дирижабля, но царское правительство не верило, будто простой русский человек, самоучка, может придумать великие вещи. А жизнь показала, что он был прав — сейчас уже множество дирижаблей и аэропланов летают по небу, пересекая во всех направлениях воздушный океан. Теперь он придумал новый воздушный корабль, который сможет умчаться за пределы нашей атмосферы, перенести человека на другие планеты. Он рассказывал, как космические путешествия обогатят человеческие знания, какие немыслимые просторы откроют они для счастья, каким могуществом наделят человека. Он послал проект этого корабля Ленину. «Если советские люди построят такой корабль, — говорил Циолковский, — они станут самыми сильными в мире, и никакая страна не сможет одолеть их ни силой, ни знаниями. Пусть господа матросы и солдаты направят луч своего фонарика на ту большую схему, которая висит наверху. Он объяснит им, почему только ракета может лететь в безвоздушном пространстве. Вот так. Хорошо...»

Луч фонарика направился на схему. Все восемь человек, которые пришли с обыском, следили за пятнышком света, поднимавшимся по стене. И те, кто должен был занять выходы и входы; и те, кто должен был обыскивать комнаты; и те, кто должен был стеречь домашних, чтобы они не «сиганули» в окно, — все они сейчас сидели в комнате Циолковского, стараясь не проронить ни одного его слова. Одни сидели на стульях, другие на полу, третьи на постели, попыавая во мраке огоньками цыгарок.

Циолковскому мучительно хотелось знать, что делается внизу. Оттуда не доносилось ни звука.

Коренастый бородатый матрос поднялся первым. Он подошел к столу и жестикулируя, как на митинге, сказал хриплым, давно застуженным голосом:

— Товарищ Авдотьев, пиши резолюцию! Пиши, чего ждешь?.. — Он подождал, пока высокий молодой матрос, с тонкой худой шеей, вынул из бушлата клочок бумаги и намусолил карандаш. — Пиши: «Заслушав доклад ученого-самоучки, что проживает в Калуге на улице Брута, общее собрание революционных солдат и моряков Особой группы по борьбе с контрреволюцией постановляет: просить товарища Владимира Ильича Ленина, Совет Народных Комиссаров и Рабоче-Крестьянское правительство, чтобы обратили внимание на межпланетные сообщения, потому что революционный пролетариат хочет побывать на этих самых астероидах, где ни один буржуй не бывал, и не за то мы кровь проливали, чтобы мировая буржуазия раскатывала на ракетах на луну и обратно, а мы, революционные трудящиеся всего мира, ходили пешком». Так и пиши...

Все вместе пошли к дверям. Ванечка был с головой покрыт простыней. Простыня почти не приподнималась над постелью, будто под ней ничего не было. Варенька стояла на коленях, положив седую голову на подушку, рядом с тем местом, где под простыней должна была быть голова сына. Матросы и солдаты обнажили головы. Они подтянулись и на цыпочках, будто боясь разбудить мертвого, прошли к двери. В темных сенях они услышали, что Циолковский плачет. Бородатый матрос некоторое время потоптался около него, потом сказал:

— Что ж плакать, отец? Жалко, конечно, что не дожил сыночек до полного коммунизма, да тут уж ничем не помочь... Вот возьми! Может, пригодится!.. — И он протянул Циолковскому кусок свиного сала. Сало было завернуто в старый потрепанный газетный лист. От долгого лежания в кармане оно пожелтело и было облеплено хлебными и табачными крошками...

Через три дня приехал Никита Балашов. Он не сумел сразу притти к Циолковскому и прислал записку, в которой просил Циолковского к шести часам вечера явиться на заседание ревкома, где Никита будет докладывать о поездке в Москву.

Циолковский надел парадный сюртук, захватил слуховую трубу и уже в пять часов отправился из дому. Он понимал, что Никита привез положительные результаты, иначе Циолковского не стали бы приглашать на заседание.

Когда он пришел, ему сообщили, что заседание началось уже больше трех часов назад. Но его просили немного подождать. Он подождал минут десять, потом из дверей кабинета Матвеева вышел человек и спросил:

— Гражданин Циолковский здесь?

В кабинете Матвеева было человек двадцать. Рядом с Матвеевым за столом сидел Никита.

— Среди других вопросов, — говорил он, — о которых я докладывал товарищу Ленину, был вопрос о нашем земляке, изобретателе-самоучке товарище Циолковском. Ленин познакомился с работами Циолковского и сказал, что изобретения и исследования Циолковского имеют первостепенное значение для революции. Наше советское государство должно сделать все, что возможно, чтобы быстрее осуществить проекты Циолковского и создать ученому наиболее благоприятные условия для работы. Так мне сказал Ленин, товарищи. Владимир Ильич предложил Калужскому ревкому...

Ликование, гордость, торжество, благодарность захлестнули Циолковского. На секунду слезы скрыли от него зал, Никиту, окна. Он хотел было снять очки и вытереть глаза, но из дрожавшей руки выпала слуховая труба. Кто-то поднял трубу. Ослабевшими, нервными руками Циолковский долго не мог приставить ее к уху. Но он знал, что Ленин предложил Калужскому ревкому, он знал, что большевики построят его дирижабль и ракетоплан. Он все это знал давно, даже тогда, когда выскальзывала надежда и приходило сомнение. Еще задолго до революции он смутно угадывал, что раньше или позже наступит день, когда его проекты будут осуществлены, и не на средства сумасшедшей госпожи Цыкиной, не по милости господ акционеров, не из крох пожертвований, а на средства народа, самим народом и для народа. Он все это знал.

— Что? Что предложил Ленин? — спросил он, чтобы самому услышать, как прозвучат эти слова.

— Ленин предложил, — повторил Никита, — обеспечить Циолковского особым пайком, персональной пенсией, дровами и керосином...

«А дирижабль?» — хотел спросить Циолковский, но что-то мешало ему это спросить, и что-то мешало ему дышать, и что-то мешало ему видеть, что-то ужасно горькое обрушилось на него с невероятной силой, придавило его к столу, и вдруг он стал маленьким, жалким и старым. «А дирижабль? А дирижабль?» — все время повторял он, но так тихо, что его никто не слышал.

А Никита, между тем, продолжал:

— Ленин просил передать вам, Константин Эдуардович, что сейчас Советская власть не имеет возможности предпринять такую грандиозную работу, как постройка дирижабля или ракетного снаряда. Но когда-нибудь... нет, не когда-нибудь, а когда большевики победят своих врагов... Он просил меня передать вам его сердечный привет и пожелания многих лет счастливой жизни и плодотворной работы...

Циолковский опустил слуховую трубу. Он больше ничего не слышал. Он не хотел слышать. Ему было безразлично, о чем говорили и спорили окружающие. Потом Никита подошел к нему и протянул бумажку. На бумажке было написано:

«РАЗВЕРСТКА КЕРОСИНА ПО ГОРОДУ КАЛУГЕ

На март 1919 г.

1. Заводам и фабрикам — 180 ведер.
2. Почтово-телеграфным учреждениям — 5 ведер.
3. Госпиталям и больницам — 30 ведер.
4. Административно-советским учреждениям — 8 ведер.
5. Изобретателю Циолковскому — 1 ведро.

Частным потребителям и потребителям, не включенным в этот список, керосину на март не отпускать. Расхищению керосина объявить борьбу, как расхищению революционного достояния».

Циолковский машинально расписался.

В глубокой задумчивости он возвращался домой. Ему казалось, что случилась жестокая несправедливость. Он ждал мирового могущества — ему предложили ведро керосина; он ждал несметных богатств для всего человечества — ему предложили паек и пенсию. Он понимал: война, разруха, заводы не работают, специалисты саботируют. Он все это понимал. Советская республика слишком молода, чтобы осуществить его грандиозные проекты. Но от понимания не становилось легче.

Он шел медленно — не хотелось возвращаться домой. Опустил голову, — не хотелось смотреть на людей. И на небо не хотелось смотреть. И на землю.

Кто-то остановил его. Не хотелось знать, кто, протянуть руку, сказать «здравствуйте». Это был Гермоген Гермогенович. Циолковский попытался пройти мимо, но Гермоген Гермогенович пошел рядом.

Неожиданно математик как бы выбросил горсть сухих и коротких слов:

— Я думал, что вы уже умерли.

Циолковский промолчал.

— Ну? — спросил Гермоген Гермогенович. — Осуществили большевики ваши проекты? Когда ваш дирижабль поднимется в воздух? — Циолковский молчал. — Вы считаете себя гением, Циолковский, — коротко и больно бил Гермоген Гермогенович, — вы считаете себя гением, Циолковский, но вы только безумец! Вы могли провести невежественного еврея и еще двух-трех глупцов, но вам не провести человечество. Вы безумец, Циолковский!.. Я вижу вас насквозь...

И, не подав руки, пошел своей дорогой, прямой и злобный.

— Дурак! — громко сказал ему вслед Циолковский. — Старый, а дурак. Ведь я ничего не слышал!

Гермоген Гермогенович не обернулся. Вдруг в Циолковском, как буря, поднялось острое раздражение против этого человека. Ему хотелось ударить его, оскорбить, высказать ему злобу и презрение. Он почти бегом нагнал его, схватил за руку и сказал:

— Вы слепой. У вас нет глаз — только стекляшки. У вас нет души — только пуговицы. У вас нет сердца — только сжатый кулак! Вы безумец, а не я! Дирижабль поднимется в воздух! Ракетный корабль будет мчаться в межпланетном пространстве! Это сделают большевики. Да, да, да, милостивый государь, я в это верю. А вы будете ползать здесь вот, по этим улицам, и ненавидеть меня, и мои корабли будете ненавидеть, и небо будете ненавидеть, потому что у вас нет ничего, кроме ненависти. У вас нет любви, потому что нет ни веры, ни смелости, ни мечты. Вот что я вам скажу, сударь!

Задыхаясь от гнева, он перебежал на другую сторону улицы и, чтобы не видеть прямой, высокой, ненавистной фигуры, свернул в переулок.

Теперь ему хотелось убедить себя, что он прав, а не тот желчный старик, который называет его безумцем. Он вспомнил обыск и бородатого матроса, и резолюцию, прозвучавшую в утреннем полумраке. Он вспомнил разверстку керосина. Фамилия Циолковского была в одном ряду с учреждениями, с госпиталями, с заводами. Значит, большевики понимают, что работа Циолковского — это государственная, всенародная работа! Значит, они дали ему все, что могли дать; значит, нет у них сейчас тех десятков и сотен тысяч рублей, которые можно было ассигновать на строительство дирижабля! Совсем иначе теперь представился Циолковскому ответ Ленина. По-новому он увидел все события, происшедшие за последний час. Руководитель первого в мире народного государства, Ленин, в тяжелые, решающие для государства дни, в дни войны с внешним и внутренним врагом, в дни разрухи, голода, может быть весь вечер читал рассуждения Циолковского об иных мирах и средствах сообщения с ними. Среди тысячи и десятков тысяч забот он выделил заботу о жизни и труде Циолковского, «небесного кустаря», незаметно прожившего шестидесятилетнюю жизнь.

Все теперь было иначе. Циолковский опять стал свободно дышать, далеко и ясно видеть, отчетливо слышать. Он услышал разговоры прохожих и ржанье

лошади. Он увидел, что небо по-весеннему расцветает, что снег начал таять, что с крыш свесились чудесные хрустальные сосульки. Он почувствовал, какой бодрящей свежестью наполнен ветер, рвущийся с Оки. Он понял, что все впереди, что ничего не потеряно, что жизнь не кончена, что, может быть, она только начинается.

Навстречу ему бежал Канниг. Пальто его было распахнуто. Шляпа сбита на затылок. Яркий шарф вился за спиной.

— Я от вас! — закричал Канниг еще издали. — Я был у вас, Константин Эдуардович, родной мой!.. Я пришел вас звать... Завтра утром... завтра утром вы станете свидетелем рождения новой эры в жизни человечества... Завтра утром!..

Его речь была бессвязной, жесты порывистыми, случайными, дергающимися. Лицо горело.

— Что с вами? Павел Павлович! Вы больны?

— Да, да. Наверно болен. Я только что вернулся из Москвы. Тетя Оля нашла вошь. Это, наверно, сыпняк. Но он не свалит меня. Нет, нет. По крайней мере до утра. А утром я все закончу. Та баба-мешочница меня лягнула ногой. Она была на верхней полке. Она ничего не понимает, та баба. Она не понимает, что произойдет завтра утром, когда весь мир узнает о способе расщепления атома!..

Мысли его перебрасывались с предмета на предмет. Он говорил, что привез из Москвы новые приборы, что сегодня ночью его многолетняя работа будет завершена и рано утром он покажет Циолковскому ее результаты. Он говорил опять о той бабе, которая лягнула его ногой, и тотчас забывал о ней, и снова рассказывал об атомной энергии. Он собирался завтра же вечером поехать в Москву и все открыть Ленину.

Циолковский отвел Каннига домой, уложил в постель, измерил температуру. Градусник показал 39,2. Канниг не хотел лежать, поминутно вскакивал и продолжал говорить, размахивая руками. Циолковский снова укладывал его, но Канниг опять порывался вскочить, говоря, что не будет лежать, пока всего не

закончит, что ляжет в постель только завтра утром, когда его миссия будет полностью выполнена.

Циолковский провел у него больше часа. Не могло быть сомнения — у Каннига тифозная горячка. Рано утром, по дороге в училище, он решил навестить его. Но уже издали заметил: домик в Никитинском переулке имел какой-то необычный вид. Он не сразу определил, в чем дело. Когда подошел ближе, увидел, что окна были без стекол, без сосудов с разноцветными жидкостями. Окна были черными дырами с грязными закопченными краями. Около аптеки толпился народ. Прохаживался красноармеец с винтовкой.

В аптеку войти было невозможно. Через дверь было видно, что там творился хаос. Стойка и шкафы повалены, посуда разбита, черная копоть затянула стены.

Ночью произошел взрыв. Он уничтожил все приборы на столе Каннига, исковеркал комнатушку, разгромил аптеку. Начался пожар. Его во-время остановили. Павла Павловича нашли на полу обгоревшим, в жару, без сознания. Его отвезли в тифозные бараки. Он умер через два часа, не приходя в сознание. Тетя Оля тоже обгорела и находилась в больнице.

После училища Циолковский зашел к Никите Балашову и получил от Губчека разрешение посетить пожарище. Часовой раскрыл перед ним дверь аптеки. Пахло горелым и паленым. Под ногами неприятно хрустело битое стекло.

Циолковский прошел через аптеку в заднюю комнатушку. Все здесь было обуглившееся, черное и тоже усыпано стеклом. Не осталось ни одного предмета, ни одной бумаги, по которой можно было бы судить о Канниге: гений он был или маньяк.

Циолковский вернулся домой совсем разбитым. Не раздеваясь, он упал на кровать и лежал, глядя вверх, и шевелил губами, будто жевал.

Пришла Варенька, села рядом с ним. Он долго молчал, потом сказал ей:

— Так и со мной когда-нибудь, и никто ничего не узнает... — Он помолчал, попрежнему глядя на потолок. — Печатать, печатать. Все печатать. Не остается у меня, останется у других...

Потом он поднялся, кряхтя и тихо охая, потому что опять почувствовал свою старость и немощь. Подошел к шкафу и стал перебирать рукописи. Рукописей было много. Он листал их — перед ним проходила вся прежняя жизнь. Каждая рукопись была каким-то этапом его жизни. Они все должны быть изданы. Он рылся в бумагах с удовольствием. Придвинул к шкафу стул, уселся. Взглядывая на страницы, увлекался написанным, заново переживал пережитое. Множество рукописей было посвящено одному вопросу: как улучшить общественное устройство. Он отобрал их в отдельную стопку. Пришла идея написать большой труд «Мысли о лучшем общественном устройстве». Лучшее общественное устройство предполагало прежде всего бережное отношение к тем людям, которые двигают прогресс. В лучшем человеческом обществе не может быть такого положения, чтобы человек, подобно Циолковскому, прожил шестьдесят с лишним лет, был все это время двигателем прогресса, а к нему относились как к чудаку. В лучшем человеческом обществе не может быть, чтобы погиб человек, как погиб Канниг, и никто не знал: гений погиб или сумасшедший!.. В лучшем человеческом обществе прежде всего надо было позаботиться о двигателе прогресса, об изобретателях-самоучках. . .

Несколько дней Циолковский разрабатывал новую тему. Это был план, который предусматривал полную перестройку общества на коммунистических началах. «Я произведу точный математический расчет будущего общества, — думал Циолковский, — дам все вычисления, таблицы, схемы. Останется лишь принять мою работу за основу в практической деятельности. И уже через четыре-пять поколений ни один талантливый самоучка, ни один подлинный двигатель прогресса не останется в неизвестности, не зароет в землю своего таланта, не унесет в могилу своих открытий и усовершенствований».

Рукопись получилась большой, обстоятельной, испещренной вычислениями, таблицами, формулами. Неужели Советская власть не использует этого труда? Он принял на себя всю тяжесть подсчетов, проверок.

Большевикам осталось легчайшее — приняться за практическое осуществление его плана. Все дело в том, чтобы как можно скорее этот план стал известен Ленину.

Циолковский отправился к Никите, но не застал его. Он прошел к Матвееву. У Матвеева было десять свободных минут. Через десять минут назначен разговор по прямому проводу с Москвой. Затем — заседание чрезвычайной тройки по борьбе с эпидемией. После заседания он намеревался съездить на митинг железнодорожников. Потом должны были явиться работники губсовнархоза. Он думал еще сходить побриться. Он не брился уже полторы недели.

Но в кабинет вошел Циолковский.

«Господи! — подумал Матвеев, увидев в его руках толстую рукопись. — Он посадит меня сейчас читать эту библию».

— Можно? — спросил Циолковский. — У меня очень срочное дело, гражданин представитель Рабоче-Крестьянского правительства.

— Входите, пожалуйста. Я вас слушаю.

Циолковский вошел, сел.

— Снимите фуражку, молодой человек — сказал он. — Я не могу говорить, когда вы даже не сняли фуражки и стоите так, будто сейчас убежите.

— У меня десять минут! — ответил Матвеев. — Я рад бы вас слушать хоть десять часов. Давайте, назначим свиданье на ночь. Я буду вас слушать до утра. Но сейчас у меня только десять минут.

— Мне мало десяти минут для того, чтобы изложить свой план. Вы даже не подозреваете, что я принес! Я принес вам точный, разработанный во всех деталях труд о коммунистическом преобразовании всей земли. Извольте взглянуть, гражданин представитель народной власти. Извольте взглянуть. Вот расчеты! Вот схема устройства коммуны! Вот чертеж расположения хозяйства и угодий каждой коммуны...

Матвеев взглянул на него с мольбой.

— Хорошо. Оставьте. Я изучу все это, как таблицу умножения! Но только не сейчас. Ночью — хорошо?

— Это очень срочно. Я думаю, — сказал Циолковский, — что это важнее всех других ваших дел. Мой труд сегодня же должен быть послан Ленину. Извольте взглянуть: возьмем вопрос о распределении земли. По моим расчетам для одного человека в теплом климате достаточно четырех десятин земли. Но по мере прогресса техники и усовершенствования орудий производства продуктивность земледелия будет возрастать и надел земли сможет уменьшаться. К тому времени, когда население увеличится до крайнего предела, до биллиона, или в пятьсот раз против теперешнего, тогда человеку будет достаточно только пятисот квадратных метров земли, а если считать одних лишь работоспособных, то тысячи квадратных метров, или одной десятой десятины. Неужели же человек станет корпеть над такой землишкой? Он сможет обработать в сто раз больше. Вот и выходит, что земледелие возьмет не более одного процента населения. Остальное поглотит промышленность. Она захватит полярные, холодные и умеренные области земного шара...

Матвеев не выдержал. Он бросился к дверям, на ходу крикнув:

— Он сейчас придет. Сейчас придет. Это по его части...

Он вырвался в приемную к своему письмоводителю и взмолился:

— Андреевич! Спасай, милый человек! Спасай, друг! Разущи Балашова, пусть сейчас же придет и слушает своего чудака!..

Письмоводитель разыскал Никиту. Никита пришел, улыбаясь. Циолковский сидел в кабинете Матвеева один, растерянный и смущенный.

— Да он у вас какой-то умалишенный, — жаловался Циолковский на Матвеева, — не дослушал, убежал, как на пожар. Ты, может быть, выслушаешь? Это же, понимаешь, очень важно. Революционному народу невыгодно, чтобы гении гибли в неизвестности.

Никита был в недоумении. Всю ночь он читал рукопись Циолковского, блуждал в его бесконечных вычислениях, формулах и таблицах. Нет, Никита не был в восторге. Попросту сказать, он считал, что это

бредовая идея, не имеющая ничего общего с учением Маркса и Энгельса. Никита считал, что раскрепощение трудящихся само по себе явится условием для расцвета талантов и дарований. Никита не верил, что все человеческое общество должно жить только с одной целью и с одной заботой: как бы не прозевать гения! Но как сказать это Циолковскому? Как сказать ему, что все это бред, что нельзя отрывать Ленина от его государственных дел, заставляя читать эту рукопись?.. «Может быть, я ошибаюсь, — думал Никита, — может быть, я рассуждаю, как те чиновники, которые не верили ни в дирижабль, ни в ракетоплан Циолковского? Может быть, и я нахожусь в плену старых традиционных научных представлений?»

Он отнес рукопись Матвееву.

— Как хочешь, Василий, а прочитай! Найди время!

Матвеев прочитал. Возвращая рукопись Никите, он сказал:

— Наверно я ничего не понимаю, наверно я последний осел, наверно я прихвостень мировой буржуазии и меня следует расстрелять, как последнего гада, но только, милый человек, по-моему, стыдно посылать такую рукопись Ленину. Засмеют нас в Москве. Подумают, что мы все тут с ума посходили, если думаем сейчас не о фронте, не о хлебе, не о топливе для Москвы, не о тех восьми тысячах тифозных красноармейцев, что на станции в вагонах лежат, а думаем о том, что будет через тысячи лет, как будто бы за эти тысячи лет и подумать о том будет некогда...

— Я все-таки полагаю, — ответил Никита, — что так это, с кондачка, не решить. Циолковского нам партия на хранение отдала. Ленин так и сказал: беречь его нужно!

— А я разве говорю, что беречь не нужно? Я только не понимаю тебя, Балашов. Не слишком ли ты цацкаешься с ним? Старичок, видать, фантазер первой руки и настойчивый. Он, может, и великий ученый — я не знаю. Да только что он для нас-то сделал? Для революции? Вот что ты мне скажи. Он же

ничего не понимает, если думает, что мы революцию бросим, Россию белогвардейцам отдадим, а сами на его астероидах будем Советскую власть устанавливать. Мне астероидов, Никита, не нужно. Мне и на земле хорошо. Мне бы — чтобы в России коммунизм построить, — вот что мне надо, Никита, а он мне голову дурит своими рассказами. Ты ему сюда дорогу показал, так он теперь целыми днями мне будет свои сказки рассказывать. Так мне же хоть вешайся! Когда же я работать буду?.. Что же ты молчишь, Балашов?

Никита не спешил с ответом. Он долго мял в руках папироску, стряхивал с нее пепел, потом сказал:

— Вот, к примеру, стоит паровоз. Хорошая машина? Не споришь? Но если стоит паровоз без угля и без воды, то какая от него польза революции? Никакой. А если наберет он воды и разожжет в топке уголь, то опять еще неизвестно, будет ли от него польза революции! Если, например, поведет машинист его к белогвардейцам, то будет от этого паровоза революции не польза, а вред. А если направить паровоз в Москву, то прямая от этого нам выгода. Одним локомотивом больше. Так я говорю? Вот и надо нам направить Циолковского по тем рельсам, которые к коммунизму ведут. Это от нас зависит. От меня, от тебя. Короче говоря, я предлагаю послать его новый труд Ленину, пусть решает, что старику ответить.

Матвеев возражал. Никита настаивал. Решили посоветоваться с товарищами.

На одном из заседаний Калужского губернского комитета РКП(б) обсуждался вопрос о предложенном Циолковским плане коммунистического устройства человеческого общества. Резолюция была вынесена такая:

«Обсудив доклад товарища Балашова о плане гражданина Циолковского, Калужский губернский комитет РКП(б) решил, что план Циолковского противоречит учению Маркса, Энгельса и Ленина, является не большевистским. Поручить товарищу Балашову объясниться с беспартийным Циолковским, чтобы тот не обиделся и от Советской власти не отшатнулся».

Никита несколько дней откладывал посещение Циолковского, не зная, как лучше подступить к этому неприятному объяснению. Потом решился.

Пришел к Циолковскому и принес с собой восемь книг. Это были сочинения Ленина, Маркса, Энгельса.

— Вот, — сказал он, — прочитайте. Это вам калужские коммунисты послали. Партия благодарит вас, Константин Эдуардович, за желание помочь нам. Но сейчас нам надо, чтобы капиталисты власть обратно в России не захватили. Хозяйство восстановить надо. Научиться управлять государством. А вам надо продолжать работу по воздухоплаванию и авиации, так как революционные рабочие и крестьяне скоро будут строить свой воздушный флот. И еще, между прочим, просим массы просвещать, может быть, с лекцией выступить в клубе, против суеверия и предрассудков. Мы очень благодарим вас, Константин Эдуардович, что вы Советской власти доверяете.

— Благодарите? — радовался Циолковский. — Правда, благодарите?

— Очень благодарим.

Циолковский довольно потирал руки. Он не мог скрыть своей радости. Он встал и стал ходить по комнате. Ай да Циолковский! Ай да глухой! Он не обманет доверия народа! Он будет думать, работать и работать! Он отдаст людям все богатство своего разума, своей мечты. Он всегда только этого и хотел. Но раньше общество отворачивалось от его богатства. Теперь оно нужно — богатство его разума, его фантазии, его ясновидения. И он отдаст народу все, чем богат сам. Ничего не унесет с собой в могилу.

16

Когда Никита ушел, Циолковский еще долгое время сидел в задумчивости, опираясь на жестяную трубу. Нет, чорт побери, он не хочет умереть. Он хочет жить и жить, потому что тысячи еще не рожденных открытий душат его и рвутся наружу. Он не умрет, пока все их не выскажет, не передаст потомкам из рук в руки.

Им овладела неудержимая торопливость. Он вдруг разорвался, как бомба, — вдребезги разбил оболочку своей старости, неподвижности, готовности к смерти. Он побежал в ревком и потребовал, чтобы на основании указаний Ленина ему немедленно предоставили возможность печатать его труды.

При свете керосиновых ламп голодные наборщики ночью печатали газету. Страницы газеты были пересечены громадными лозунгами: «Все на борьбу с эпидемией!..» «Поможем Красному Питеру!..» «Еще одно усилие, и враг будет раздавлен!»

Это было ночью. А днем за теми же стеллажами, из тех же наборных касс набирались испещренные цифрами и формулами рассуждения Циолковского о прошлом и будущем Земли, о теории полета в космические высоты и возможности существования жизни на других планетах.

Каждую новую книгу Циолковский ждал, как мать ждет рождения ребенка. Он волновался, нервничал, по несколько раз в день бегал в типографию, а когда получал еще пахнущую краской тоненькую брошюрку, напечатанную на толстой серой оберточной бумаге, то ласково гладил ее ладонями по обложке и тихо смеялся, стыдясь своей ребяческой радости.

Каждую новую брошюру он спешил скорее разослать читателям. Циолковский сам клеил конверты из газетной бумаги, прятал брошюры в конверты и надписывал адреса.

День стал для него тесен. Он задыхался в нем, как узник в тюремной камере. В двадцать четыре часа суток он не мог уместить всего, что хотелось сделать. Ему нужно было, чтобы в сутках было часов пятьдесят. Обеспеченный государственной пенсией, он отказался от службы в училище. Но и это его не устроило. Времени все равно не хватало. Самые разнообразные идеи и проекты все время теснились в сознании, ни на секунду не покидали его. Даже ночью. И от этого сон был беспокойный и не давал отдыха.

Он придумал международный алфавит, который потребуется человечеству после того, как во всех странах мира восторжествует коммунистическая рево-

люция. Сконструировал космическую станцию, с которой удобнее всего будет посылать ракетные корабли в дальние странствования к другим планетам. Но он не беспочвенный фантазер, не мечтатель, который может только бросить идею. Он должен каждый свой проект обосновать, рассчитать, доказать. Это требует времени, времени и времени. А времени было ужасно мало.

Он составил расписание на каждый день и установил строгий распорядок дня. Вставал вместе с солнцем и сразу же садился за работу. Работал до двух часов дня, потом обедал и час отдыхал. Но ежедневный час отдыха казался ему непростительным преступлением. В месяц это составляло тридцать часов. В год — триста шестьдесят часов. Если ему суждено прожить еще десять лет, он вычеркивает из них три тысячи шестьсот часов, то есть сто пятьдесят суток. Сто пятьдесят суток — это триста дней. Триста дней — десять месяцев жизни... После отдыха он снова садился за работу и вставал из-за стола только в десять часов вечера.

Такая сидячая жизнь вскоре сказалась на здоровье. Лицо приобрело желтовато-пергаментный цвет. Ухудшился аппетит. Циолковский боялся болезни. Болезнь надолго оторвала бы его от работы. Он хвастался своим здоровьем, способностью в шестьдесят с лишним лет работать двенадцать-тринадцать часов в сутки, купаться и нырять вместе с мальчишками, пилить, строгать и тесать, как юноша. Он решил больше двигаться.

Весною, когда сошел снег, он опять вытащил свой старый велосипед и перед обедом отправлялся на нем вдоль берега Оки. Он миновал мельницу, переезжал плотину. Слева была вода. Справа — густая сосновая роща. Циолковский ехал медленно, неторопливо нажимая педали и все время напевая себе в бороду. За ним тащились его заботы, расчеты, возникшие, но еще не оформившиеся идеи и проекты. Они сопровождали его, как мошара, все время гудели вокруг, и он из-за этой тучи ничего не видел — ни воды, ни сосен, ни голоногих ребятишек, закинувших в воду удочки. Доезжал он до большой изогнутой ивы, полоскавшей в

воде свои длинные ветви. Там купался. Мальчишки бросали свои удочки и сбегались к нему. Циолковский долго плескался, плавал, нырял, смеялся, и, когда садился на велосипед, чтобы ехать обратно, мальчишки бежали за ним, потому что с Циолковским всегда было весело и интересно.

Чем беспокойнее и неутомнее была его жизнь, тем более молодым и довольным он чувствовал себя.

...И радовался своей глухоте. Глухота отгораживала его от всяческих помех. Глухота помогала ему жить в мире его расчетов и фантазий. И если через толстую стену глухоты и через тонкую стену комнаты все-таки просачивался какой-нибудь едва слышный звук, он вскакивал, колотил кулаком в стену и кричал:

— Эй, вы! Барабанщики! Угмонитесь, чорт побери!

Академический паек, который стал получать Циолковский, был невелик. Жизнь была тяжелая, голодная. Но Циолковский не замечал этого. Зато он замечал, что в последнее время Варенька стала делать удивительные находки. Однажды, рано утром, у дверей дома оказался бидон с молоком. Откуда он взялся? Кому принадлежал? Так и не удалось установить. Прошло всего пять дней, кто-то внес в сени полмешка муки. Забыть муку никто не мог, потому что гости к Циолковским не ходили, да и кто располагал в это время таким богатством, как полмешка муки?

Никита Балашов приходил редко. Он приходил всегда усталый, плохо выбритый, глаза его слипались, и он опускался на стул так, будто целые сутки был на ногах. Однажды Никита выдал себя. Он вошел с большим свертком, а потом забыл про него. И сверток остался у Циолковских. В нем было килограмма три селедок, ржавых и пахучих. Селедки были дорогим лакомством. Варенька послала Марию вернуть Никите селедки. Но Никита уверял, что это селедки не его, что никаких селедок он к Циолковским не приносил и вообще селедок терпеть не может, так что просит даже не говорить с ним о селедках. Циолков-

ский рассердился. Когда Никита пришел в следующий раз, Циолковский накинулся на него:

— Это ты что же, молодой человек? Думаешь: старик из ума выжил и верит, что господь бог ему посылает за труды то молоко, то селедки. Брось это! Мне всего достаточно. Я академический паек получаю, как профессор или академик какой-нибудь...

Никита улыбался. Ему было приятно смотреть на старика, слушать его брань, видеть, как он бегаёт по комнате, размахивая жестяной трубой. Никита сидел молча, подперев своим громадным кулаком небритую щеку, курил папиросу за папиросой и смотрел на Циолковского, прищутив узкие, в морщинах, глаза.

Уже собираясь уходить и пожимая Циолковскому руку, Никита сказал:

— Если я завтра приду за вами, поедете на вокзал прочитать лекцию?

Вокзал в Калуге был расположен на самом краю города. На привокзальной площади в вязкой, никогда не просыхающей грязи лежали высокие штабеля дров. Эти дрова были приготовлены для Москвы. Москва требовала дров. Топливный голод грозил остановить работу заводов и фабрик. Ежедневно с утра тянулись к привокзальной площади длинные вереницы красноармейцев, рабочих, женщин — трудящиеся Калуги шли грузить дрова для Москвы. Людей на погрузке не хватало. Не помогали ни мобилизация, ни коммунистические субботники. Людей требовалось вдвое больше, чем было.

А тысячи людей праздну жили на вокзале. Это не были обычные пассажиры. Они жили в вокзальных помещениях неделями и месяцами. Были среди них беженцы с семьями, спекулянты, дезертиры, какие-то неопределенные личности, согнанные революцией с места и едущие неизвестно куда и зачем.

В залах люди лежали вповалку, оборванные, голодные. Некоторые расположились семьями, дети ползали тут же, между сапогами, шапками, полами шинелей. Тут ели, спали, любили, дрались, заводили нескончаемый торг, ждали светлого будущего, болели и умирали.

Каждый вечер матросы и красноармейцы проверяли документы, кого-то арестовывали, кого-то выслали, но наутро опять вокзал жил прежней жизнью. Попытки мобилизовать на погрузку всю эту голодную, шивую и праздную массу ни к чему не приводили.

Вслед за Никитой Циолковский протискался в зал первого класса. От вони махорки, прелых портянок, человеческих испарений у него закружилась голова.

На буфетной стойке расположились двое игравших в карты. Они не хотели уходить.

— Какая там лекция? Пусть подождет!..

Никита не кричал, не грозил.

— А ну, сойдите! — сказал он тихо. Но была в его голосе и во всей его громадной фигуре, и в том, как он носил свою кожаную куртку, перепосанную солдатским ремнем с револьверной кобурой, была во всем этом такая уверенность в своем праве, что все подчинялись ему.

Циолковский взобрался на стойку. Теперь он оказался один над людьми. Люди сидели и лежали у его ног.

Люди увидели седого старика с палкой, с большой жестяной трубой, в высоком старомодном котелке. Что он им может сказать такого, чтобы их утешить? Если бы сказал, что сейчас выдадут по полфунта хлеба или по тарелке супа! Если бы сказал, что кончились все войны, что завтра каждый из них будет дома! Если бы хоть спел песню, такую, чтоб за душу схватила...

Но он снял котелок и сказал:

— Я прочитаю вам лекцию, граждане!

Лекцию? Очень им нужна лекция! Хлеба им! Вагонов!

Он не слышал.

— Я расскажу, граждане, что ждет человечество в будущем!

Он глядел перед собой и не понимал, чего они шумят, смеются, машут руками. Прямо перед ним лежала на полу женщина. Ее голова была обернута

черным платком, а тело прикрыто широкой, во многих местах прожженной и оборванной шинелью. Женщине этой можно было дать лет пятьдесят. Ее давно немывое лицо было сморщено, пересечено морщинами, и большие серые глаза подернуты той мутной пленкой, какая бывает только у стариков и тяжело больных. Около нее ползала девочка лет, может быть, трех или четырех. Она ползала на четвереньках и была такая грязная и нестриженная, что казалась маленьким медвежонком. Мать смеялась, указывая рукой на Циолковского. И девочка с жадным любопытством смотрела туда, куда устремлена была рука матери, и тоже смеялась, потому что смеялись все.

И еще увидел Циолковский рыжую бороду, рыжие брови и рыжие космы волос, выбившиеся из-под грязной папахи. Рыжий глядел на Циолковского такими острыми и злыми глазами, что казалось, поднимется он сейчас на ноги, растолкает других и, сжав кулачищи, поросшие рыжими волосами, пойдет на Циолковского.

И еще увидел Циолковский серое лицо подростка лет шестнадцати, с русой прядью, выбившейся из-под картуза. Его большие глаза были насмешливыми и понимающими. Так умудренный жизнью дед смотрит на внука.

Люди шумели и смеялись, не понимая, зачем им знать, что ждет их в далеком будущем, когда они не знают, что ждет их сегодня вечером.

Циолковский поднял вверх жестяную трубу и потряс ею.

— Граждане! — кричал он. — Граждане! Граждане! Нас ждет великолепное будущее!..

Он перекричал зал и стал говорить о том, что люди во всем мире сбросят с себя рабство и раскрепостят все силы своего разума, они достигнут небывалого могущества в борьбе с природой. Он рассказал, как люди станут властелинами земли, воды, воздуха и безвоздушного пространства.

Он говорил долго. Когда кончил, то поглядел в зал и не узнал зала. Удивительное чудо происходило перед ним.

Женщина, лежавшая на полу, приподнялась на одном локте, села. Лицо ее преобразилось. Разгладись морщины. С глаз женщины спала мутная пелена, и глаза ее стали сияющими, как два маленьких солнца.

Рыжий бородач сидел, скрестив по-татарски ноги и оба локтя поставив на колени. Руками он поддерживал свою большую лохматую голову, а глаза его смотрели на Циолковского простодушно и доверчиво. А подросток с русой прядью весь был как ветер. Ему не стоялось на месте. Он как бы мчался в то чудесное, сказочное, неслыханное будущее, в которое звал его Циолковский.

Циолковский говорил бы еще и еще, радуясь той радости, которую он принес людям. Ему хотелось как можно заманчивее нарисовать будущую жизнь, чтобы все поняли, что сегодняшняя жизнь, с войнами, голодом, бездомностью, — это только ступень к той великолепной счастливой жизни, которая ждет их впереди. Он хотел, чтобы все поняли это и чтобы им легче стало одолеть эту трудную и скользкую ступень.

Но вдруг он почувствовал руку Никиты. Никита появился рядом с ним на буфетной стойке. Он выждал, пока Циолковский закончил фразу, и тогда бережно отстранил его.

— Товарищи! — сказал он глухим и тяжелым голосом, какого никогда Циолковский у тихого Никиты не слышал. — Наш земляк, товарищи, великий ученый Циолковский рассказал вам, как будут жить люди, когда построят коммунизм во всем мире. Товарищи! Никто другой этого будущего для нас не создаст, если мы сами не создадим его. Революция требует от нас многих усилий и жертв. Владимир Ильич Ленин, который ведет нас к этому счастливому будущему, обратился к гражданам Калуги с просьбой: как можно скорее отгрузить дрова для Москвы. Во имя того будущего, о котором вам рассказал товарищ Циолковский, мы, калужские большевики, призываем вас: помогите грузить дрова для Москвы! Примите участие в нашем коммунистическом субботнике, товарищи!

Выйдя на площадь, Циолковский увидел большую группу женщин. Высоко в воздухе, над грязью, над кривыми пыльными березками, над штабелями дров, реяла их громкая и чистая песня:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов
И, как один, умрем
В борьбе за это...

Они шли грузить дрова. Со стороны вокзала кдровам шла другая толпа.

Циолковский прислонил к дереву слуховую трубу и палку. Вместе с другими он взвалил на плечо круглое тяжелое бревно. Нести его было тяжело. Он вспотел. Болела поясница. В ногах путались полы длинного демисезонного пальто. Скоро он устал и присел отдохнуть на ступеньки вокзала.

«Все-таки это ужасное варварство — так вот таскать бревна на плечах, — думал он. — Небольшая механизация все изменила бы. Мы привыкли все выжимать из своих физических сил и ничего не выжимать из разума. Почему бы не сплавлять бревна по воздуху, как по воде?..» Эта мысль увлекла его. Сейчас он это обдумает. «Трам-там-там-там», — весело напевал он, чертя палкой по пыли схему и чертеж приспособлений для воздушного сплава бревен. Он рассчитал, какой мощностью должен обладать воздушный насос, чтобы поднять в воздух и увлечь за собою бревно. Придумал, как устроить гладко отполированные лотки, которые уменьшат трение бревна о землю в момент подъема. Это было великолепно придумано!..

Кто-то тронул его за плечо. Он поднял голову. Перед ним стояли Никита Балашов и Василий Матвеев. Широкое лицо Матвеева добродушно улыбалось.

— Ну, милый человек, сослужили вы нам службу...

Но Циолковский не захотел его слушать. Он хотел, чтобы Василий Матвеев выслушал его.

— Куда же это годится, гражданин представитель Рабоче-Крестьянского правительства? — быстро заговорил он, вскочив на ноги. — Это ни к чорту, я вам

скажу, не годится. Этак пусть муравьи работают, а не разумные существа. Извольте вникнуть в мое предложение: бревна будем сплавлять по воздуху. Смотрите сюда! — Он ткнул палкой в схему, начерченную на земле. — Вот сюда, сюда смотрите, поправее лужи. Здесь мы устраиваем мощный вентилятор. А здесь установим логи, обитые гладкой жестью. Мы кладем в лотки одно бревно за другим, и бревна взвиваются в воздух...

— Господи боже мой! — всплеснул руками Матвеев. — Да когда же мы все это будем устраивать?..

— Извольте выслушать, молодой человек, до конца. Вы не можете преодолеть в себе косности и инерции мысли. Для создания мощного воздушного потока можно использовать, например, энергию солнца...

— Вот, вот, вот, — обрадовался Матвеев, — это как раз по его части. — Он толкнул в бок Никиту. — Совет рабочих и крестьянских депутатов поручил товарищу Балашову немедленно использовать солнечную энергию, чудак вы человек... — И он поспешил отойти, оставив перед Циолковским одного Никиту.

Циолковский возвращался домой, когда солнце уже опустилось за рощу на другом берегу Оки. Полдня он не был в своей комнате и ничего не писал, но он не чувствовал, что эти полдня потеряны. Впервые за долгую жизнь он полдня провел среди людей, делясь своими мечтами и проектами; не только сам пил радость познания, но и поил ею других. А это ли не было тем самым счастьем, о котором он всегда мечтал?

Варенька, встретив мужа у дверей, сказала, что кто-то его ожидает. Ожидавший был одет не по сезону — в меховой шапке и широком странного покроя пальто. Было в этом человеке что-то такое, что сразу внушило Циолковскому тревогу, хотя он и не мог определить, что именно вызвало эту тревогу. Он пригласил гостя в свою комнату и сам пошел впереди.

На столе лежала свежая почта: несколько газет, несколько журналов и письма. Гость сел против Циолковского.

— Господин Циолковский, — сказал он, — моя фамилия Робертсон, я приехал в Россию из Америки, чтобы сообщить вам, что моя страна заинтересовалась вашими работами. Мы готовы приобрести ваши патенты и все неопубликованные труды по теории ракетного движения...

— Но... — поднял голову Циолковский.

— Простите! — Робертсон поднял вверх руку, отстраняя все возможные возражения. — Считаю необходимым осведомить вас о том, что профессор Клэркского университета в Ворчестере, это в штате Массачусетс, мистер Годдард, собирается строить ракету для полета на Луну. Его финансируют Карнеджи и ряд крупных банков. Я полагаю, что вы вместе с ним могли бы уже в ближайшее время дать старт первому межпланетному кораблю... Простите, не перебивайте меня, пожалуйста. Это еще не все. Вашими дирижаблями заинтересовался мистер Форд. Он готов начать серийный выпуск дирижаблей малого размера. Могу вам, кстати, сообщить, что у нас уже строится цельнометаллический дирижабль, по своей конструкции очень напоминающий ваш проект. Его строит мистер Хейншлем. Он готов уступить Форду свой патент. Мне поручено вступить с вами в переговоры. Ваши условия?

— Пойдите, мистер... мистер, как вас?

— Робертсон.

— Пойдите, мистер Робертсон... Вы говорите, что профессор Годдард строит межпланетную ракету, а этот, как его, Хейншлем, что ли, присвоил мой проект дирижабля?..

— Я не говорю этого, господин Циолковский. Я только считаю, что вам следует поспешить...

— Мне не следует спешить: наука не любит поспешности. Я думаю, мистер американец, что моя родина сама построит и ракетный корабль, и дирижабль Циолковского...

— О, да, да... Я уважаю ваши патриотические принципы, господин Циолковский. Я слышал, что вы сегодня выступали на митинге, а потом таскали дрова!

— Новая Россия, господин иностранец, новая Россия переживает тяжелые дни. Ей сейчас, конечно, не до того, но как только...

— О, конечно, конечно. Вам дали керосин и вместо полфунта хлеба вам дают целый фунт!.. Но неужели господин Циолковский, такой уже немолодой и опытный ученый, не может понять, что Россия разрушена, что пройдут многие десятки лет, прежде чем Россия сможет что-нибудь строить? Я уже не говорю о дирижабле и межпланетной ракете. Я говорю хотя бы о простой лаборатории, которой господин Циолковский никогда не имел...

Он приводил много доводов. Потом вынул из бокового кармана большой белый конверт, на котором аккуратными машинописными буквами было написано: «Россия. Город Калуга. Господину Циолковскому».

Это был последний и самый веский довод. Это было письмо от профессора Р. Г. Годдарда.

Профессор Годдард писал, что считает русского самоучку Циолковского своим учителем. Он писал, что хотя самостоятельно дошел до тех выводов, которые сделал Циолковский, но Циолковскому по праву принадлежит бесспорное первенство, так как работы Циолковского опубликованы почти на пятнадцать лет раньше, чем его работы. Годдард писал, что он мечтает объединить их усилия. Он сообщал, что богатейшие физические лаборатории Кларкского университета в любой момент могут быть предоставлены в полное распоряжение Циолковского, что к услугам Циолковского будут неограниченные материальные ресурсы, людская сила, денежные средства.

Циолковский встал и долго ходил по комнате, прищурившись и теребя бородку.

Потом он вернулся к столу, сел и тихо, самодовольно рассмеялся.

— Что ж, передайте мистеру Годдарду, что он не дурак... Знаете, как это у нас говорится: губа у него не дура... Он пишет, что самостоятельно дошел до тех же выводов. Вольно же ему было не читать литературы по избранному им для исследования вопросу.

Кто же ему поверит? Нет, милостивый государь, передайте вы там у себя в Америке, что Циолковский старый человек, что Циолковский до сих пор никому не продавался — потому и нуждался всю жизнь — и он не продается ни за какие лаборатории. Так и передайте Годдарду, пусть сам приезжает сюда. Талантливый инженер, — может быть, я и возьму его своим помощником. . .

Гость ушел. Циолковский был очень доволен своим ответом. Он вышел к семье, смеясь и потирая руки, рассказывал, как отчитал американца. Потом вспомнил о письмах.

Одно письмо было в большом самодельном конверте из серой оберточной бумаги. Почерк показался знакомым. Он разорвал конверт. Боже мой! Опять она! О чем и зачем она ему пишет? Что ей надо еще?

Письмо было от Натальи Аристарховны. Она писала:

«Уважаемый Константин Эдуардович!

Недавно я прочитала в газете, что вы издали какую-то новую книжку, и очень обрадовалась тому, что вы еще живы. Вы наверно уже забыли обо мне, о молодой и наивной девушке, которая много-много лет назад доверчиво ожидала вас на Тверском бульваре. Не такое сейчас время, чтобы все это помнить. Да, может быть, и помнить-то нечего. Может быть, никогда не было той девушки! Может быть, все это сон! . . Вот пришла сейчас седая, некрасивая, больная старуха домой, в свою пустую квартиру, где все заросло пылью и паутиной. Никого, кроме меня, здесь нет. Гулко и страшно раздаются шаги. Со стен глядят темные пятна. Это следы на обоях от картин и украшений. Весь день я сижу на Сухаревке, около старого коврика. На коврике разложены картины из моей гостиной, статуэтки из моей спальни, рюмочки из столовой, стенные часы из кабинета, семейный альбом, зонтик с резной ручкой. Вот этим я и торгую. Этим и живу. Большевики все у меня реквизируют. Я замучена обысками, одиночеством, страхом. Я пишу вам,

мой старый дорогой друг, и слезы душат меня. Хотя бы кто-нибудь пожалел одинокую несчастную старуху, вспомнил о ней добрым словом...»

Он не стал читать дальше. Он обмакнул перо в чернила и своим широким стремительным почерком написал через всю страницу: «Так и надо тебе, старая дура!...»

Другое письмо тоже было из Москвы. Президиум Всероссийской социалистической академии извещал гражданина К. Э. Циолковского, что на своем заседании от 20 августа 1920 года он постановил избрать Циолковского действительным членом Социалистической академии и возбудить перед Советом Народных Комиссаров вопрос об утверждении плана реализации идей Циолковского и ассигновании для этого необходимых средств.

В конце письма было сказано: «Президиум Социалистической академии просит гражданина К. Э. Циолковского переехать жить в Москву, где будут созданы все условия для наиболее плодотворной деятельности замечательного ученого — пионера воздухоплавания и межпланетных сообщений».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

17

Снова и снова перечитывал Циолковский полученное письмо. Руки у него дрожали. Стекла очков затуманились — может быть, то были слезы? Значит, не даром прожита длинная и трудная жизнь! Значит, не напрасно он верил в народ, в то, что освобожденный народ оценит его усилия! Значит, прав был Никита — все зависит от общественного устройства!..

С письмом в руках Циолковский побежал к семье. Был уже поздний вечер. Варенька шила. Она придвинула поближе к себе лампу и, строго сжав губы, сосредоточенно водила иглой. Люба читала, лежа на диване. Мария склонилась над колыбелькой — там засыпал внучек. Было очень тихо и спокойно в комнате, и никто не ждал бури, которая вдруг разразилась.

Циолковский кричал:

— Прошу, господа! Минуту внимания! Извольте собраться в Москву!..

Он бросился к Вареньке, порывисто обхватил ее узкие плечи, поднял со стула, затем схватил за руки и, не выпуская ее рук, стал отплясывать танец марсиан, как отплясывал его много лет назад...

В Москву!.. В Москву!.. Немедленно! Сейчас же! Он больше не хочет ждать ни одного часа. Он благодарит покорно, больше сорока лет ждал. Хватит! Завтра же в Москву! К библиотекам! К ученым кол-

легам! К своей собственной лаборатории, и не в какой-нибудь там Америке, а в Москве! Завтра же утром! И не вздумайте отговаривать! Утренним поездом! Извольте собираться в дорогу.

Он прочитал вслух письмо и замолчал, победно переводя взгляд с жены на дочерей. Ну, каково! Как вам это нравится? Потом не выдержал торжественного тона и бросился всех обнимать и целовать, перемежая восторженные возгласы ворчливыми понуканиями:

— Что же вы медлите? Извольте, милостивые государины, укладывать вещи! Пошевеливайтесь, пошевеливайтесь, уважаемые! Утренним поездом...

Напрасно Варенька и дочери уговаривали его, что такая поспешность ни к чему, он и слушать ничего не хотел, сердился, фыркал, говорил, что они могут оставаться в Калуге, если им угодно, он один уедет, все равно уедет завтра же утром...

Он вернулся в свою комнату с намерением тотчас же приняться за сборы. Стол был освещен лампой. На столе лежала незаконченная страница рукописи с недописанной фразой. И сразу же расхотелось собираться в дорогу, куда бы то ни было ехать. Все перевернуть, прервать работу, куда-то итти, как-то устраиваться на новом месте... Нет, ему и здесь, если честно сказать, теперь не так уж плохо. А главное — завтра с утра, как только встанет солнце, можно продолжать работу...

— Варенька, старушка моя! Можете не собираться. Мы никуда не поедem.

На следующий день он проснулся очень рано, взглянул в окно, захлестнутое утренней синевой, и сразу же вспомнил о вчерашнем письме, и сразу же обрадовался, что никуда не надо ехать, что можно, не натягивая брюк и пиджака, прямо с постели перекочевать в свое низкое кресло и продолжать прерванную работу.

Несколько лет назад к дому была сделана пристройка. Теперь Циолковский имел свою светелку в мезонине. Светелка с двух сторон была открыта солнцу и небу. Утром он видел, как встает заря.

Вечером — закат радовал его своими красками. Он привык к этим краскам — они заменяли ему звуки. Он привык к пейзажу за окнами: к широкой реке, холмам и рощам.

Когда он вышел к завтраку, на столе лежала толстая пачка свежих газет и десятки телеграмм. Все газеты поместили заметки об избрании Циолковского членом Социалистической академии. Поздравительные телеграммы пришли из Москвы, Петрограда, Новгорода, Киева, Екатеринбурга, Одессы.

Поздравлявшим Циолковский ответил:

«Если мне суждено еще существовать, то все свои силы я должен употребить на то, что считаю, может быть, по заблуждению, безмерно важным для человечества и что я еще не высказал».

Этот ответ он послал в редакции московских газет. Послав письмо, он думал: «Если мне еще суждено существовать!..» Он чувствовал, что ему еще суждено существовать. Если он не умер тогда, когда хотел умереть, когда звал смерть, то теперь... нет. Теперь уж пусть смерть изволит подождать, пока он все закончит, все выскажет. А закончит и выскажет он еще очень не скоро.

Опять Циолковский с головой окунулся в пучину работы. Он написал и издал большой труд: «Кинетическая теория света». Вслед за тем взялся за обширное исследование действия механических законов в биологии. Эта работа увлекла его так же, как в молодости увлекала работа над теорией дирижабля, а позже — теория ракеты.

В Москве вышло новым изданием его «Исследования мировых пространств реактивными приборами». Те же самые идеи, которые впервые были высказаны им более семнадцати лет назад и тогда остались почти незамеченными, вдруг всколыхнули весь мир.

О межпланетных сообщениях стали писать газеты во всех странах. На разных языках выходили книги о будущих полетах на Луну, на Марс и Венеру. Десятки писем стали приходить ежедневно в Калугу. Теперь почти постоянно в доме Циолковского бывали гости — советские и иностранные журналисты.

Вдруг оказалось, что он не одинок, что у него есть множество преданных друзей и горячих последователей.

Из Петрограда приходили письма от молодого инженера Якова Перельмана. Перельман писал, что еще в детстве, до революции, увлекся проектами Циолковского. С тех пор он не пропускает ни одной новой книжки любимого ученого. Ему хочется служить человечеству так же, как служит Циолковский, — нести знания в народные массы, прокладывая новаторские пути в технике.

Циолковский, читая это письмо, был растроган до слез. Он с новой силой почувствовал, что брошенные им зерна дают всходы. Лучшего вознаграждения за годы лишений и обид он и не желал.

На все письма Циолковский отвечал аккуратно, непременно в тот же самый день, когда письмо получено.

Дружеская переписка завязалась и с молодым ученым Рыниным. Рынин писал:

«Ваши труды открыли передо мной такие горизонты, о которых я не смел и мечтать! Вы указали мне жизненный путь. Благодаря Вам я понял, что нет для меня более благородной задачи, чем продолжать ваши исследования возможностей межпланетных сообщений».

Из Киева пришло письмо от инженера Андерса. Он предлагал Циолковскому свою схему стягивающих тросов, с помощью которых можно достигнуть лучшей изменяемости объема оболочки дирижабля.

Однажды к Циолковскому явился невысокий черноволосый человек с пьяными от вдохновения глазами.

— Цандер, — отрекомендовался он, — ваш ученик!

Он только что окончил институт. Еще в институте он стал заниматься ракетным двигателем и организовал научно-технический кружок, посвященный идеям Циолковского. Теперь он намеревался построить первую пробную ракету для полета за атмосферу...

Весной 1925 года Ассоциация натуралистов-самочек устроила в Москве открытый диспут о дирижабле Циолковского. Циолковский поехал в Москву

Его сопровождала старшая дочь, Любовь Константиновна. Циолковский лежал на нижней полке вагона, прикрывшись пальто. В маленькое оконное стекло глядел ночной мрак. Иногда мимо проносились и гасли огоньки... Все в вагоне спали. Спала Люба. Он один не спал. Он ворочался с боку на бок... Он будет думать о Москве, в которой не был тридцать восемь лет... тридцать восемь лет,— это целая жизнь... Он будет думать о своей юности, о первых разочарованиях и ударах судьбы... Он хотел думать об этом, но думал о другом:

«...Начнется диспут, и мне скажут: ты много лет отвергал значение аэропланов, говорил, что только дирижабль может завоевать воздушный океан. Ты ошибся, старик! Тысячи аэропланов летают по небу, участвуют в войнах, перевозят людей и грузы, а дирижабли остаются диковинкой, их единицы, они уступают аэропланам... Ты ошибся, старик, — признайся в этом. А если ты ошибся в одном, то так же можешь ошибиться и в другом. А может быть, и космическая ракета живет только в твоём воображении, а в действительности в иные миры полетит какой-нибудь другой корабль, о котором ты даже не думаешь... Нет, он не ошибся. Он может ответить. Вот он возьмет сейчас карандаш и бумагу и ответит по этому поводу...»

Циолковский достал бумагу и карандаш. Он начал писать:

«Самолет держится в воздухе только при быстром поступательном движении, причем он должен тратить большую работу: во-первых, на одоление силы тяжести, во-вторых, на борьбу с сопротивлением воздуха. В общем, то и другое требует расхода от 30 до 300 л. с. на одного летящего человека».

Писать было ужасно неудобно. Вагон трясся, подсакивая на стыках рельсов, буквы получались неразборчивыми. Как хорошо было бы сейчас очутиться в своей светелке, в своем рабочем кресле около стола,

чтобы за окном расстиралось широкое небо, чтобы стакан чая стоял на столе... Диспут отнимет двое-трое суток. Сколько он успеет бы написать за это время! Сколько продумать!... Он прежде всего написал бы статью об аэроплане и дирижабле. Пусть не думают, что он ошибся. Аэроплан требует для полетов большого расхода энергии. А большой расход энергии — это большие денежные средства. Хорошо. Пусть аэроплан останется для перевозки людей и почты. Но для перевозки грузов на дальние расстояния ничто не заменит дирижабля.

Дорога утомила Циолковского. Он не выходил из гостиницы до того часа, когда надо было ехать на диспут.

Диспут происходил в том же зале Политехнического музея, в котором тридцать восемь лет назад Циолковский впервые публично рассказал о своем аэростате.

Волнение нарастало по мере того, как извозчик приближался к Лубянке. Большие пестрые афиши были расклеены у подъезда Политехнического музея. Стояли извозчики, автомобили.

Циолковского провели к эстраде. В коридорах он встречал много людей, которые поджидали его, бросались ему навстречу, жали руки, называли свои фамилии. Он не слышал фамилий, не знал, кто эти люди, но, растроганный, всем пожимал руки и повторял:

— Очень рад, очень рад, очень рад...

Он вышел на эстраду. Он сразу вспомнил зал — колонны, люстры, колышущееся море голов. Волна прошла по рядам. Люди поднялись. Произошло что-то странное. Море покрылось барашками. Вихрь. Мелькание. Гул... Ему аплодировали, его приветствовали...

Почти все выступавшие высказывались в пользу дирижабля Циолковского. Говорили о практических путях к его осуществлению, о производственных вопросах: разработке технологических процессов, способах крепления металлических листов оболочки, постройке ангара...

В этот вечер Циолковский познакомился с таким количеством людей, с каким он не был знаком за все шестьдесят восемь лет своей жизни. Он просил каждого записать свою фамилию на листочке бумаги.

Листочков было больше сотни. Среди новых знакомых были инженеры, техники, студенты, хозяйственники, партийные деятели, летчики.

Он уже садился на извозчика, когда из темноты выступил невысокий коренастый человек в военной шинели. Лица его Циолковский разглядеть не мог.

Подошедший наклонился к самому уху Циолковского и очень весело сказал:

— Да я же Павел! Не помните Павла?..

— Павел? Павел? Павел?.. Какой Павел?

— А на вокзале в Калуге, когда вы лекцию читали, а потом мы дрова грузили? Не помните?

Циолковский не вспомнил серого лица подростка с русой прядью, выбившейся из-под картуза. Он не вспомнил его стремящуюся вперед фигуру, которой, казалось, тесно в этом зале, на этой земле, которая, казалось, вот-вот сорвется с места и умчится в то чудесное, сказочное, неслыханное будущее, которое открыл перед ним Циолковский.

Павел Федосеев был не очень церемонен. Он посадил Циолковского в пролетку, посадил Любовь Константиновну, а потом и сам взобрался на козлы, рядом с извозчиком, но сел спиной к лошади и лицом к седокам, и все время радовался, глядя на Циолковского, и запросто, как старый знакомый, рассказывал про себя.

Оказывается, когда выступал Циолковский на Калужском вокзале, ехал тогда Павел Федосеев в Москву, к своему брату. В Москве он вступил добровольцем в Красную Армию, рассказывал всем и каждому о том старичке, что выступал в Калуге, и о своем решении непременно стать летчиком и умчаться куда-нибудь повыше. И он, действительно, стал летчиком. Окончил воздухоплавательные курсы, летал на наблюдательных воздушных шарах и аэростатах, летал и на аэропланах, поставил армейский рекорд вы-

соты, а теперь учиться на высших авиационных академических курсах.

Был Павел Федосеев человеком веселым и простецким, всю дорогу шутил и говорил, что непременно прилетит на аэроплане в Калугу, чтобы поднять Циолковского повыше, этак километров на десять в высоту. Как же это, мол, так, что всю жизнь служит человек авиации и воздухоплаванию, а сам ни разу даже не поднялся в воздух.

— Я терпеливый, — отвечал Циолковский шутливо. — Вот построим мой дирижабль, тогда и полечу. Уж не долго ждать, потерплю. . .

О диспуте было напечатано во всех газетах. В журналах печатались очерки о Циолковском и его статьи. К Циолковскому обращались за консультациями из Научного Комитета Военно-Воздушных сил, из Совета Народного Хозяйства. Декретом правительства сооружение дирижабля Циолковского было признано особо важной работой. На одном из крупных московских заводов создано специальное конструкторское бюро. Десятки молодых инженеров и сотни рабочих принялись за подготовительные работы к постройке первого в мире металлического дирижабля с изменяемым объемом. . .

«Так вот что такое всеобщее признание! — думал Циолковский. — Признание, которого ждал я пятьдесят лет. Что ж, это не такая плохая штука! Несколько мешает, конечно, исследовательскому труду. Одному, в безвестности, в глуши, сосредоточиться лучше. Но зато сознание, что дело, которое ты делаешь, нужно людям, — дает новые силы и возвращает молодость. Может быть, и стоило до шестидесяти лет претерпевать все обиды, насмешки, одиночество, чтобы затем, в оставшиеся годы, вкусить радость всеобщего признания твоих заслуг, пьянящую гордость от того, что жизнь прожита не напрасно!»

Судьба Циолковского круто повернулась. Вдруг все сразу вспомнили о нем. Те же самые иностранные ученые и академики, к которым он тщетно обращался раньше, теперь сами протянули к нему руки. Немецкие и французские издательства стали издавать его

труды. Научные журналы печатали его портреты и биографии. Выдающийся немецкий ученый Герман Оберт, выпустив в свет нашумевшую книгу «Ракета к планетам», направил письмо Циолковскому: «Вы зажгли огонь, и мы не дадим ему погаснуть, но приложим все усилия, чтобы исполнилась величайшая мечта человечества».

В другом письме Оберт писал:

«Я, разумеется, последний, кто стал бы оспаривать Ваше первенство и Ваши заслуги по делу ракет, но я только сожалею, что я не раньше 1925 года услышал о Вас. Я был бы, наверное, в моих собственных работах сегодня гораздо дальше и обошелся бы без многих напрасных трудов, зная Ваши превосходные работы».

Американец Годдард заявил корреспондентам газет, что, предпринимая постройку ракеты для полета на Луну, намерен сам посетить Циолковского в Калуге для консультации с ним.

Писем было множество.

Секретарь Оханского райкома партии писал Циолковскому: «Берегите себя, ведь ваша жизнь так необходима, так важна для СССР и всего человечества... Кто же будет указывать путь дальше в работах по завоеванию человеком вселенной?.. И еще, я очень прошу Вас: пришлите свои книги для нашей районной партийной библиотеки».

Профессор Рынин из Ленинграда писал: «Уважаемый Константин Эдуардович! Я сейчас przygotowляю к изданию книгу, посвященную Вам и Вашим работам. Буду очень признателен, если пришлете мне Ваши фотографии — фотографии моделей и прочее, что может иллюстрировать книгу».

Группа комсомольцев сообщала: «Мы создали кружок для изучения межпланетного сообщения. Наша просьба — не отказать в высылке нам всех Ваших работ по ракете».

Известный всему миру полярный исследователь Роальд Амундсен прислал большое письмо. «Я пришел к выводу, что только на дирижабле Вашей конструкции можно достичь Северного полюса. Если бы

Вы были настолько любезны и согласились приехать в Норвегию, то мы обсудили бы возможность сооружения цельнометаллического дирижабля изменяемого объема и совместного полета на нем к Северному полюсу...»

Роальд Амундсен тоже был стариком. А почему бы, действительно, двум старикам не слетать на Северный полюс?.. «Варенька! Я лечу на Северный полюс — меня пригласил Амундсен».

У Вареньки, конечно, возражения. Но что может понимать старая женщина? Она говорит, что ему уже скоро семьдесят, что ему уже поздно летать! Глупая женщина! Он стар? Это он, Циолковский, стар? Так он докажет ей, что не так еще стар! Другому двадцатилетнему не угнаться за ним, когда он едет на своем велосипеде! Стар! Он еще горы может своротить, хотя и стар! А ну-ка, старик: гимнастику! Раз-два-три! Раз-два-три!.. Вот и опять ничего не болит, ни грудь, ни поясница... Почему же не полететь на Северный полюс?.. Варенька, старушка ты моя, ведь ты решительно ничего не понимаешь... Собери мне, пожалуйста, кое-чего в дорогу. Ну, там, пирожков напеки и положи в чемодан что-нибудь потеплее. Носки, например, шерстяные, перчатки... Все-таки — это Северный полюс!

Уговаривать его пришли дочери и внуки. Он смеялся. Хватит! Сиднем сидел ваш дедка в этой комнате сорок лет. Хватит! Хочет дедушка провериться! Вот слетаю на Северный полюс, поймаю белого медведя и вернусь обратно.

Решение Циолковского немедленно отправиться на свидание с Амундсеном было таким же категорическим, как несколько лет назад — немедленно уехать в Москву. Он опять не хотел откладывать поездку ни на один час.

Рано утром, пока все еще спали, Циолковский сел на велосипед и поехал на рыночную площадь за извозчиком. Он вернулся вслед за извозчиком и сам вынес из дому чемодан, в котором были теплые носки, перчатки, книги, нажаренные Варенькой пирожки с капустой.

Варенька, дети и внуки выбежали на улицу. Раздался плач, крики, уговаривания. Циолковский терпеть не мог сцен, топал ногами и толкал извозчика в спину, чтобы поскорее трогал.

Поезд уже стоял у перрона. Носильщик внес чемодан в вагон. Через стекло Циолковский видел дочерей, но сделал вид, что не видит их. В вагоне было темно и душно. Циолковскому досталась верхняя полка. Сквозь грязное стекло почти не проникал солнечный свет. Кружились мухи. На третьей полке лежали мешки и стояли корзины. Они давили, как крышка гроба. И в этой обстановке провести почти шесть часов? А потом искать в Москве свободный номер в гостинице? А потом другой вокзал?.. А дома неоконченная рукопись о скором поезде, который может мчаться без рельсов, перескакивая через реки, озера, горы!

Циолковский вышел на платформу подышать воздухом. До отправления оставалось десять минут. Воздух был свеж и ясен. В светелке сейчас, должно быть, все залито солнцем. Далеко-далеко за Окой синее лес. Необъятное синее небо окружает светелку. Циолковский в ней, как в гондоле воздушного корабля...

— Эй! Носильщик! Оглохли вы, что ли? Вытащите, пожалуйста, из вагона мой чемодан... Я раздумал, не поеду. Благодарю вас. Донесите до извозчика... Извозчик! Улица Брута. Только быстрее, милостивый государь, и так я с вами проваландался целое утро... Пусть Амундсен сам приезжает в Калугу, если ему надо. Так и решим...

Дома было отлично. Комната действительно была залита светом заходящего солнца, окружена синим небом, как гондола воздушного корабля. На столе лежала незаконченная работа о скором поезде.

Циолковский съел пару яиц и выпил стакан молока. Он уселся в низкое кресло около стола и положил дощечку. Так писать было удобнее. Чорт побери! Все-таки довольно славная это штука — жизнь. И совсем не все равно, как группируются атомы. Сгруппируются ли они в Циолковского или вот в этот гвоздь, что забит в стену. Нет, это, ей-богу, не все равно...

Он продолжал статью:

«Предлагаемая мною конструкция поезда отличается тем, что вагоны обтекаемой формы не имеют колес. Они двигаются по плотной поверхности воздуха, который накачивается между полом вагона и специально устроенным железнодорожным полотном, имеющим вид лотка. Избыточное давление воздуха под полом вагона почти уничтожает трение поезда. Тяга поддерживается задним давлением вырывающегося из-под последнего вагона воздуха. Благодаря отсутствию трения и обтекаемой форме поезд может достигнуть огромных скоростей. С разбегу, по инерции, он будет одолевать наклоны, взбираться на горы без всякого усилия тяги. Со временем поезд этой конструкции сможет перескакивать через реки, озера, пропасти и горы любых размеров. Не нужно будет строить мостов и тоннелей. Затруднение — в посадке поезда после прыжка. Неудобство больших скоростей состоит в невозможности частых остановок... Торможения поезда можно достигнуть ослаблением или уничтожением прибавочного воздушного давления под вагонами. Более точное понятие о скоростях этого поезда дают следующие вычисления...»

Он откинулся и начал напевать: «Трам-там-там-там». Честное слово, построить такой поезд было бы совсем недурно!

Циолковский работал до двух часов. В два часа, как обычно, поехал на велосипеде, а потом обедал в кругу семьи. Внуков было много. Они щебетали за столом, как птицы. Он не слышал их болтовни, но всем улыбался. Варенька сказала, что утренним поездом приехало четверо гостей. Инженер из Ленинграда, московский писатель, журналист и мальчик в красном галстуке. Всем велено было притти после обеда.

Обедал Циолковский с удовольствием и аппетитом. Ему нравилось все: и свежие щи с мясом, и жареная рыба, и кислые яблоки на закуску. Все-таки, что ни говорите, а нет для старика лучшего лекарства от всех болезней, чем кислое яблоко. Если ежедневно есть по три кислых яблока, то можно дожить до ста лет. Он уверен в этом. Надо будет написать об этом

статью. Он и сам доживёт до ста лет, во-первых, потому, что сто лет — это не так уж много, а, во-вторых, хотя бы для того только, чтобы доказать пользу кислых яблок.

После обеда пришли посетители. Они пришли все одновременно. Инженер, уже не молодой, озабоченный, в скромной косоворотке, приехал консультироваться по поводу опытов, которые проводятся в Дирижаблестрое. Журналист просил интервью. Писатель намеревался писать сценарий научно-фантастического фильма. Мальчуган отказался сообщить о цели своего приезда в присутствии остальных. Было ему лет двенадцать. Невысокий, черненький, с быстрыми глазами. Верхние пуговицы курточки защитного цвета были расстегнуты, и виднелся красный пионерский галстук.

Беседу с инженером Циолковский перенес на следующий день. Беседа предстояла серьезная. Писателю он посоветовал написать сценарий о полете на Луну.

— Это может быть очень полезно! Очень полезно! Можете вполне рассчитывать на мою помощь и консультацию...

Дошла очередь до журналиста. Журналист просил рассказать биографию. Но Циолковский не стал рассказывать биографию. Он повел журналиста к шкафу, отобрал по одному экземпляру своих брошюр. Получилось около восьмидесяти книжечек.

— Вот моя биография, — сказал он, — другой биографии не имею. Так и напишите: «небесный кустарь». Так здесь меня земляки называют...

Все ушли, остался только мальчик. Все время, пока Циолковский разговаривал с другими гостями, мальчик тихо сидел в дальнем углу, пожирал Циолковского глазами. Когда все ушли, он поднялся со стула и деловитым шагом подошел к Циолковскому.

Циолковский снова взял слуховую трубу:

— С кем имею честь?...

— Володя Кружайло! Не слышали? Ученик 191-й единой советской трудовой школы Краснопресненского района Москвы. Авиамоделист. Побил всесоюзный рекорд. Не слышали?

— Отлично! — сказал Циолковский. — Яблоки едите, товарищ Володя?

— Я хочу посвятить свою жизнь межпланетным сообщениям, товарищ Циолковский... хочу стать вашим помощником. Вы вон какой старенький. Я буду учиться у вас, хорошо? А потом, когда мы построим ракеты, вы возьмете меня с собой на астероид. Хорошо?

— Но ведь это, может быть, будет еще очень не скоро, товарищ Володя! Когда еще мы с вами построим ракету!..

— Ну, что ж, что не скоро. Я в Калуге в школу поступлю. А маме я оставил записку, чтобы не беспокоилась и в милицию не заявляла. Когда придет время, она из газет узнает, где я нахожусь. Ведь газеты напишут, когда мы полетим, да?

— Обязательно напишут, но все-таки, может быть, в ожидании этого полета вы изволите скушать яблочко, или предпочитаете конфеты?.. Варенька! Дай, душенька, сюда яблок и конфет...

Варенька принесла угощение.

Гость чрезвычайно смутился.

— Я не за яблоками приехал, товарищ Циолковский, яблоки и в Москве у нас есть. Я вам помочь хочу. У меня тоже есть проект ракетного корабля. Можно, покажу?.. — Он стал расстегивать курточку. Во внутреннем кармане была школьная тетрадка с проектом.

— Проект мы сейчас рассмотрим, только яблочко сначала извольте скушать. Яблоки, товарищ Володя, чудесно помогают для всяких воздушных завоеваний. Может быть, только кислым яблокам я и обязан своим открытиями... Вот так! Ну, а теперь показывайте проект...

Проект Володи Кружайло был интересным. Циолковский терпеливо разбирал его достоинства и недостатки. Сидели больше двух часов. Потом еще час Циолковский уговаривал мальчика поехать обратно в Москву, окончить школу и вуз, а потом уж вернуться сюда. Он давал честное слово, что до того времени не умрет и обязательно дождется Володю.

Володя согласился вернуться в Москву только при одном условии: что Циолковский напишет письмо его товарищам по детской технической станции. А то они не поверят, что Володя действительно был у Циолковского, и будут считать его просто хвастуном и врунишкой.

Хорошо! На это условие Циолковский согласен. Он взял перо и написал:

«Дорогие дети, стремитесь к свободе и счастью. Без работы их достигнуть нельзя. Нас должна воодушевлять и бодрить мысль, что мы работаем не только для других, но и для себя. Мы — материя, часть неуываедаемой вселенной, и потому так же вечны, как она.

Ваш *К. Э. Циолковский*».

18

Накануне Циолковский ездил в колхоз читать лекцию о межпланетных сообщениях. Никита Балашов предлагал ему свой автомобиль, он отказался: погода была отличная, он съездит на велосипеде. Какие-нибудь шестнадцать километров, очень даже приятная прогулка. Ехать надо было по Перемышльскому шоссе. Он любил эту дорогу, она вела прямо кверху, с возвышенности открывался чудесный вид на Калугу. Калуга казалась городом, рожденным мечтой, — она утопала в зеленых садах, солнце золотилось на куполах и в стеклах.

Была ранняя осень, и поля стояли желтые, обильные, щедрые. Высокий хлеб колыхался по обе стороны шоссе, крепкие колосья с тяжелыми зернами клонились к земле.

В колхоз Циолковский приехал как раз к назначенному времени, но очень устал. В избе-читальне горела керосиновая лампа, и безусый, похожий на цыгана тракторист все время, и до лекции и после, настойчиво домогался: когда состоится первый полет на Луну? Можно ли тракторный двигатель поставить на аэроплан? Кто такой Фламарион и почему его не изучают в школе? Сколько лет надо учиться, чтобы стать летчиком, и сколько лет — чтобы стать астрономом?

Беседа затянулась. Потом еще парторг колхоза повел Циолковского ужинать. Потом сказали, что лошадь ждет у крыльца.

Циолковский вышел. Ночь была звездная. У ворот он увидел телегу, в ней поблескивал его велосипед. Нескольким поодаль стояла толпа — девушки и парни. Они собрались проводить Циолковского. Он простился со всеми, сел в телегу. Подбежал тракторист и на ухо прокричал, что он забыл сказать Циолковскому: как только соберут урожай, он поедет учиться в Москву. Он хочет стать летчиком или астрономом. А про Фламариона он спрашивал только потому, что хотел узнать: читал Фламариона Циолковский или не читал.

— С богом! — сказал председатель колхоза. — А то и до ночи не доберетесь!

Лошаденка тронулась. Провожающие весело запели:

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство и простор.
Нам разум дал стальные руки — крылья,
А вместо сердца — пламенный мотор...

Циолковский слышал только мелодию. Слов он не слышал, но знал слова и повторял их вслух, стараясь не отстать от мелодии.

И кучер его — маленький парнишка в громадной кепке — тоже запел.

Все выше, и выше, и выше
Стремим мы полет наших птиц,
И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ...

Пел Циолковский. Пел мальчишка-кучер, пели провожающие колхозники. Пели звезды на небе. Пели колысья в полях. Пели далекие огни города за рекой.

Колхоз остался позади, дорога повернула, город приближался. Теперь вел мелодию мальчишка-кучер. Он пел отчаянно громко, звонким и задорным голосом.

Вздымая ввысь свой аппарат послушный
Или творя невиданный полет,
Мы сознаем, что крепнет флот воздушный,
Наш первый в мире пролетарский флот...

Так пели они до самого города. Циолковский думал, что, конечно, обидно полдня потратить на поездку в колхоз, когда так много неоконченной работы, но, с другой стороны, то, что он ночью возвращается в город и поет с мальчишкой эту песню, — это какая-то чудесная и великая тайна, и в тайне этой стоит разобраться. А если он разберется в этой тайне и к тому же еще тот чумазый тракторист, действительно, когда-нибудь станет летчиком или астрономом, то, право, полдня не потеряны даром. . .

Утром Циолковский чувствовал себя великолепно. За окном было солнечно, тепло. Зеленая ветка лезла в самую комнату. Хотелось крепкого чаю. Он спустился вниз. Все еще спали. Спала и Варенька, подетски подложив под щеку обе руки. Ему захотелось разбудить ее веселой шуткой. Он потрогал ее за плечо и сказал:

— Знаешь, Варенька, кто у меня? Марсианин. . .

Она ничего не понимала со сна, сначала испуганно, а потом удивленно глядела на него, но его глаза прищурились, стали узенькими и хитрыми, и, пощипывая бороденку, он рассказывал:

— Понимаешь: еду я из колхоза, вижу, на дороге кто-то стоит. Я сначала даже не понял, кто это, думал — куст. Очень интересный. Как растение. Они там питаются солнечным светом. У него вместо рук громадные листья. Не веришь? Вот поди ко мне, погляди!

И он смеялся так громко, что разбудил дочерей.

Приближался день его семидесятипятилетия. Узнав от Никиты, что партийные и советские организации собираются торжественно отпраздновать его юбилей, он смутился:

— Это зачем же? Юбилей! Что, губернатор я, что ли? Вы вот лучше юбилей моего дирижабля справили бы. Пятьдесят лет, как я придумал его, а до сих пор он так и не построен; а зачем же это мой юбилей? «Кто такой Циолковский?» — спросит народ. — «А! Это тот небесный кустарь, который все придумывает да придумывает, только никакого что-то проку от его придумываний пока не видно!» Да, да, да, Никитушка.

Так скажет народ. Нет, я не скромничаю. Ты не возражай. Я-то сам очень хорошо себе цену знаю, будь спокоен, я лучше всех вас знаю, кто такой Циолковский и что он сделал для будущих поколений, но народу откуда же это знать? Дирижабля моего никто не видел. На Луну никто не полетел. Что же я скажу людям на этом юбилее?

Уже накануне юбилея — 16 октября 1932 года — с самого утра стали приходить поздравительные телеграммы. Телеграммы шли со всех концов мира: из Ленинграда, Москвы, Владивостока, Парижа, Гельсингфорса, Лондона, Читы... С московским поездом приехала большая группа корреспондентов и фотографов. Они были посланы «Правдой», «Известиями», «Комсомольской правдой», крестьянскими, железнодорожными, пионерскими газетами.

В этот день Циолковскому почти не удалось работать — все время он принимал гостей, читал телеграммы.

Ночью он спал плохо. Иногда вставал пить воду, потом снова ложился и лежал с открытыми глазами. Он видел вокруг себя ту же привычную обстановку, те же предметы, которые окружали его в течение нескольких десятилетий. И то же самое небо раскинулось за его окнами. И те же самые звезды заглядывали через стекло. И все было иным... Всю жизнь он сидел здесь один, и кругом была пустыня. Всю жизнь он кричал во всю силу своих легких, чтобы кто-нибудь услышал его. Но его не слышали. Он охрип и обессилел. Пески уже начали заносить его, и вдруг, как по чудесному волшебству, когда он открыл глаза, занесенные песками пустыни, вокруг оказалось множество народу, тысячи, сотни тысяч людей, и все они протягивают к нему руки, и все они ждут его новых работ...

Завтра он выйдет на трибуну. Что скажет он людям? Людям свойственно ошибаться. Они ошибались, когда не признавали его заслуг. Может быть, так же ошибаются они сейчас, превознося его заслуги до небес... Пусть он себе ответит сейчас, пока он один в своей комнате, пусть сейчас решит он этот проклятый, не дающий покоя вопрос: окупил ли он своими тру-

дами тот хлеб, который ел в течение своей жизни? Что он дал людям? Ведь дирижабль до сих пор не построен! Может быть, он все-таки преувеличил значение дирижаблей, как преуменьшил значение аэропланов?.. Правда, он задолго до всех других дал людям первый чертеж аэроплана. Аэропланы стали строиться такими, как он предполагал тогда, когда еще ни одна машина тяжелее воздуха не оторвалась от земли... Но аэропланы строились независимо от него, и ни Блерио, ни Фарман, ни Максим не знали об аэроплане Циолковского. Так что же он дал людям? Ракету? Но ракета еще пока не может вылететь за пределы земной атмосферы!.. Он открыл миру новую философию панпсихизма, монизма вселенной, единства всего сущего! Но люди не вняли ему. Он придумал новый всеобщий алфавит и пишущую машину для него! Но люди не придали этому значения. Он придумал, как подать сигналы на Марс, разработал план освоения морей, осушения океанов, преобразования атмосферы; он придумал скорый поезд, скачущий через реки и пропасти, космическую станцию, батисферу для погружения на дно океана, — все это нельзя пока еще осуществить... Он открыл существование изотопов, разработал теорию лучеиспускания солнца и звезд, учение о световом эфире, о происхождении солнечных систем — это оказалось сделанным до него... Он придумал устройство высотного аэроплана, полуреактивного аэроплана, стратостата, гидроплана-крыло, сжимателя газов... Это все еще в замыслах или рукописях!.. Так что же он дал людям? Что он сделал?..

И Циолковский пришел к тому горькому выводу, что своими трудами он еще не окупил съеденного хлеба.

В этом было очень трудно и больно признаться. Он никуда завтра не пошел бы и не стал бы выступать перед людьми и принимать их поздравления, если бы не был твердо убежден, что еще окупит съеденный хлеб! Десятки проектов и планов созревали в его голове. Хорошо! Он примет все поздравления. Он ответит на все телеграммы. Но он должен забыть старость, усталость, славу — все он должен забыть, кроме од-

ного: работы. Теперь он должен окупить не только съеденный хлеб, но и принятые поздравления, и полученные телеграммы, и веру, которую высказали ему люди. . .

— Да рассеется тьма, — шептал он, — да будет свет! Пусть спадет с меня моя слепота! Пусть мой разум позволит мне дать людям еще столько блага, сколько они ждут от меня! . .

Когда он проснулся, то увидел цветы и солнце. Не по-осеннему щедрое солнце затопило всю светелку. Солнечный свет и солнечное тепло лились через окна, двери, через все щели, излучались мебелью, книгами, бумагой. Так пришло его приветствовать небо.

Цветы стояли повсюду. Они стояли в стаканах, в горшочках, корзинах, в суповой миске, бутылках, банках из-под варенья. Цветы принесли сюда пестроту и запах полей и леса.

Так пришла его приветствовать Земля.

Циолковский чувствовал себя двадцатилетним. Он хотел перехитрить Вареньку, и пока все спали, в одном белье забрался в кресло, стал работать. Но долго работать не пришлось. Первыми проснулись внуки. Босиком, в одних рубашонках, двое малышей осторожно приоткрыли двери дедушкиной комнаты и, увидев, что он не спит, ворвались, набросились на него со своими подарками и поцелуями. Он схватил их на руки и пустился с ними в пляс по комнате, по солнечным лужам, между цветами.

— Попляшем, мотылечки мои, попляшем, как пляшут марсиане! . . — И они плясали — все в нижнем белье — маленькие белоголовые ребятишки и семидесятипятилетний седобородый старец.

Так начался день. Еще не был готов завтрак, когда принесли первую пачку телеграмм. Телеграммы были от Максима Горького, Ворошилова, от друзей, ученых, юных пионеров. . .

По случаю семидесятипятилетия Циолковский с самого утра надел сюртук, твердый воротничок, галстук. Но он еще не успел завязать галстук, когда услышал внизу шум, будто порывом ветра распахнулись все двери. В комнату без стука вбежал Беркович. Был он

в длинном широком пальто и в старенькой серенькой кепочке. Бородка его стала совсем седой. Глаза все так же искрились, как и прежде.

Старики обнялись и долго-долго не выпускали друг друга из объятий.

Потом Беркович взял слуховую трубу Циолковского и всунул ее ему в руки. Он сообщил, что сыновья его, слава богу, выросли и стали такими людьми, что дай бог, чтобы у них самих были такие же сыновья, и у их сыновей были бы тоже сыновья не хуже. Один, слава богу, кончил институт, другой партийный, а третий хоть и не партийный, но зато женился на докторше. Сам Хаим Беркович тоже не вышел в тираж. Он нашел наконец-таки свое призвание, дай бог здоровья советской власти. Его призвание — пуговицы! Да, да, да — пуговицы!

— Я хотел бы посмотреть, что вы скажете, когда увидите, какой я вам привез подарок?.. — и он стал вытаскивать пуговицы из карманов пальто, пиджака, жилета и брюк.

Пуговицы были дюжинами. Они были разные — большие и маленькие, черные, белые, сверкающие, как бриллианты, и скромные, как орехи. Они были предназначены для военных шинелей, для детских штанишек, для дамских платьев, для мужских кальсон. Беркович выкладывал их перед Циолковским, захлебываясь от восхищения.

— Ха! Пуговицы? А что это такое пуговица? Пуговица — это, конечно, не ракета. Но я и не говорю, что пуговица ракета. Упаси бог! Она не может полететь на Луну. Но я хотел бы знать, как вы полетите на Луну, если не будет пуговиц? Что, простите, вы будете всю дорогу от Земли до Луны держать штаны руками? Пуговицы — это все! Без пуговиц нельзя совершить ни одного подвига! Без пуговиц невозможно жить. Вот уж восемь лет я работаю председателем артели инвалидов. Я уже дал миру два миллиона четыреста тысяч пуговиц. Вы только представьте себе, что значит два миллиона четыреста тысяч пуговиц! Без пуговиц никто не может быть счастливым, даже абиссинский негус...

Дневным поездом Беркович уехал обратно в Витебск. Беркович звал Циолковского прилететь на самолете к нему в гости. Он уверял, что и Сарра стала добрее, и сыновья будут ему очень рады. И Циолковский обещал прилететь. Сначала в Витебск, а потом уж на Луну или куда придется...

Вечером Никита отвез Циолковского в железнодорожный клуб. Зал был полон. Циолковский сидел за столом президиума, держа на коленях старомодную высокую шляпу. Играл оркестр. Многочисленные делегации приветствовали юбиляра.

Когда пришло время выступать Циолковскому, зал поднялся ему навстречу, раздался гул и замелькали сотни трепещущих ладоней, Циолковский встал и взмахнул шляпой над всем залом. Он хотел сказать о своей бесконечной радости, о благодарности, о том, что будет работать до последнего дня своей жизни ради них, этих благодарных и благородных людей... Но в зал падали тихие, очень тихие слова:

— Что вы мне аплодируете? Я вам должен аплодировать. Мне стыдно, что я уже такой старик, а так мало еще сделал. Дирижабли мои еще не летают. Ракеты тоже... А вы уже вон что сделали — такую замечательную страну построили... — и он опять широко взмахнул шляпой, будто хотел обнять всю страну.

Несколько дней Циолковского кружил вихрь. Он оторвал его от работы, от семьи, от привычной обстановки, приподнял над землей. Бесконечным потоком шли телеграммы, письма, газеты, журналы... Циолковский, Циолковский, Циолковский... Его портреты, его имя, его книги... Казалось, только этим жила сейчас вся громадная страна. Когда извозчик вез его на вокзал, калужане стояли на панелях, махали ему шапками. В поезде его одолевали журналисты. Все мелькало перед ним, как кадры стремительно мчащейся киноленты. Встреча в Москве на вокзале, гостиница «Метрополь», Колонный зал Дома союзов. Заполненные людьми ложи и партер. Сверкающая, как солнце, люстра, белые стены, красные транспаранты, цветы, цветы, цветы...

После сорока лет сонной тишины калужских улиц, после десятков лет одиночного заключения в своей тесной комнатке Циолковскому нелегко было воспринять этот широкий, шумный, плещущийся мир.

Все слилось перед ним: сверкающие лучи прожекторов, треск киноаппаратов, речи, поздравления, рукопожатия, орден Трудового Красного Знамени, приколотый к его груди, подаренный государством новый дом, присвоение его имени улице, учреждениям, цехам, школам...

Все слилось перед ним: и черное звездное небо Москвы, и нетерпеливое желание увидеть строящуюся модель дирижабля его конструкции, и страшная усталость, и расслабляющее чувство удовлетворения, и угрызения совести от того, что весь этот триумф еще не заслужен и его надо еще заслужить, а чтобы заслужить, следует скорее вернуться к работе, домой, к тихой заботливой Вареньке, в свою солнечную светелку, где так хорошо думается и пишется.

Но на следующий день его повезли на завод, посмотреть сооружение модели.

Раскрылись широкие ворота ангара. После уличного света Циолковскому показалось, что он попал в полную темноту. Только когда глаза освоились с полумраком, Циолковский разглядел большое просторное помещение, слабо освещенное сверху сквозь застекленную крышу. Солнечные лучи косо лежали посреди ангара странными светлыми полосами. Длинные балки и подъемные краны уходили своими вершинами под потолок.

Постепенно из мрака проступили очертания светящегося облака, как бы остановившегося где-то посреди между полом и потолком. Это было что-то легкое, воздушное и невозможно волнующее. Это была громадная серебристая сигара, укрепленная посреди помещения.

Циолковский оттолкнул провожающих и почти бегом, путаясь в полах длинного пальто, поспешил к громадной модели. Он не видел перед собой пути, спотыкался о железные рельсы, балки, какие-то ящики. Он видел перед собой только серебристое, чуть-чуть

поблескивающее во мраке, металлическое тело своего дирижабля — мечту всей своей жизни, цель всей своей жизни... И он бежал к ней, протянув вперед старчески дрожащие руки.

И все, кто был в это время в ангаре, замерли на месте, не решаясь ни словом, ни движением нарушить торжественность и святость этого свидания.

Старик остановился около воздушного корабля, прикоснулся к холодному металлу оболочки, и корабль вздрогнул от этого прикосновения.

Циолковский снял шляпу.

Только теперь он увидел, что стоит один рядом с моделью, и он закричал:

— Ну, где же народ? Кто тут главный? Показывайте, почему стоите?..

Осмотр модели продолжался более трех часов. Циолковский не хотел уходить. Непрерывно звонили с одного из московских заводов, из цеха, носившего имя Циолковского. Циолковский обещал приехать туда. Его ждали уже больше двух часов. Дневная смена давно окончилась, но рабочие не расходились, — они хотели видеть и слышать Циолковского.

Его встретили у ворот и под руки провели в цех. Когда он вошел, все встали ему навстречу. Пришли рабочие из других цехов, загородили проходы и все свободное пространство. Циолковский увидел узкую железную лесенку, ведущую на небольшой балкончик, повисший над цехом. Отказавшись от помощи, он самостоятельно стал карабкаться по лесенке. Ступени скрипели. Он поднимался все выше и выше, и перед его глазами открывался цех, — странной формы станки и машины, а между ними люди с обращенными к нему лицами. Он вспомнил сон, который видел несколько раз в своей жизни; он вспомнил другую лесенку и другой балкон, и ему показалось, что сон был вещим: семьдесят пять лет он взбирался на башню своей мечты, башня была неустойчивой, она шаталась, и он падал и взбирался опять. И вот он снова взбирается по скрипучим ступеням на вершину башни. Он выходит на балкон и впервые чувствует, что башня его жизни устойчива и надежна.

— Товарищи, — тихо прозвучал его старческий голос, — товарищи мои дорогие! Только что я своими глазами увидел страстную мечту своей долгой жизни. Я не могу сейчас найти таких слов, которые передали бы вам, что я чувствую. Только одно я могу сказать: не только моя мечта осуществилась в наши дни. Наша советская власть осуществила мечты всех лучших людей, всего передового человечества. Берегите же воплощенную мечту человечества, берегите нашу жизнь, и каждый из вас станет моложе, как моложе стал я. Вот и все, товарищи, а теперь поеду, я уж тут у вас в Москве и так загостился. . .

В последние часы, проведенные в Москве, Циолковского тянуло домой, в тишину и покой своей комнаты и прерванной работы. Он чувствовал страшную усталость, болела голова. Почти с физической отчетливостью он ощущал острую необходимость как можно скорее и как можно полнее оправдать оказанные ему почести, доказать недоказанное, записать и опубликовать всю ту россыпь идей и проектов, которая была еще неизвестна людям. Но все это можно было сделать только дома. И чтобы рядом была Варенька. Он чувствовал сейчас такую нужду в своей седенькой старушке, что слезы подступали к его горлу. Зачем он так часто обижает ее? Зачем он сердится на нее? Почему так мало отдает ей внимания и ласки? Ведь никто так не нужен ему, как она. Она дала бы ему сейчас кислых яблок, чтобы прошла изжога. Она положила бы ему на голову мокрое полотенце. Она сидела бы на краю постели и держала бы его руку в своей сморщенной, сухой, теплой, любимой руке. . .

Железная дорога всегда производила на него угнетающее впечатление. На этот раз особенно. Поезд, казалось ему, плетется ужасно медленно. Каждый раз, когда поезд останавливался, появлялось искушение схватиться двумя руками за раму окна и выскочить вон туда, где прозрачный воздух, где пахнет хвоей и грибами, и шагать, шагать по широким дорогам и узким тропам, размышляя об ускорении ракеты, о высот-

ном аэроплане, о своей жизни, которая была велико-
лепной в прошлом и будет еще чудеснее в будущем. . .

Чем ближе к Калуге, тем больше не терпелось Циолковскому снять парадный сюртук и жестокое яр-
мо воротничка, расправить усталое тело в просторной
ночной рубаше, усесться в низкое кресло и погрузиться
в свой веселый и волнующий мир.

Поезд остановился. Циолковский наспех простился
с попутчиками. На перроне его встретили Никита, до-
чери. Не было только Вареньки. Извозчику он крикнул:

— На улицу Циолковского! Знаешь?

— Как же, уже знаем. Бывшая Брута.

— Только вези, дружок, так, чтобы дух захватило.

Колеса задрезбужали по булыжнику. Циолковский
представил себе, что через несколько минут он увидит
Вареньку в ее стареньком заплатанном переднике. Она
снимет с него пальто, усадит за стол и будет пить
чаем с вишневым вареньем. Внуки взберутся колен-
ками на стулья, подопрут кулачками острые мордочки
и будут слушать рассказы о том, как вся страна че-
ствовала их деда. А потом. . . А потом. . . ожидавшая
его работа была такой сладостной и влекущей, что даже
одни только мысли о ней вызывали трепет во всем
теле.

С самого утра он забрался в кресло, и сразу же
мир вокруг него изменился — изменились формы,
цвета, запахи.

— Эй, вы! Барабанщики! — топал он ногой о
пол. — Да прекратите ли вы свой гомон?

Разум и нервы были так заострены, что он, каза-
лось, начинал чувствовать и мыслить каждой порой
своего тела, каждым атомом своего организма. Все
явления приобрели для него особую значимость. Обо-
стрились зрение, обоняние, слух, осязание. Явления
приоткрыли свой покров для его разума, и он увидел
то, чего не видел раньше.

Для того чтобы ускорить достижение космических
скоростей, надо понизить долю массы ракеты, прихо-
дящуюся на топливо.

Эта задача была очень трудной и волнующей. Все иное отступило на задний план.

Приезжавшие из Москвы инженеры сообщали о ходе испытаний большой летающей модели его дирижабля.

Присылались корректуры первого тома полного собрания сочинений.

Все это было менее важно, чем решение задачи, которая может приблизить час первого межпланетного путешествия. Эта задача требовала непрерывных размышлений и вычислений.

Однажды ему показалось, что правильное решение найдено.

«Сорок лет, — писал он в Ленинград одному из друзей, — я работал над реактивным полетом, в результате чего дал, по общему признанию, первый в мире, теорию реактивного движения и схему реактивного корабля. Через несколько сотен лет, думаю я, такие приборы залетят за атмосферу и будут уже космическими кораблями.

Непрерывно вычисляя и размышляя над скорейшим осуществлением этого дела, вчера, в 6 часов вечера, я натолкнулся на новую мысль относительно достижения космических скоростей.

Последствием этого открытия явилась уверенность, что такие скорости гораздо легче получить, чем я предполагал. Возможно, что их достигнут через несколько десятков лет, и, может быть, современное поколение будет свидетелем межпланетных путешествий.

Таким образом, вчерашняя идея приблизила реализацию космической ракеты, заменив в моем воображении сотни лет (как я писал в 1903 году) только десятками лет».

О сущности своего открытия он ничего не написал в этом письме. Он хотел произвести дополнительные вычисления, и только тогда, когда все будет закончено, когда все будет бесспорно и безошибочно, только тогда он опубликует свое новое открытие, оправдает хлеб, съеденный за всю жизнь, оправдает почести, возданные ему народом...

Но радость открытия была слишком велика, чтобы можно было хранить ее в своей комнате. Ему захотелось поднять ее над крышей своего дома, высоко в небо, чтобы все ее видели, чтобы сплелась она с радостью, торжеством побед, с трудом всей страны.

Он послал статьи в центральные газеты. Его радовало, что торжество его труда вплеталось в торжество всеобщего труда.

На одной газетной странице сообщалось о новом открытии Циолковского, о пуске Днепрогэса, о строительстве мощного металлургического комбината имени Сталина, о строительстве московского метрополитена, о взорванных скалах на трассе Беломорско-Балтийского канала; о мировых рекордах советских летчиков; об исследованиях Северного полюса советскими учеными... Какой-то громадный исторический пласт сдвинулся с места. То, что было несбыточным, стало возможным. Стало возможным, казалось, все: превратить пустыни в сады, осушить океаны, отеплить Север, консервировать солнечную энергию, строить искусственные спутники земли — космические станции. Люди действовали не в одиночку, не вразброд, а все вместе, той многомиллионной добровольной трудовой армией, о которой много лет назад мечтал Циолковский, как о неременном условии для преобразования земли и вселенной...

Первого мая 1933 года над Красной площадью Москвы, над всей Советской страной и над всем миром из голосистых труб, развешанных под крышами домов, на деревьях, трамвайных столбах, из десятков тысяч радиоящичков, стоящих на комодах, на столах, на каминах, на полочках, с миллионов газетных страниц прозвучали негромкие уверенные слова семидесятишестилетнего Циолковского.

Циолковский сидел в своей комнате, перед ним стоял микрофон. Циолковский говорил тихо, хрипловатым голосом, иногда отпивал из стакана воду.

Он сказал:

«Привет вам!

Представляю себе Красную площадь столицы. Сотни стальных стрекоз вьются над головами идущих

щих колонн. Низко-низко проплывают дирижабли — мечта моей юности, исполнение заветных моих фантазий, пожалуй, некий результат моих ранних работ.

Стальным птицам становится тесно в воздухе, и это стало возможным у нас лишь теперь, когда наша партия и правительство, весь наш трудовой народ, каждый трудящийся нашей советской родины дружно принялись за осуществление дерзновеннейшей мечты человечества — завоевание заоблачных высот.

Небывалый подъем! Прежде ничего подобного не было и не могло быть. Не мудрено поэтому, что именно советские пилоты пробрались выше всех в загадочную стратосферу. Легко объяснимы и мировые рекорды наших парашютистов, рекорды на продолжительность полета и многочисленные проявления героизма наших славных завоевателей воздуха.

Теперь, товарищи, я точно уверен в том, что и моя другая мечта — межпланетные путешествия — мною теоретически обоснованная, превратится в действительность.

Сорок лет я работал над реактивным двигателем и думал, что прогулка на Марс начнется лишь через много сотен лет. Но сроки меняются. Я верю, что многие из вас будут свидетелями первого заатмосферного путешествия.

У нас в Советском Союзе много юных летателей, — так я именую детей авиамоделистов, детей планеристов, юношей на самолетах. Их у нас десятки тысяч. На них я возлагаю самые смелые надежды. Они помогут осуществить мои открытия и подготовят талантливых строителей первого межпланетного корабля.

Герои и смельчаки проложат первые воздушные трассы — Земля — орбита Луны, Земля — орбита Марса и еще далее: Москва — Луна, Калуга — Марс.

Наверно, оркестр на площади играет сейчас марш: «Все выше и выше». Прекрасная музыка! Хорошие и замечательно правдивые слова! Да, да, все выше и выше забираются большевики; на пользу всего человечества, для того, чтобы легче дышалось, радостнее

жилось, для того, чтобы каждый пролетарий, будь то англичанин, француз, немец, китаец, негр, так же радостно, смело и весело, как вы, мог справлять Первомайский пролетарский праздник.

Сердечный привет вам!..»

19

Дом, подаренный государством, был новый, обширный, красивый. В нем удобно могла разместиться вся большая семья, а кабинет Циолковского был таким просторным и светлым, какого никогда у него не было.

Когда постройка дома была закончена и Варенька осмотрела будущее жилище, она даже растерялась.

Она на цыпочках вошла в светелку мужа.

— Как же это так, Костя?.. Неужели правда это будет наш собственный дом?.. Как же это так... у каждого отдельная комната?..

— Знаешь, Варенька, — ответил Циолковский, не поднимая головы от рукописи, — я думаю, что это действительно так, только очень прошу тебя: не мешай. Я сейчас, кажется, набрел на новую мысль. До сих пор среди ученых нет единого мнения о температуре тел в небесном пространстве. Если допустить, что вокруг какого-либо тела нет ни воздуха, ни солнца, ни планет, ни комет, то такое тело будет только терять теплоту, не получая ее взамен. Весьма вероятно, что температура такого тела может дойти до абсолютного нуля, то есть будет иметь 273 градуса холода по Цельсию. Но ведь не можем мы допустить, что при этом совершенно прекратится движение молекул и атомов?.. Ты понимаешь меня, Варенька?

— Да, да, Костя. Я только не понимаю, когда же мы будем переезжать. Из горсовета уже три раза приходили, чтобы мы назначили день. Когда, Костенька?

— Что? Что такое? Куда переезжать?..

— В новый дом! Когда будем переезжать в новый дом?

— Ах, да оставь меня, пожалуйста, в покое, родная. Никуда я сейчас не поеду, как хочешь. Пока вот этого не кончу, никуда не поеду.

— Но ведь там уже все готово, и мебель расставлена...

— Ну и переезжай сама, если хочешь. Как ты этого не понимаешь! Ведь если тело будет находиться на том же расстоянии от Солнца, что и от Земли, то оно будет терять тепло только от лучеиспускания, потому что кругом него нет никакой материальной среды. Но оно будет получать тепло от Солнца. Значит, температура тела будет понижаться лишь до тех пор, пока расход теплоты от лучеиспускания не уравнивается приходом теплоты от солнечных лучей...

Так Гаренька ничего от него и не добилась. Она сама сговорила с горсоветом, назначила день и с помощью дочерей и внуков перевезла в новый дом все вещи. Циолковского решили не трогать, пока он не закончит начатой статьи.

Он остался один в доме. Он даже не знал, что остальные комнаты стоят пустые и холодные, что еду приносят из другого дома, расположенного за несколькими кварталами.

Только когда статья была закончена и Циолковский опять вернулся к окружающей жизни, он узнал, что его семья уже живет в новом доме. Он никому не доверил собрать свои книги, рукописи, инструменты. Сам увязывал их, упаковывал в ящики, сам сел поверх своего имущества на грузовик, и когда на полпути ему показалось, что позади на дороге что-то белеет, он остановил машину и послал шофера назад, посмотреть, не страничка ли это из какой-нибудь рукописи.

И вот он в новом доме. Был полдень — дочерей дома не было. Внуки играли в саду. Вместе с Гаренькой Циолковский обошел все комнаты. Они вернулись в кабинет и сели на старый-престарый деревянный диван, много лет назад сделанный самим Циолковским при помощи Никиты.

Они сидели и молчали.

Гаренька украдкой вытерла слезы.

Циолковский не спросил, о чем она плачет. Мало ли о чем можно всплакнуть, когда позади длинная и горькая жизнь, вся без остатка отданная другому? Он взял в свою руку ее маленькую руку и сжал ее. Разве он не понимает, что всю жизнь она ходила на цыпочках, боялась кашлянуть, передвинуть стул, зашкрипеть половицей, чтобы не помешать мужу? Разве не понимает он, что уж слишком много лет прожито в невероятной тесноте и нищете, чтобы сейчас этот простор и эти удобства не вызвали слез на ее глазах? Разве не понимает он, что за стеной можно было бы устроить комнату для Игнатия и Сашеньки, а за перегородкой поселить Ванечку, что ничто не может заменить матери умерших детей?..

Он еще раз пожал ее маленькую сухую руку и сказал:

— Вот мы и дома, старушка! Вот мы и дома... Помнишь, — вдруг спросил он ее с хитроватой улыбкой, — помнишь, как мы с тобой пошли тогда гулять в бор и я спросил: «Можешь ли ты стать моей женой?» А ты сказала, что я не люблю тебя. Глупая, это я не люблю? Я хоть иногда и прикрикну на тебя, и обижу, а разве кто знает, как я тебя люблю?.. Ну, что ты плачешь, старушка моя? Мы с тобой еще таких делов наделаем, что тебе и не снятся... Нам бы только еще лет сорок прожить, или нет, сорок все-таки мало. Вот пятьдесят бы... Мы без всяких Годдардов и Обертов на Луну бы слетали. Рдвоем и слетали бы: ты да я...

Зиму, весну и первую половину лета 1935 года, на семьдесят восьмом году своей жизни, Циолковский работал с небывалым напряжением сил и энергии. Лето было очень жаркое, солнечное, цветущее, окна все время открыты настежь. Все ладилось у Циолковского.

Кажется, никогда у него не было столько дела: в Москве заканчивалось сооружение летающей модели, издавались его труды, в Калугу приезжали инженеры, почитатели, друзья. Он писал статьи для газет и

журналов. Надо было отвечать на десятки писем... А тут, как на зло, небывалый урожай всяких новых идей, проектов, открытий. Он записывал их в специальные тетради — это были планы на будущее. Они все расширялись и расширялись. Они были бесконечными. Его энергия все возрастала и возрастала, как будет возрастать скорость ракетного корабля; и, казалось, должна она достигнуть той нечеловеческой степени, которая даст миру что-то совершенно неожиданное и невероятное.

И вдруг... Страшный припадок. Тошнота, рвота, удушье, потом слабость, почти небытие... Это случилось ночью, и весь следующий день Циолковский лежал обессиленный, испуганный, покрытый холодным потом.

Только вечером боль утихла. Циолковский пришел в себя. Беспомощно огляделся, пытался улыбнуться докторам и Вареньке.

— Ну, чего ты плачешь? — спрашивал он у Вареньки слабым голосом. — Думаешь, умираю? Мы еще попляшем с тобой, старушка!

Однако на следующий день припадок повторился. Рвота потрясала и комкала тело. Потом опять слабость затуманила взор, приковала к постели, обрекла на неподвижность.

Припадки стали повторяться. Рот был все время полон слюной. Чаше мучила изжога. Кружилась голова.

— Э, батенька, — говорил сам себе Циолковский, — что-то мне это не нравится. Ну, если бы еще тридцать лет — куда ни шло. Но в семьдесят восемь — такие штуки могут кончиться плохо. Главное, не поддаваться. Игнорировать болезнь. Пусть организм вырабатывает иммунитет.

На болезнь он старался не жаловаться, пытался ее от всех скрыть, преодолеть усиленной работой. Когда становилось уж очень плохо, он стискивал голову руками и сосредоточивался на решении трудной математической задачи.

Но болезнь не проходила. Она мешала думать, сидеть в кресле, ездить на велосипеде, ходить пеш-

ком... Из Москвы приехали врачи. Осматривали его, щупали, расспрашивали, настаивали на необходимости исследований. Он сердился. Пусть оставят его в покое! Кислые яблоки его вылечат. Он отлично лечил сам себя до сих пор! Он еще не собирается умирать, черт побери, он еще покажет, какое у него здоровье. И чтобы доказать всем окружающим, а главное самому себе, что он еще поживет, он брал себя в руки, стискивал зубы, когда было очень плохо, подавлял стоны и вздохи, увеличил часы работы, ежедневно уходил пешком в загородный сад.

В середине июля он проснулся однажды под утро от сильной боли. Боль была так велика, что от нее некуда было деться. Он встал с постели и почувствовал слабость. Попытался пройти по комнате, ноги дрожали. Он опустился в кресло. Закутался в пальто. Было холодно. Поверх пальто он накрылся одеялом и принялся за вычисления. Но работать было трудно. Весь день он не мог ничего есть, боли не прекращались, изматывала тошнота и тревога, а ночью, когда ушел доктор, когда Варенька спустилась вниз и он остался один, он вдруг почувствовал, что теряет сознание, проваливается в бездну. Все поплыло перед его глазами. Страшный, никогда не слышанный гул возник в ушах. Он хотел закричать, но голоса не было. Хотел поднять руку и не мог этого сделать.

«Это конец, — подумал он, — это смерть подкралась неожиданно среди ночи, застала врасплох, когда все еще начато и ничего не кончено, когда не приведены даже в порядок рукописи, которые останутся потомкам».

Он почувствовал такой страх, такую невозможность примириться со смертью, что собрал все свои силы, чтобы подняться, стряхнуть могильную плиту, отогнать смерть. Он слабо взмахнул рукой, и стакан, стоявший на стуле, рядом с постелью, упал на пол.

Сразу же появилась Варенька. Она увидела, что Циолковский бледен, что ему плохо, что ворот его рубашки раскрыт и из него беспомощно высовы-

вается посиневшая и похудевшая, обтянутая жилами шея. Она бросилась к постели, обняла Циолковского, приподняла его. Он долго и сурово смотрел ей в глаза, потом стал руками цепляться за ее руку. Он сжимал ее руку все сильнее и сильнее, притягивал ее к себе, прижимал к груди, будто была эта рука той единственной соломинкой, единственной опорой, за которую можно было уцепиться, чтобы остаться живым.

— Я умираю, кажется... — с трудом проговорил он. Но первые же слова вернули ему часть сил. — Я, кажется, умираю. Я не хочу умереть... — Он чувствовал себя таким слабым и беспомощным перед лицом смерти, что слезы потекли по его щекам, и он не стыдился их... — Я не хочу умереть, Варенька, мне жить очень надо, мне ужасно надо еще жить...

Она тоже плакала и говорила все то, что говорят в таких случаях: что он не умрет, что доктора его вылечат, что необходим рентген, может быть операция...

— Не вылечат, — покачал он головой, — не вылечат. Да если и вылечат, ну, как ты этого не понимаешь? Если даже и вылечат... — И он опять заплакал от обиды, гнева и возмущения, дрожа всем своим истощенным и немощным телом.

Наутро у него осталась от минувшего припадка только слабость. Погода была отличная, и чувствовал он себя хорошо. Ночные страхи показались ему напрасными. Он рад был ухватиться за вновь обретенную надежду, что и эта болезнь пройдет, как не раз в жизни проходили другие болезни... Но после того, как он выпил стакан молока, снова появились тошнота и позывы к рвоте. Он понял, что ничего не пройдет, что смерть стоит у изголовья и больше не уйдет отсюда.

«Конец? — спрашивал себя Циолковский и отвечал: — Конец! Но как же может быть конец, когда только теперь открылась настоящая возможность работать, когда громадная модель дирижабля вот-вот должна подняться в воздух, когда практические опыты с ракетами покажут истину моих прогнозов, когда

десятки идей еще даже не изложены на бумаге? Конец?» Сознание его не мирилось с мыслью о смерти.

Доктора говорили, что это просто катар желудка, что это не смертельно, что надо только полежаться, принимать лекарства, лежать в постели, может быть, сделать операцию, и все пройдет.

Он не возражал докторам, но не верил им. И себе он тоже не верил. Этого все-таки никак не могло быть, чтобы вдруг, ни с того, ни с сего, оборвалась его чудесная жизнь, его только начатая работа... Этого не могло быть, чтобы все вокруг жило, чтобы ветер продолжал шелестеть листьями его рукописей, чтобы модель дирижабля поднималась в воздух, а его самого не было... Этого не могло и не должно было быть. Он пытался убедить себя, что врачи, возможно, говорят правду, что болезнь не так уж страшна, что, может быть, это вовсе и не рак желудка. Но спросить врачей прямо о чем-нибудь он боялся и не спрашивал.

Однажды он обдумал свое положение, стараясь оставаться объективным, хладнокровным и разумным. Он принял решение. Оно состояло из трех пунктов:

1. Сопротивляться болезни всячески, оттянуть смерть любой ценой.

2. Не терять напрасно ни одной минуты, успеть за то время, которое осталось жить, написать и опубликовать как можно больше.

3. Быть веселым, не отравлять жизнь другим, сохранять спокойное и ясное расположение духа.

Труднее всего оказалось выполнить последний пункт. Он ни с кем не говорил о смерти, ни о чем не расспрашивал врачей, принимал все лекарства. С Варенькой, дочерьми, внуками и посетителями старался шутить и смеяться. Но все это делалось через раздражение. Раздражали его все: доктора, Варенька, дети, посетители. Раздражало все: лекарства, погода, звуки и, главное, то, что все принимали его игру: не заговаривали о смерти, делали вид, что верят в искренность его шуток, уверяли, что скоро он вылежится, думали, что он ни о чем не догадывается.

Чем хуже он чувствовал себя и чем ближе была смерть, тем все больше спешил и больше работал. Он жил вперегонки со смертью. Он успел закончить исследование о соотношении массы ракеты и горючего, писал обширные статьи о волноломе и извлечении энергии из морских волн, об обтекаемом рельсовом автопоезде, о своем новом изобретении — гидроплане-крыле. Он спешил закончить большой труд о стратосферных летательных аппаратах. Этот труд включал в себя исследования о сжатии и расширении газов, о газотурбинных двигателях, о расчетах ракеты...

Рука его двигалась все медленнее. Сидеть становилось все труднее. Лекарства не помогали. Он не мог ничего есть, и голод иссушал его тело. Все время тянуло к постели. Он чувствовал, как отмирают корни, связывающие его с землей, как он теряет вес и плотность. Иногда он сам казался себе только сгустком мыслей. Эти мысли заключены в почти прозрачное тело. Тело было хрупким сосудом. Оно могло разбиться в любой час.

Иногда, чувствуя себя несколько крепче, он один выходил из дома посидеть в садике или немного прогуляться. Ему хотелось перейти Оку по узкому, шевелящемуся под ногами плывучему мосту и подняться по крутой горе Перемышльского шоссе. Хотелось снова увидеть город, в котором провел он почти всю жизнь, — кипучую зелень деревьев, белые стены домов, сверкающие в лучах солнца окна, отраженные в воде деревьев, палисадники, церкви.

Но до реки не было сил дойти. Он шел на Садовую. Садился под дерево, опираясь на толстую палку, снимал шляпу и клал ее рядом с собой. И опять он думал о том же: что оставит он людям? Может быть, все, что делал он в жизни, — было ошибкой? Может быть, никогда слабый человеческий разум не проникнет в космические выси? Может быть, никогда не станет человек властелином вселенной?

Однажды он сидел так под деревом, когда увидел приближающегося Гермогена Гермогеновича. Есе старело в этом мире. Старели люди, старели живот-

ные, старели деревья. Только Гермоген Гермогенович не старел. Он лишь стал еще суше, будто жизнь выпила из него и те немногие соки, которые раньше питали его тело. Кожа его стала еще более коричневато-желтой, как кожа мумии. Это был цвет желчи. Будто только желчью питалось его тело.

Гермоген Гермогенович остановился, снял шляпу, отвесил Циолковскому неторопливый поклон, стоял перед ним, высокий, как дерево, и молчал, устремив на него пустоту своих стекляшек.

— Умирать собрались? — спросил он скрипучим, сдавленным голосом. — Умирать?

Циолковский прижался к стволу дерева. Было в голосе Гермогена Гермогеновича, в его пустом стеклянном взгляде, в его нестареющем облике что-то невыразимо страшное. Может быть, это и есть ответ на тот вопрос, который решал Циолковский? Может быть, Гермоген Гермогенович будет жить вечно, может быть, только он один и останется на этом свете? Переживет всех. Ему не нужны ни воздушные корабли, ни космические пространства. Ему не нужны ни радость, ни смех, ни надежды.

Гермоген Гермогенович опустил рядом с Циолковским на скамью. Кажется, они уж сидели так однажды? Он положил на колено шляпу и сказал:

— Сорок лет живем в одном городе и ни разу не поговорили, как следует... Умирать собрались, гражданин Циолковский? Что ж — пора... — Он помолчал. Циолковский хотел подняться и уйти. Ноги не слушались его. Гермоген Гермогенович, заметив его попытку подняться, жесткой и жестокой рукой усадил его обратно. — Нет-с, извольте сесть, Циолковский! Бы всю жизнь публично высказывали свои мысли. Позвольте и мне... Для вас не секрет, гражданин Циолковский, что я никогда не был в числе ваших поклонников и последователей. Но ненавидеть я вас стал лишь теперь, когда большевики вас превознесли до небес. За что? За что, скажите вы мне, превознесли они вас до небес? Что вы сделали для меня, Циолковский? Я никогда не поднимусь на самолете. Мне ни к чему это. Мне и здесь хорошо — вот на

этой скамейке. Я тоже мог бы взобраться на дерево и сидеть там на ветке, как птица. Но лучше ли там, на ветке? — вот в чем вопрос...

Циолковский видел небо. Небо было светлоголубым, веселым, молодым, поющим. Пели облака, легко и плавно скользящие над деревьями. Пела голубизна. Пел простор.

Небо ответило за Циолковского. Небо было красноречиво и выразительно. Небо звало ввышину, к новым открытиям, к бесконечному счастью, которое уже так близко, — вытяни руку и возьми его, сожми в кулак, пронеси через свою жизнь и через жизнь поколений.

Циолковскому не хотелось ни спорить, ни говорить. Он надел шляпу и поднялся. И пошел, не прошившись, не обернувшись. Гермоген Гермогенович встал и долго смотрел ему вслед, высокий, неподвижный и молчаливый, как поднятый палец...

Так они разошлись.

Циолковский вернулся домой, сам разделся, лег на кровать и сказал Вареньке:

— Пусть делают операцию!

Его должны были отвезти в больницу утром. Спал он спокойно.

Ночью проснулся. Вспомнил, что не ответил на одно письмо. Хотел позвать Любу. Раздумал. Сам зажег свет, с трудом поднялся, добрал до кресла. Бумаги на столе не было — все было связано, убрано, рассортировано. Никогда стол его не был таким пустым и чистым.

Он дошел до шкафа, открыл дверцы — на полках стояли его книги, лежали — в аккуратных стопках — рукописи.

Найдя кусочек бумаги, он написал:

«...Богатства вселенной непостижимы. Непостижимы и богатства разума. Человечество преобразит свою жизнь и всю нашу Землю. Но оно не останется вечно на Земле. В погоне за светом и пространством, сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а

затем завоюет себе все околосолнечное пространство...

Без сомнения, я сейчас во многом ошибаюсь и мечты мои слабы. Но может ли мой слабый ограниченный ум предвидеть все богатства достижений человечества... Смело же идите вперед, великие и малые труженики земного рода, и знайте, что ни одна черта из ваших работ не исчезнет бесследно, но принесет вам в бесконечности великий плод...

Ему показалось, что написанное им придумано не сейчас, что он когда-то и где-то уже писал это самое...

Он вернулся к постели и попытался уснуть.

После операции он почувствовал себя лучше. Была ясная голова. Около постели сидели врачи и Никита.

Циолковский улыбнулся.

— Ну, вот, — сказал он тихо, — я говорил, что был просто запор, ничего страшного. Вот и ожил!

— Ожили и будете жить еще долго-долго! — сказал Никита.

— Сколько? — спросил Циолковский.

— Ну, еще десять—двадцать лет...

— Десять? Двадцать? — переспросил Циолковский, и вдруг горькая усмешка появилась на его лице. — Утешил! — сказал он горько. — Ну и чудак же ты, Никитушка! Ты знаешь, сколько еще лет мне нужно? Мне двести лет, самое малое, нужно. Двести или двести пятьдесят, а ты десять даешь...

На следующий день Циолковский опять почувствовал себя хуже. Он сразу замкнулся, замолчал, стал хмурым, сосредоточенным на одной какой-то мысли. Боли возобновились с новой силой. Он попросил, чтобы ему дали коньяк, а если нет коньяку, впрыснули морфий. Сестра пошла исполнять его просьбу, но он движением руки остановил ее, вернул обратно и попросил сначала вызвать к нему Никиту Балашова.

Никита приехал с радостной вестью: оболочка летающей модели дирижабля готова. Дирижабль может подняться в воздух.

Циолковский тихо ответил: «Очень рад» — и отвернулся к стене.

Он долго лежал молча, ничего не говоря, и Никита не знал, сидеть ему или уходить. Он думал, что Циолковский заснул, и хотел встать. Но Циолковский сразу же заметил его движение и повернулся к нему лицом.

Он поманил Никиту пальцем, потому что ему трудно было говорить, и когда Никита нагнулся к его лицу, он спросил:

— У тебя есть карандаш?.. Запиши мою предсмертную волю.

И он продиктовал:

«ЦК ВКП(б) — вождю народа
товарищу Сталину.

Мудрейший вождь и друг всех трудящихся, товарищ Сталин!

Всю свою жизнь я мечтал своими трудами хоть немного продвинуть человечество вперед. До революции моя мечта не могла осуществиться.

Лишь Октябрь принес признание трудам самоучки; лишь Советская власть и партия Ленина—Сталина оказали мне действенную помощь. Я почувствовал любовь народных масс, и это давало мне силы продолжать работу, уже будучи больным. Однако сейчас болезнь не дает мне закончить начатого дела.

Все свои труды по авиации, ракетоплаванью и межпланетным сообщениям передаю партии большевиков и Советской власти — подлинным руководителям прогресса человеческой культуры. Уверен, что они успешно закончат эти труды.

Всей душой и мыслями Ваш...»

Он приподнялся, взял из рук Никиты карандаш и приписал своим неудержимым даже в этот предсмертный час, стремительно рвущимся вперед почерком:

«С последним искренним приветом всегда Ваш

К. Циолковский».

Никита ушел. Он повез на телеграф завещание Циолковского. В палате осталась только сиделка.

Циолковский откинулся на подушку. Он глядел в окно. В оконной раме было предвечернее небо. Оно было затянуто серой осенней пеленой. Циолковский смотрел на небо, он вглядывался в него так, как будто видел в нем что-то очень значительное. Что он мог увидеть там, в этой серой ровной пелене? Сиделка проследила его взгляд. Небо было одноцветным, как пустыня. Но Циолковский глядел в окно упорно и пристально, будто он видел то, чего не видели другие. Женщина смотрела туда же. Только через много времени она смогла различить маленькую черную точку. Это был самолет. Он летел на большой высоте, так, что даже гул его, наверно, не достигал земли. Взгляд Циолковского следовал за самолетом. Самолет летел к Москве.

Сиделке показалось, что Циолковский вздрогнул. Она подошла к нему. Его губы шевелились.

— В добрый час! — чуть слышно сказал Циолковский.

Взгляд его попрежнему был устремлен туда, где один или несколько человек, рассекая воздух могучей машиной, забирались все выше и выше...

— В добрый час! — прошептал он.

2)

Циолковский умер. Он похоронен на окраине Калуги. Среди редких деревьев тихого загородного сада высится над его могилой тонкий, устремленный к небу каменный обелиск.

Все здесь располагает к раздумью: тишина, малолюдность, шелест листьев и скупые формы надгробного памятника.

С раздумьем Циолковский прошел через всю жизнь. С раздумьем он встретил смерть. Раздумье он оставил после себя.

С тех пор прошло двенадцать лет.

Двенадцать лет. Этот срок и мал, и велик. Он ничтожно мал, если мерить масштабами столетий, в те-

чение которых человечество мечтает о завоевании небесного пространства. И этот срок велик, если мерить его годами нашей жизни.

За эти годы произошла величайшая в истории человечества битва. Советский Союз в этой битве был носителем прогрессивного, передового начала. Фашизм — нес с собой мракобесие, ограниченность, отсталость. Эта битва не окончилась и до сих пор, только с полей сражений перенесена она в кабинеты дипломатов, на страницы газет и книг. В этой битве участвуют все: и живые, и мертвые.

В этой битве участвует и Циолковский.

Многолетние труды ученого-самоучки оказались ближе к практической жизни, чем предполагал он сам. Его исследования по аэродинамике и расчеты воздушных кораблей нашли широкое применение в советском авиастроении. Велики заслуги Циолковского в тех замечательных победах, которые одерживали во время войны мощные, быстроходные, законные в металл советские самолеты.

Еще большее значение для нашей родины имели идеи и расчеты Циолковского, посвященные созданию реактивных летательных аппаратов. Они воплотились в сверхскоростную авиацию, которой суждено величайшее будущее. Они воплотились также в новое советское оружие — прославленные «катюши», сыгравшие всем известную роль во время Великой Отечественной войны.

Фашистские интервенты, захватив Калугу, безжалостно разграбили домик Циолковского, в котором помещался музей его имени. Они считали Циолковского своим врагом и не ошибались.

Идеи Циолковского воевали с фашизмом во время войны. Идеи Циолковского воюют с фашизмом и сейчас. Его светлая вера в прекрасное будущее человечества, в неограниченность человеческих возможностей, в великую историческую роль коммунистической партии, вся его целеустремленная, кристально-честная жизнь является вызовом всем тем продажным ученым буржуазного общества, которые проповедуют неверие в человека, в его будущее, в его силу.

Одну из последних своих статей Циолковский закончил словами:

«Все, о чем я говорю, — слабая попытка предвидеть будущее авиации, воздухоплавания и ракетоплавания. В одном я твердо уверен — первенство будет принадлежать Советскому Союзу. Капиталистические страны также работают над этими вопросами, но капиталистические порядки мешают всему новому. Только в Советском Союзе мы имеем мощную авиационную промышленность, богатство научных учреждений, общественное внимание к вопросам воздухоплавания и необычайную любовь всех трудящихся к своей родине, обеспечивающую успех наших начинаний».

Пусть этими словами и заканчивается книга о Циолковском — замечательном русском человеке, который сумел через долгие годы одиночества, непризнания, обид высоко пронести свою вдохновенную веру в торжество разума и прогресса, черпая силы, бодрость и счастье в творческом горении во славу родины и во имя будущего всего человечества.

1946—1947 гг.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая	3
Глава вторая	65
Глава третья	111
Глава четвертая	167
Глава пятая	203
Глава шестая	247

Редактор А. Уманский

Техн. редактор А. Кирнарская. А 04861.

Подписано к печати 27/V-48 г. Печ. л. 18^{3/4}.

Уч.-изд. л. 14,17. А. л. 13,83. Тираж 15000.

Цена 8 р. Зак. № 337. Тип. № 3

Управления издательств и полиграфии

Исполкома Ленгорсовета

8 p.